ЮНОСТЬ

1
1963

Повесть

В. АКСЕНОВ

АПЕЛЬСИНЫ ИЗ Марокко

Рисунки С. Красаускаса (Литва).

1. ВИКТОР КОЛТЫГА

В общем, лично мне это надоело... Артель «Напрасный труд». Мы пробурили этот паршивый распадок в двух местах и сейчас бурим в третьем. Гиблое дело: нет здесь ее. Я это чувствую нюхом: как-никак пять лет уже шатаюсь в партиях: на Сахалине был, возле Охи, и по Паронаю, и в устье Амура, и на Камчатке... Насмотрелся я на эти рельефы!

Ничего я не имею против этого распадка, здесь даже красиво; можно горнолыжную базу построить, на западном склоне отличная трасса для слалома, воздух здесь хороший, а может, и грязи какие-нибудь есть для больных, вполне возможно. Целебный источник? Допускаю, стройте, пожалуйста, санаторий; боже ты мой, может, здесь и золото есть, может быть, этот чудный, живописный, лучший в мире распадок — настоящее золотое дно, может, золота здесь хватит на все отхожие места в коммунистическом обществе, но нефти здесь нет!

Понятно, я молчал и ничего не говорил Кичекьяну. И все ребята молчали. Кичекьян у нас — человек новый, это его первая разведка. В этом году он окончил Ленинградский горный и приехал к нам сюда начальником партии. Сейчас он дико психовал, и поэтому мы молчали. А хотелось сказать: «Знаешь что, Айрапет, джан (или как там у них говорят), надо собирать все хозяйство и сматываться отсюда. Знаешь, джан (вот именно, джан), наука наукой, а практика практикой». Но мы молчали, работали, консервы ели — наше дело маленькое.

В четыре часа наступила ночь, и верхушки сопок заблестели под луной, словно серебряные. Над кух-

ней уже давно вился дымок, а по дну распадка шли наши сменщики, сигналили папиросками.

— Пошли обедать, товарищ начальник,— сказал я Кичекьяну, но он только помотал головой. Он сидел на ящике и ел хлеб с маслом, вернее, не ел, а, как говорится, подкреплял силы. Масло на морозе стало твердым, как мыло. Кичекьян отрезал толстые куски, клал их на хлеб и в таком виде наворачивал. По его худому и заросшему лицу ходили желваки. Он был маленький и тощий, он даже в ватнике и в ватных штанах казался, как бы это сказать... изящным. Временами он откладывал хлеб и масло, дышал на руки, а потом снова принимался за свое дело. Потом встал и заорал:

— Луна-а, плыви в ночном просторе, лучи купая в море...

Конечно, ему было нелегко здесь, как человеку южному.

Я тоже человек южный, из Краснодара, но за восемь лет (три года армии и пять лет на гражданке) я тут порядком акклиматизировался. Возможно, летом я поеду в отпуск и проведу его у матери в Краснодаре. Известно каждому, что в Краснодаре самые красивые девчата в Союзе. Причем это не свист, а если бы еще наших девчат приодеть получше, то все: пришлось бы пустить в Краснодар еще несколько железных дорог, шоссе и построить международный аэропорт. Я часто думаю о Краснодаре и о краснодарских девчатах, и мысли эти появляются в самые желтые дни. В пятьдесят девятом на Усть-Майе, когда замело перевал и мы три дня лежали в палатке и на зубариках играли, я представлял себе, как я, отпускник, ранним летним утром гуляю себе по краснодарскому колхозному рынку, и грошей у меня полно, и есть не хочется, а впереди еще вечер, когда я пойду на танцплощадку, где тоненькие и рослые девчата уставятся на меня — какой я стильный, и видно, что не дурак и самостоятельный,— в общем, парень-гвоздь.

Сейчас, спускаясь к лагерю на дно распадка, я тоже думаю о Краснодаре, о женщинах, о горячих пляжах, об эстрадных концертах под открытым небом, о джазе Олега Лундстрема... Мне приятно думать, что все это есть, что на земном шаре имеется и еще кое-что, кроме этого потрясающего, волшебного, вонючего распадка.

На кухне мы здорово наелись и сразу осоловели, захотели спать. Леня Базаревич по своему обыкновению отправился купаться, а мы влезли в палатку и, значит, водрузили свои тела на закрепленные за каждым койки.

Когда наша смена одновременно стаскивает валенки, тут хоть святых выноси. Свежему человеку впору надеть кислородную маску, но мы ничего, смирились, потому что стали вроде бы как братья.

Юра, Миша и Володя как бухнулись на свои плацкарты, так сразу и загудели, запели, засопели. Это они только настраивались. Потом началось! Когда они храпят, кажется, что работают три перфоратора. Причем комедия: как один перестанет храпеть, так и второй прекращает и третий — стоп! А по новой начинают тоже одновременно. Если бы я жил в капиталистической стране, я бы этих трех ребят зверски эксплуатировал — показывал бы их в цирке и заработал бы кучу фунтов стерлингов или лир.

Мне тоже хотелось спать, но надо было сделать еще одно дельце. Я зажег карманный фонарик и под его тусклый свет стал писать письмо одной краснодарской девчонке, которая в этот момент, можешь себе представить, находилась в каких-нибудь семидесяти четырех километрах от меня. Девчонку эту звали обыкновенно — Люся Кравченко. Познакомился я с ней прошлой весной, когда «Кильдин» привез сезонниц на рыбокомбинат. Обычно к приезду сезонниц все ребятишки в радиусе двухсот километров начинают наводить блеск на свою амуницию, стригутся под канадскую полечку и торопятся в порт Петрово на всех видах транспорта, а то и на своих на двоих. Еще бы, ведь для нас это сенсация — сразу двести или триста новых невест!

В тот раз тоже много парней понаехало в Петрово. Все гуляли по главной улице в ожидании парохода и делали вид, что попали сюда случайно, или по делам, или с похмелья. Однако все эти мудрецы оказались на причале, когда «Кильдин» стал швартоваться, и все смотрели, как невесты сходили по трапу, а потом повалили за ними на главную улицу, а к вечеру все «случайно» оказались на рыбокомбинате.

Там я и заприметил Люсю Кравченко. Ну, сделал два-три виража, а потом пошел на сближение. «Откуда, землячка?» — спрашиваю. Это у меня такой прием. А она вдруг — бац: «Из Краснодара». Каково? Даже врать не пришлось. Весь вечер мы с ней гуляли, и мне было грустно смотреть в ее черные глаза, а ее загорелые руки вызывали в моей памяти пионерский лагерь на Кубани. И я думал о том, что мне уже двадцать седьмой год, а у меня ни кола, ни двора, и я весь вечер заливал ей про космические полеты и про относительность времени, а потом полез к ней в тамбуре обниматься. Ну, она мне врезала по шее.

Потом мы ушли в экспедицию, и в экспедиции я о ней не думал, а думал по обыкновению о краснодарских девчатах, но почему-то все краснодарские девчата на этот раз были похожи на Люсю. Просто сто тысяч Люсь Кравченко смотрели на меня, когда я, красивый, умный и самостоятельный, парень-гвоздь, поднимался на танцплощадку в парке над Кубанью.

Осенью я ее встретил на вечере отдыха в Доме культуры моряков в порту Талый. Честно, я был удивлен. Оказалось, что она решила остаться на Дальнем Востоке, потому что здесь, дескать, сильнее ощущается трудовой пульс страны. Она работала каменщицей и жила в общежитии в поселке Шлакоблоки. Ну, там, училась заочно в строительном техникуме, ну, там, танцевала в хореографическом кружке — все как полагается. Она была расфуфырена черт знает как, и за ней увивались один морячок, по имени Гера, совсем молоденький парнишка, года так с сорок второго, и знаменитый «бич» (так здесь, на морских берегах, называют тунеядцев) из Петровского порта по кличке Корень. Я их отшил. Весь вечер я заливал ей про Румынию: какой в Трансильвании виноград, и какой скачок там сделала текстильная промышленность, и про писателя Михаила Садовяну. Потом я провожал ее в автобусе в эти знаменитые Шлакоблоки и смотрел искоса на ее профиль, и мне было грустно опять, а иногда я злился, когда она тоненько так улыбалась. Уж не знаю, из-за чего она здесь осталась — может быть, из-за трудового пульса страны, но ей, видно, было не очень противно смотреть, как все мужики, весь автобус, сворачивают себе шеи из-за нее.

Возле барака я к ней полез обниматься. Ну, для порядка она мне врезала пару раз по шее. Ладошки у нее стали твердыми за это время. Потом оказалось, что мне негде ночевать, и я всю ночь, как бобик, сидел на бревнах возле ее барака, а тут еще пошел мокрый снег, и я всем на смех подхватил воспаление легких. Месяц провалялся в Фосфато-

горске в больнице, а потом ушел вот в эту знаменитую экспедицию под командованием «гениального ученого» Айрапета Кичекьяна.

Значит, надо было мне сделать еще одно дельце перед тем, как шмякнуться на койку и тоненько, деликатно засвистеть в две ноздри в противовес этим трем перфораторам.

Я писал Люсе, что она, конечно, может меня презирать, но должна уважать как человека, а не собаку, и, поскольку у нас уже установились товарищеские отношения, пусть все-таки ответит на мои письма и сообщит об успехах.

Я написал это письмо, вложил в конверт и задумался. Боже ты мой, мне стало страшно, что жизнь моя вдруг пойдет под откос! Боже ты мой, а что, если в мире нет ничего, кроме этого распрекрасного распадка? Боже ты мой, а вдруг все, что было раньше в моей жизни, мне только снилось, пока я спал двадцать семь лет на дне этого распадка, и вот сейчас я проснулся, и ковыряю его все это время уже третий раз, и ничего не нахожу, и так будет теперь всегда? Вдруг это какой-нибудь астероид, затерянный в «одной из весьма отдаленных галактик», и диаметр у него семьдесят три километра, а на семьдесят четвертом километре вместо поселка Шлакоблоки пропасть, обрыв в черное космическое пространство? Такое было со мной впервые. Я испугался. Я не знал, что со мной происходит, и не мог написать адреса на конверте.

Я прильнул к нашему маленькому окошечку, размером со школьную тетрадку, и увидел, что Ленька Базаревич все еще купается в серебристых снегах. Нагишом барахтается под луной, высовывает из снега свои голубые полные ноги. Ну и парень этот Базаревич, такой чудик! Он каждый день это проделывает и ходит по морозу без шапки и в одном только тонком китайском свитере. Он называет себя «моржом» и все время агитирует нас заняться этим милым спортом. Он говорит, что во многих странах есть ассоциации «моржей», и переписывается с таким же, как и он сам, психом из Чехословакии. У них с этим чехом вроде бы дружеское соревнование и обмен опытом. К примеру, тот пишет: «Дорогой советский друг! Вчера я прыгнул в прорубь и провел под водой полчаса. Выйдя из воды и как следует обледенев, я лег на снег и провел в нем час. Превратившись таким образом в снежную бабу, я медленно покатился по берегу реки в сторону Братиславы...» Конечно, получив такое письмо, наш Леня раздевается и бежит искать прорубь, чтобы дать чеху несколько очков вперед. Я сначала пугался, честно. Идешь в палатку — метель, пурга — и вдруг видишь: на снегу распростерто полное и волосатое тело.

Базаревич встал, потянулся, потер себе снегом уши и стал надевать штаны. Я написал на конверте адрес: «Поселок Шлакоблоки, Высоковольтная улица, фибролитовый барак № 7, общежитие строителей, Кравченко Л.»

Если она не ответит мне и на это письмо, то все — вычеркну тогда ее из своей личной жизни. Дам ей понять, что на ней свет клином не сошелся, что есть на свете город Краснодар, откуда я родом и куда я поеду летом в отпуск, и вовсе она не такой уж стопроцентный идеал, как воображает о себе, есть и у нее свои недостатки.

Вошел Базаревич и, увидев на табуретке конверт, спросил:

— Написал уже?

— Да,— сказал я,— поставил точки над «и».

Базаревич сел на свою койку и стал раздеваться. Он только и делал в свободное от работы время, что раздевался и одевался.

— Тонус потрясающий, Витька,— сказал он, массируя свои бицепсы.— Слушай,— сказал он, массируя мышцы брюшного пресса,— какая хоть она, твоя Люся? Твоя знаменитая Люсь-Кравченко?

— Да как тебе сказать,— ответил я,— ростом мне вот так, метр шестьдесят пять, пожалуй...

— Хороший женский рост,— кивнул он.

— Ну, здесь вот так,— показал я,— и здесь в порядке. В общем, параметры подходящие...

— Ага,— кивнул он.

— Но и не без недостатков принцесса,— с вызовом сказал я.

Базаревич вздохнул.

— А карточки у тебя нет?

— Есть,— сказал я, волнуясь.— Хочешь, покажу?

Я вытащил чемодан и достал оттуда вырезку из районной газеты. Там был снимок, на котором Люся в украинском костюме танцевала среди других девчат. И надпись гласила: «Славно трудятся и хорошо, культурно отдыхают девушки-строители. На снимке выступление хореографического кружка».

— Вот эта,— показал я,— вторая слева.

Базаревич долго смотрел на снимок и вздыхал.

— Дурак ты, Витька,— наконец сказал он,— все у нее в порядке. Никаких недостатков. Полный порядок.

Он лег спать, и я выключил свой фонарик и тоже лег. В окошке был виден кусочек неба и мерцающий склон сопки. Не знаю, может, мне в детстве снились такие подернутые хрустящим и сверкающим настом сопки, во всяком случае, гора показалась мне в этот момент мешком деда-мороза. Я понял, что не усну, снова зажег фонарик и взял журнал. Я всегда беру с собой в экспедицию какой-нибудь журнал и изучаю его от корки до корки. Прошлый раз это был журнал «Народная Румыния», а сейчас «Спортивные игры». В сотый раз, наверное, я читал статьи, разглядывал фотографии и разбирал схемы атак на ворота противника.

«Поспешность... Ошибка... Гол!»

«Как самому сделать клюшку».

«Скоро в путь и вновь в США, в Колорадо-Спрингс...»

«Как использовать численный перевес».

«Кухня Рэя Мейера».

«Японская подача».

Я, центральный нападающий Виктор Колтыга, разносторонний спортсмен и тренер не хуже Рэя Мейера из университета Де-Поль, я отправляюсь в путь и вновь в Колорадо-Спрингс, с клюшкой, сделанной своими руками... Хм... «Можно ли играть в очках?» Ага, оказывается, можно,— я в специальных, сделанных своими руками, очках прорываюсь вперед, короткая тактическая схема Колтыга — Понедельник — Месхи — Колтыга, вратарь проявляет поспешность, потом совершает ошибку, и я забиваю гол при помощи замечательной японской подачи. И Люся Кравченко в национальном финском костюме подъезжает ко мне на коньках с букетом кубанских тюльпанов.

Разбудили нас Чудаков и Евдощук. Они, как были, в шапках и тулупах, грохотали сапогами по настилу, вытаскивали свои чемоданы и орали:

— Подъем!

— Подъем, хлопцы!

— Царствие небесное проспите, ребята!

Не понимая, что происходит, но понимая, что какое-то ЧП, мы сели на койках и уставились на этих двух безобразно орущих людей.

— Зарплату, что ли, привез, орел? — спросил Евдощука Володя.

— Фигушки,— ответил Евдощук,— зарплату строителям выдали.

В Фосфатогорске всегда так: сначала выплачивают строителям, а когда те все проедят и пропьют и деньги снова поступят в казну, тогда уж нам. Перпетуум мобиле. Чего ж они тогда шум такой подняли, Чудаков с Евдощуком?

— Ленту, что ли, привезли? — спросил я.— Опять «Девушку с гитарой»?

— Как же, ленту, дожидайся!— ответил Чудаков.

— Компот, что ли? — спросил Базаревич.

— Мальчики! — сказал Чудаков и поднял руку.

Мы все уставились на него.

— Быстренько, мальчики, подымайтесь и вынимайте из загашников гроши. В Талый пришел «Кильдин» и привез апельсины.

— На-ка, разогни,— сказал я и протянул Чудакову согнутый палец.

— Может, ананасы? — засмеялся Володя.

— Может, бананы? — ухмыльнулся Миша.

— Может, кокосовые орехи? — грохотал Юра.

— Может, бабушкины пироги привез «Кильдин»,— спросил Леня,— тепленькие еще, да? Подарочки с материка?

И тогда Евдощук снял тулуп, потом расстегнул ватник, и мы заметили, что у него под рубашкой с правой стороны вроде бы женская грудь. Мы раскрыли рты, а он запустил руку за пазуху и вынул апельсин. Это был большой, огромный апельсин, величиной с приличную детскую голову. Он был бугрист, оранжев и словно светился. Евдощук поднял его над головой и поддерживал снизу кончиками пальцев, и он висел прямо под горбылем нашей палатки, как солнце, и Евдощук, у которого, прямо скажем, матерщина не сходит с губ, улыбался, глядя на него снизу, и казался нам в эту минуту магом-волшебником, честно. Это была немая сцена, как в пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».

Потом мы опомнились и стали любоваться апельсином. Я уверен, что никто из ребят, принадлежи ему этот апельсин, не сожрал бы его. Он ведь долго рос, и наливался солнцем где-то на юге, и сейчас был такой, как бы это сказать, законченный, что ли, и он был один, а ведь сожрать его можно за несколько секунд.

Евдощук все объяснил. Оказалось, что он добыл этот апельсин в Фосфатогорске, ему уступил его в обмен на перочинный нож вернувшийся с Талой экспедитор Парамошкин. Ну, Евдощук с Чудаковым и помчались сюда, чтобы поднять аврал.

Мы повскакали с коек и завозились, вытаскивая свои чемоданы и рюкзаки. Юра толкнул меня в спину.

— Вить, я на тебя надеюсь в смысле деньжат.

— Ты что, печку, что ли, топишь деньгами? — удивился я.

— Кончай,— сказал он,— за мной не заржавеет.

Мы вылезли из палатки и побежали в гору сообщить Кичекьяну насчет экскурсии в Талый. Бежали мы быстро, то и дело сбиваясь с протоптанной тропинки в снег.

— Значит, я на тебя надеюсь, Вить! — крикнул сзади Юра.

На площадке возле костра стоял Кичекьян и хлопал рукавицами.

— Бросьте заливать, ребята,— сказал он,— какие там апельсины! Выпить, что ли, захотелось?

Тогда мы все обернулись и посмотрели на Евдощука. Евдощук, небрежно глядя на луну и как бы томясь, расстегивал свой тулуп. Кичекьян даже заулыбался, увидев апельсин. Евдощук бросил апельсин Айрапету, и тот поймал его одной рукой.

— Марокканский,— сказал он, хлопнув по апельсину рукавицей, и бросил его Евдощуку, а тот метнул обратно. Такая у них произошла перепассовочка.

— Это вам,— сказал Евдощук,— как южному человеку.

Кичекьян поднял апельсин вверх и воскликнул:

— Да будет этот роскошный плод знамением того, что мы сегодня откроем нефть! Езжайте, ребята. Может быть, и мы туда на радостях заявимся.

Мы ничего на это ему не сказали и побежали вниз. Внизу Чудаков уже разогревал мотор.

Когда едешь от нашего лагеря до Фосфатогорска и видишь сопки, сопки без конца и края, и снег, и небо, и луну, и больше ничего не видишь, невольно думаешь: куда это ты попал, Витек, думал ли ты, гадал ли в детстве, что попадешь в такие края? Сколько я уже плутаю по Дальнему Востоку, а все не могу привыкнуть к пустоте, к огромным пустым пространствам. Я люблю набитые ребятами кузова машин, бараки и палатки, хоть там топор можно повесить. Потому что, когда один храпит, а другой кушает мясную тушенку, а третий рассказывает про какую-нибудь там деревню на Тамбовщине, про яблоки и пироги, а четвертый пишет письмо какой-нибудь невесте, а приемник трещит и мигает индикатором,— кажется, что вот он здесь, весь мир, и никакие нам беды не страшны, разные там атомные ужасы и стронций-90.

Чудаков гнал машину на хорошей скорости, встряхивал нас на славу. Мы стукались друг о друга и думали об апельсинах. В своей жизни я ел апельсины не один раз. В последний раз это было в Москве года три назад, в отпуске. Ничего, прилично я тогда навитаминился.

Наконец мы проехали Кривой Камень, и открылся лежащий внизу Фосфатогорск — крупнопанельные дома, веревочки уличных фонарей, узкоколейка. В центре города, голубой от лунного света, блестел каток.

Скатились мы, значит, в этот «крупный промышленный и культурный центр», в котором жителей какникак пять тысяч человек, и Чудаков на полной скорости начал крутить по совершенно одинаковым улицам среди совершенно одинаковых четырехэтажных домов. Может, и мне придется жить в одном из этих домов, если товарищ Кравченко найдет время оторваться от своей общественной деятельности и ответить на мои серьезные намерения. Не знаю уж, как я свой дом отыщу, если малость выпью с получки. Придется мету какую-нибудь ставить или надпись: «Жилплощадь занята. Глава семьи — Виктор Колтыга».

Вырвались мы на шоссе и жмем по нему. Здесь гладко: грейдеры поработали. Юра мечтает:

— Разрежу его, посыплю песком и съем...

— Чудак,— говорит Базаревич,— посыпать апельсины сахаром — это дурной тон.

— Витька,— обратился ко мне Миша,— а правда, что в апельсинах солнечная энергия?

— Точно,— говорю,— в каждом по три киловатта.

— Вить, так я на тебя надеюсь,— говорит Юра.

— Кончай,— говорю,— резину тянуть. Надеешься, так и молчи... Надеяться надо молча.

В это время нагоняет нас самосвал «ЯЗик», а в нем вместо грунта или там щебенки полным-полно ребят. Веселые, смеются. Самосвал идет наравне с нами, на обгон норовит.

— Эй! — кричим.— Куда, ребята, катаетесь?

— В Талый, за апельсинами!

Мы заколотили по крышке кабины: обидно было, что обогнал нас дряхлый «ЯЗик».

— Чудаков! — кричим.— Покажи класс!

Чудаков сообразил, в чем дело, и стал было показывать, но самосвал в это время вильнул, и мы увидели грейдер, весь облепленный ребятами в черных городских пальто. Через секунду и мы стали обходить грейдер, но Чудаков сбросил скорость. Ребята на грейдере сидят, как галки, синие носы трут.

— Куда, — спрашиваем,— торопитесь?

— В Талый,— говорят,— за апельсинами.

Ну, взяли мы этих парней к себе в кузов, а то ведь они на своем грейдере поспеют в Талый к одним только разговорам о том, кто больше съел. Да и ребята к тому же были знакомые, из авторемонтных мастерских.

Тогда Чудаков стал показывать класс. Мы скорчились на дне кузова и только слушали, как гудит, ревет воздух вокруг нашей машины. Смотрим, самосвал уже сзади нас. Ребята там встали, стучат по кабине.

— Приветик! — кричим мы им.

— Эй! — кричат они.— Нам-то оставьте малость!

— Все сожрем! — кричим мы.

Дорога начала уходить в гору, потом пошла по склону сопки, а мы увидели внизу, в густой синеве распадка, длинную вереницу красных огоньков, стоп-сигналов машин, идущих впереди нас на Талый.

— Похоже на то, что в Талом сегодня будет карнавал,— сказал Леня Базаревич.

На развилке главного шоссе и дороги, ведущей в зверосовхоз, стояла под фонарем плотная группа людей. Они «голосовали». Видно было, что это моряки. Чудаков притормозил, и они попрыгали в кузов. Теперь наша машина была набита битком.

— Куда,— спрашиваем,— путь держите, моряки?

— В Талый,— говорят,— за апельсинами.

Они, оказывается, мчались из Петровского порта на попутных. Это был экипаж сейнера «Зюйд» в полном составе, за исключением вахтенного. Смотрю, а среди них сидит тот самый парнишка, который на танцах приударял за Люсей. Сидит, мичманку на уши надвинул, воротник поднял, печальный такой паренек.

— О,— говорю,— Гера! Привет!

— А,— говорит,— здорово, Витя!

— Ну, как,— спрашиваю,— рыбка ловится?

— В порядке,— отвечает.

Так, значит, перекинулись, вроде мы с ним добрые знакомые, не то, что дружки, а так.

Едем мы, мчимся, Чудаков класс показывает, обгоняем разную самодвигающуюся технику: машины, бортовые и «ГАЗ-69», тракторы с прицепами, грейдеры, бульдозеры, мотоциклы. Черт, видно, вся техника в радиусе ста километров поставлена на ноги! Господи ты боже, смотрим: собачья упряжка шпарит по обочине! Одна, другая... Нанайцы, значит, тоже решили повитаминиться.

Сидим мы, покуриваем. Я ребятам рассказываю все, что знаю про цитрусовые культуры, и иногда на Геру посматриваю. И он тоже на меня нет-нет да взглянет.

Тут я увидел, что нас нагоняет мотоцикл с коляской, а за рулем Сергей Орлов, весь в коже, и в очках, и в мотоциклетном шлеме. Сидит прямо, руки в крагах расставил, как какой-нибудь гвардейский эскорт. Сзади, вижу, сидит бородатый парень — ага, Николай Калчанов. А в коляске у них девушка, тоже в мотоциклетных очках. Это парни из Фосфатогорска, интеллектуалы, а вот девчонка что-то незнакомая.

Взяли они на обгон, идут с нами вровень.

— Привет, Сережа! — крикнул я им.— Ник, здорово!

— А, Витя,— сказали они, — ты тоже за марокканской картошкой спешишь?

— Точно,— говорю. — Угадали.

— Закурить есть? — спрашивает Калчанов.

Я бросил ему пачку, а он сразу сунул ее девчонке в коляску. Смотрю, девчонка спрятала голову за щиток и закуривает за щитком. Тут я ее узнал — это была Катя, жена нашего Айрапета Кичекьяна, учительница из Фосфатки. Катя закурила, помахала мне рукавицей и улыбнулась, показала все-таки свои зубки. Когда они с мужем приехали к нам с материка, самого Айрапета никто не замечал — так была красива его жена. Такая блондинка, прямо Барбара Квятковская из журнала «Экран». Тоже паника у нас тогда началась, вроде как сейчас, с апельсинами. Все норовили съездить в Фосфатогорск посмотреть на нее. Ну, потом привыкли.

Зверь, а не машина у Орлова! Он легко обогнал нас и стал уходить. Чудаков пытался его достать, но дудки. Мы их догнали на семьдесят третьем километре, они вытаскивали свою машину из кювета. Коля Калчанов хромал, а Катя, смеясь, рассказывала, как она вылетела из коляски, пролетела в воздухе метров десять — нет, двадцать, ну, не двадцать, а пятнадцать, в общем, метров пять она летела, ну, ладно, пять — и зарылась головой в снег. Орлов в своем шлеме и по пояс в снегу выглядел прямо молодцом. Мы помогли им вытащить машину, и они поехали теперь уже потише, держась за нами.

В общем, дорога была веселая, все шоссе грохотало десятками двигателей, а перед самыми Шлакоблоками мы встретили рейсовый автобус Талый — Фосфатогорск, из которого какой-то типчик бросил нам в кузов горсть оранжевой апельсиновой кожи.

На большой скорости мы ворвались в Шлакоблоки, домики замелькали в глазах, я растерялся и даже не мог определить, в какой стороне Люсин барак, и по-

нял, что через несколько секунд он уже останется сзади, этот поселочек, моя столица, как вдруг Чудаков затормозил. Я увидел Люсин барак, чуть ли не по крышу спрятанный в снег, и белый дым из трубы. Чудаков вылез из кабины и спросил меня:

— Зайдешь?

Я посмотрел на Геру. Он смотрел на меня. Я выпрыгнул из машины и зашагал к бараку.

— Только по-быстрому! — крикнул мне вслед Чудаков.

Я услышал за спиной, как ребята попрыгали из машины. Вовремя, значит, произошла остановка.

Небрежно, как бы мимоходом, я зашел в комнату и увидел, что она пуста. Все десять коек были аккуратно застелены, как это всегда бывает у девчат, а в углу на веревке сушилась разная там голубая и розовая мелочишка, которую я предпочел не разглядывать. Вот записки на столе я просмотрел.

«Шура, мы уехали в Талый. Роза»,— прочел я.

«Игорь, мы уехали за апельсинами. Нина»,— прочел я.

«Слава, продай билеты и приезжай в Талый. И. Р.»,— прочел я.

«Эдик, я уехала в Талый за апельсинами. Извини. Люся»,— прочел я.

«Какой же это Эдик? — подумал я.— Уж не Танака ли? Тогда мне хана».

Да, попробуй потягаться с таким орлом, как Эдуард Танака, чемпион Дальневосточной зоны по лыжному двоеборью — трамплин и равнина.

Я вынул свое письмо, положил его на стол и вышел. В дверях столкнулся с Герой.

— Ну, как там девчата? — промямлил он.

— Уехали в Талый,— сказал я.— Небось, уже рубают апельсинчики.

Мы вместе пошли к машине.

— Ты, случаем, не знаком с Танакой? — спросил я.

— Это чемпион, что ли?

— Ага.

— Нет, не знаком. Видел только, как он прыгает. В кино.

— Он и не в кино здорово прыгает.

— Ага, хорошо прыгает.

Снег возле машины был весь разукрашен желтыми затейливыми узорами. Мы влезли в кузов и поехали дальше.

2. НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

На комсомольском собрании мне предложили сбрить бороду. Собрание было людное, несмотря на то, что сегодня в тресте выдавали зарплату. Все знали, что речь будет идти о моей бороде, и каждый хотел принять участие в обсуждении этой жгучей проблемы или хотя бы посмеяться.

Ну, для порядка поговорили сначала о культурно-массовой и спортивной работе, а потом перешли к кардинальному вопросу повестки дня, который значился в протоколе под рубрикой «О внешнем виде комсомольца».

Ерофейцев сделал сообщение. Он говорил, что большинство комсомольцев в свободное от работы время имеет чистый, опрятный и подтянутый вид, однако (но... наряду с этим... к сожалению, следует заметить...) имеются еще комсомольцы, пренебрегающие... и к ним следует отнести молодого специалиста инженера Калчанова.

— Я понимаю,— сказал Ерофейцев,— если бы Коля — ты меня, Коля, прости (я покивал),— если бы он был геологом и зарос, так сказать, естественным порядком (смех), но ты, Коля — прости, ты даже не художник какой-нибудь, и, извини, это — пижонство, а у нас здесь не Москва и не Ленинград.

В зале начался шум. Ребята с моего участка кричали, что борода — это личное дело мастера и уж не будет ли Ерофейцев контролировать, кто как разными такими личными делами занимается, что это, дескать, зажим и все такое. Другие кричали другое. Особенно старались девушки из Шлакоблоков. Одна из них была определенно недурна. Она заявила, что внешний облик человека свидетельствует как-никак о его внутреннем мире. Такая, грубо говоря, смугляночка. Тип Сильваны Пампанини. Я подмигнул ей, и она встала и добавила мысль о том, что дурные примеры заразительны.

Проголосовали. Большинство было против бороды.

— Хорошо, сбрею,— сказал я.

— Может, хочешь что-нибудь сказать, Коля? — спросил Ерофейцев.

— Да нет уж, чего уж,— сказал я.— Решено, значит, так. Чего уж там...

Такую я произнес речь. Публика была разочарована.

— Мы ведь тебя не принуждаем,— сказал Ерофейцев.— Мы не приказываем, тут некоторые неправильно поняли, не осмыслили. Мы тебя знаем, ты хороший специалист и в быту, в общем, устойчив. Мы тебе ведь просто рекомендуем...

Он разговаривал со мной, как с больным.

Я встал и сказал:

— Да ладно уж, чего там. Сказано — сделано. Сбрею. Считайте, что ее уже нет. Была и сплыла.

На том и закончилось собрание.

В коридоре я встретил Сергея. Он шел с рулоном чертежей под мышкой. Я прислонился к стене и смотрел, как он идет, высокий, чуть-чуть отяжелевший за эти три года после института, элегантный, как какой-нибудь гид с французской выставки.

— Ну что, барбудос, плохи твои дела? — спросил он.

Вот это в нем сохранилось — дружеское, но немного снисходительное отношение старшекурсника к салаке.

Я подтянулся.

— Не то чтобы так, начальник,— сказал я.— Не то чтобы очень.

— Это тебе не кафе «Аэлита»,— тепло усмехнулся он.

— Точно, начальник. Верно подмечено.

— А жалко? Сознайся,— подмигнул он и дернул меня за бородку.

— Да нет уж, чего уж,— засмущался я.— Ладно уж, чего там...

— Хватит-хватит,— засмеялся он,— Завелся. Вечером придешь?

— Очень даже охотно,— сказал я,— с нашим удовольствием.

— У нас сейчас совещание.— Он показал глазами на чертежи.— Говорильня минут на сорок — на час...

— Понятно, начальник, мы это дело понимаем, со всем уважением...

Он улыбнулся, хлопнул меня чертежами по голове и пошел дальше.

— Спроси его насчет цемента, мастер,— сказал мне мой тезка Коля Марков, бригадир.

Сергей обернулся уже в дверях директорского кабинета.

— А что с цементом? — невинно спросил он.

— Без ножа ведь режете, гады! — крикнул я с маленькой ноткой истерии.

За спиной Сергея мелькнуло испуганное лицо директорской секретарши.

— Завтра подбросим,— сказал Сергей и открыл дверь.

Я вышел из треста и посмотрел на огромные сопки, нависшие над нашим городком. Из-за одной сопки выглядывал краешек луны, и редкие деревья на вершине были отчетливо видны, каждое деревце в отдельности. Я зашел за угол здания, где не было никого, и стал смотреть, как луна поднимается над сопкой, довольно быстро, надо сказать, и как на сопки и на распадки ложатся резкие темно-синие тени и серебристо-голубые полосы света, и как получается Рокуэлл Кент. Я подумал о том, на сколько сотен километров к северу идет этот потрясающий рельеф и как там мало людей, да и зверей немного, и как на какой-нибудь метеостанции сидят двое и топят печь, два человека, которые никогда не надоедают друг другу.

За углом здания слышен был топот и шум. Кто-то сговаривался насчет «выпить-закусить», кто-то заводил мотоцикл, смеялись девушки.

Из-за угла вышла группа девиц, казавшихся очень неуклюжими и бесформенными в тулупах и валенках, и направилась к автобусной остановке. Это были девицы из Шлакоблоков. Они прошли мимо, стрекоча, как стая птиц, но одна обернулась и заметила меня. Она вздрогнула и остановилась. Представляю, как я выглядел один на фоне белой, освещенной луной стены.

Она подошла и остановилась в нескольких шагах от меня. Это была та самая Сильвана Пампанини. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— Ну, чего это вы так стоите? — дрогнувшим голосом спросила она.

— Значит, из Шлакоблоков? — спросил я, не двигаясь.

— Переживаете, да? — уже другим тоном, насмешливо спросила она.

— А звать-то как? — спросил я.

— Ну, Люся,— сказала она,— но ведь критика была по существу.

— Законно,— сказал я.— Пошли в кино?

Она облегченно засмеялась.

— Сначала побрейтесь, а потом приглашайте. Ой, автобус!

И побежала прочь, неуклюже переваливаясь в своих больших валенках. Даже нельзя было представить, глядя на нее в этот момент, что у нее фигура Дианы. Высунулась еще раз из-за киоска и посмотрела на Николая Калчанова, от которого на стену падала огромная и уродливая тень.

Я вышел из-за угла и пошел в сторону фосфатогорского Бродвея, где светились четыре наших знаменитых неоновых вывески — «Гастроном», «Кино», «Ресторан», «Книги» — предметы нашей всеобщей гордости. Городишко у нас гонористый, из кожи вон лезет, чтобы все было, как у больших. Даже есть такси — семь машин.

Я прошел мимо кино. Шла картина «Мать Иоанна от ангелов», которую я уже смотрел два раза, позавчера и вчера. Прошел мимо ресторана, в котором было битком. Из-за шторы виднелась картина Айвазовского «Девятый вал» в богатой раме, а под ней голова барабанщика, сахалинского корейца Пак Дон Хи. Я остановился посмотреть на него. Он сиял. Я понял, что оркестр играет что-то громкое. Когда они играют что-нибудь громкое и быстрое, например, «Вишневый сад», Пак сияет, а когда что-нибудь тихое, вроде «Степь да степь кругом», он сникает— не любит он играть тихое. В этот раз Пак сиял, как луна. Я понял, что ему дали соло. И он сейчас руками и ногами выколачивает свой чудовищный брек, а ребята из нашего треста смотрят на него, раскрыв рты, толкают друг друга локтями и показывают большие пальцы. Нельзя сказать, что джаз в нашем ресторане старомодный, как нельзя сказать, что он модерн, как нельзя подвести его ни под какую классификацию. Это совершенно самобытный коллектив. Лихие ребята. Просто диву даешься, когда они с неслыханным нахальством встают один за другим и солируют, а потом как грянут все вместе — хоть стой, хоть падай.

Насмотревшись на Пака и порадовавшись за него, я пошел дальше. У меня немного болело горло, видно, простудился сегодня на участке, когда лаялся с подсобниками.

В «Гастрономе» было полно народу. Наш трест штурмовал прилавки, а шахтеры, авторемонтники и геологи стреляли у наших трешки и пятерки. Дело в том, что нам сегодня выдали зарплату, а до других еще очередь не дошла.

У меня тоже стрельнул пятерку один знакомый парень. Шофер из партии Айрапета.

— За мной не заржавеет,— сказал он.

— Как там ваши? — спросил я.

— Все возятся, да толку мало.

— Привет Айрапету,— сказал я.

— Ага.

Он врезался в толпу, и я полез за ним.

«Подольше бы вы там чикались!» — подумал я.

Я люблю Айрапета и желаю ему удачи, но у меня просто нет сил смотреть на него и на Катю, когда они вместе.

Я взял две бутылки «Чечено-ингушского» и килограмм конфет под аппетитным названием «Зоологические». Засунул все это в карманы куртки и вышел на улицу.

«Бродвей» наш упирается прямо в сопку, в заросли кустарника, над которыми круто поднимается прозрачный лес — черные стволы, синие тени, серебристо-голубые пятна света. Ветви деревьев переплелись. Все резко, точно, страшновато. Я понимаю, почему графики любят рисовать деревья без листьев. Деревья без листьев — это вернее, чем с листьями.

А за спиной у меня была обыкновенная добропорядочная улица с четырьмя неоновыми вывесками, похожая на обыкновенную улицу в пригороде Москвы или Ленинграда, и трудно было поверить, что там, за сопкой, город не продолжается, что там уже на тысячи километров к северу нет крупноблочных домов и неоновых вывесок, что там необозримое, предельно выверенное и точное царство, где уж если нечего есть, так нечего есть, где уж если ты один, так один, где уж если тебе конец, так конец. Плохо там быть одному.

Я постоял немного на грани этих двух царств, повернул налево и подошел к своему дому. Наш дом последний в ряду и всегда будет последним, потому что дальше — сопка. Или первым, если считать отсюда.

Стаськи дома не было. Я поставил коньяк на стол, поел баклажанной икры и включил радио.

— В Турции непрерывно растет стоимость жизни,— сказало радио.

Это я слышал еще утром. Это была первая фраза, которую я услышал сегодня утром, а потом Стаська сказал:

— Куда это бородатая сволочь спрятала мои гантели?

Не люблю приходить домой, когда Стасика нет. Да, он очень шумный и рубашки носит на две стороны, удлиняет, так сказать, срок годности, а по ночам он жует пряники, запивая водопроводной водой, и чавкает, чавкает так, что я закрываюсь одеялами с головой и тихо, неслышно пою: «Га-а-дина, свинья-я, подавись ты своим пря-я-ником...» Но зато, если бы он сейчас был дома, он отбросил бы книжку и спросил: «Откуда заявилась эта бородатая сволочь?» А я ответил бы:

«С комсомольского собрания».

А когда мы выпьем, я говорю с ним о Кате.

Я встал и плотно прикрыл скрипучие дверцы шкафа, придвинул еще стул, чтобы не открывались. Не люблю, когда дзерцы шкафа открыты, и прямо весь содрогаюсь, когда они вдруг открываются сами по себе с тихим, щемящим сердце скрипом. Появляется странное ощущение: как будто из шкафа может вдруг выглянуть какая-нибудь рожа или просто случится что-нибудь нехорошее.

Я взял свой проект и расстелил на столе, приколол кнопочками. Закурил и отошел немного от стола. Он лежал передо мной, будущий центр Фосфатогорска, стеклянный и стальной, гармоничный и неожиданный. Простите, но когда-то наступает пора, когда ты сам можешь судить о своей работе. Тебе могут говорить разное, умное и глупое и середка-наполовинку, но ты уже сам стоишь, как столб, и молчишь — сам знаешь.

Конечно, это не мое дело. Я мастер. В конце концов я кончил всего только строительный институт. Мое дело — наряды, цемент, бетономешалка. Мое дело — сизый нос и щеки свекольного цвета, мое дело — «мастер, скинемся на полбанки», и, значит, туда, внутрь — «давай-давай, не обижу, ребята, фирма платит». Мое дело — находить общий язык. Привет, мое дело — это мое дело. Мое дело — стоять, как столб, у стола, курить, и хвалить себя, и знать, что действительно добился успеха.

Я размазня, я никому не показываю своей работы, даже Сергею. Все это потому, что я не хочу лезть вверх. Вот если бы мой проект приняли, а меня бы за это понизили в должности и начались бы всякие мытарства, тогда мне было бы спокойно. Я не могу, органически не могу лезть вверх. Ведь каждый будет смотреть на твою рожу и думать: «Ну, пошел парень, в гору идет!» Только Стаська и знает про эту штуку, больше никто, даже Катя.

Со мной дело плохо обстоит, уважаемые товарищи. Я влюблен. Чего там темнить — я влюблен в жену моего друга Айрапета Кичекьяна. Глупо, правда?

Я взял бутылку, двумя ударами по донышку выбил пробку и пару раз глотнул. Наверху завели радиолу.

— «Купите фиалки,— пел женский голос,— вот фиалки лесные».

Вот фиалки лесные, и ты вся в лесных фиалках, лицо твое в лесных фиалках, а ножками ты мнешь ягоды. Босыми. Землянику.

Я выпил еще и повалился на кровать. Открыл тумбочку и достал письма, наспех просмотренные утром.

Мать у меня снова вышла замуж, на этот раз за режиссера. Инка все еще меня любит. Олег напечатался в альманахе, сообщает Пенкин. Сигареты с фильтром он мне вышлет на днях. «Старая шляпа, ты еще не сдох?» — спрашивает сам Олег, и дальше набор совершенно незаслуженных оскорблений.

Я бросил письма обратно в тумбочку и встал. Увидел свое лицо в зеркале. Сейчас, что ли, ее сбрить? А как ее брить, небось, щеки все раздерешь. Я растянул себе уши и подмигнул тому, в зеркале.

— Калчанов,— сказал я.— Подонок.

— Хе-хе,— ответил тот.

— Катишься ведь по наклонной плоскости,— предупредил я его.

— Хе-хе,— ответил он и ухмыльнулся самой скверной из своих улыбок.

— Люблю тебя, подлеца,— сказал я ему.

Он потупился.

В это время постучали. Я открыл дверь, и мимо меня прямо в комнату прошла румяная Катя.

Она сняла свою парку и бросила ее на Стаськину постель. Потом подошла к зеркалу и стала причесываться. Конечно, начесала себе волосы на лоб так, что они почти закрыли правый глаз. Она была в толстой вязаной кофте и синих джинсиках, а на ногах, как у всех нас, огромные ботинки.

— Ага,— сказала она, заметив в зеркале бутылку,— пьешь в одиночку? Плохой симптом.

Я бросил ее парку со Стаськиной кровати на свою и подошел поближе. Мне нужно было убрать со стола проект, но я почему-то не сделал этого, просто заслонил его спиной.

Катя ходила по комнате и перетряхивала книги и разные вещи.

— Что читаешь? «Особняк»? Правда, здорово? Я ничего не понял.

— Коньяк хороший? Можно попробовать?

— Это Стаськины гантели? Ого!

Не знаю, что ее занесло ко мне, не знаю, нервничала она или веселилась. Я смотрел, как она ходит по нашей убогой комнате, все еще румяная, тоненькая, и вспоминал из Блока: «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, и наполнила комнату...» Как там дальше? Потом она села на мою кровать и стала смотреть на меня. Сначала она улыбнулась мне дружески-насмешливо, как улыбается мне Сергей Орлов, потом просто по-дружески, как ее муж Айрапет, потом как-то встревоженно, потом перестала улыбаться и смотрела на меня исподлобья.

А я смотрел на нее и думал:

«Боже мой, как жалко, что я узнал ее только сейчас, что мы не жили в одном доме и не дружили семьями, что я не приглашал ее на каток и не предлагал ей дружбу, что мы не были вместе в пионерском лагере, что не я первый поцеловал ее и первые тревоги, связанные с близостью, она разделила не со мной».

Весь оборот этого дела был для меня странен, немыслим, потому что она всегда, в общем, была со мной. Еще тогда, когда я вечером цепенел на площадке в пионерском лагере, глядя на темную стену леса, словно вырезанную из жести, и на зеленое небо и первую звезду... Мы пели песню:

В стране далекой юга,
Там, где не свищет вьюга,
Жил-был когда-то
Джон Грэй богатый...
Джон был силач, повеса...

Я был еще, в общем, удивительным сопляком и не понимал, что такое повеса. Я пел: «Джон был силач по весу...» Такой был смешной мальчишка. А еще мы пели «У юнги Билля стиснутые зубы», и «В Кейптаунском порту», и романтика этих смешных песенок безотказно действовала на наши сердца. И романтика эта была ею, Катей, которую я не знал тогда, а узнал только здесь. Катя, да, это бесконечная романтика, это самая ранняя юность, это... Ах ты, боже мой, это... Да-да-да. Это всегда «да» и никогда «нет». И она это знает, и она пришла сюда, чтобы сказать мне «да», потому что она почувствовала, кто она такая для меня.

— Хоть бы вы абажур какой-нибудь купили на лампочку,— сказала она тревожно.

— А, абажур,— сказал я и посмотрел на лампочку, которая свисала с потолка на длинном шнуре и висела в комнате на уровне груди. Когда нам надо было работать за столом, мы ее подвязывали к форточке.

— Правда, Колька, вы бы хоть окна чем-нибудь завесили,— посмелее сказала она.

— А, окна! — Я бессмысленно посмотрел на темные голые окна, потом посмотрел Кате прямо в глаза. В глазах у нее появился страх, они стали темными и голыми, как окна. Я шагнул к ней и задел плечом лампочку. Катя быстро встала с кровати.

— Купили бы приемник,— пробормотала она,— все-таки надо жить по-человe...

Лампочка раскачивалась, и тени наши метались по стенам и по потолку, огромные и странные. Мы стояли и смотрели друг на друга. Нас разделял метр.

— Хорошо бы еще цветы, а? — пробормотал я.— А? Цветы бы еще сюда, ты не находишь? Бумажные, огромные...

— Бумажные — на похоронах,— прошептала она.

— Ну да,— сказал я.— Бумажных не надо. Лесные фиалки, да? Вот фиалки лесные. Считай, что они здесь. Вся комната полна ими. Считай, что это так.

Я поймал лампочку и, обжигая пальцы, вывернул ее. Несколько секунд в кромешной темноте прыгали и расплывались передо мной десятки ламп, и тени качались на стене. Потом темнота успокоилась. Потом появились синие окна и темная Катина фигура. Потом кофта ее выступила бледным пятном, и я увидел ее глаза. Я шагнул к ней и обнял ее.

— Нет,— отчаянно вырываясь, сказала она.

— Это неправильно,— шептал я, целуя ее волосы, щеки, шею,— это не по правилам. Твой девиз — «да». Мне ты должна говорить только «да». Ты же это знаешь.

Она сильно, резко отворачивала свое лицо. Она вся стала в моих руках сильной, твердой, упругой, уходящей. Мне казалось, что я ошибся, что я поймал в темноте какое-то лесное животное, козу или лань.

— Калчанов, ты подонок! — крикнула она, и я ее тут же отпустил. Я понял, что она имела в виду.

— Да-да, я подонок,— пробормотал я.— Я все понимаю. Как же, конечно... Прости...

Она не отошла от меня. Глаза ее блестели. Она положила мне руку на плечо.

— Нет, Колька, ты не понимаешь... ты не подонок...

— Не подонок, правильно,— сказал я,— сорванец. Колька-удалец, голубоглазый сорванец, прекрасный друг моих забав... Отодрать его за уши...

— Ах! — прошептала она и вдруг прижалась ко мне, прильнула, прилепилась, обхватила мою голову, и была она вовсе не сильной, совершенно беспомощной и в то же время властной.

Вдруг она отшатнулась и, упираясь руками мне в грудь, прошептала таким голосом, словно плакала без перерыва несколько часов:

— Где ты раньше был, Колька? Где ты был год назад, черт?

В это время хлопнула дверь и в комнату кто-то вошел, споткнулся обо что-то, чертыхнулся. Это был Стаська. Он зажег спичку, и я увидел его лицо с открытым ртом. Он смотрел прямо на нас. Спичка погасла.

— Опять эта бородатая уродина куда-то смылась,— сказал Стаська и, громко стуча каблуками, вышел из комнаты.

— Зажги свет,— тихо сказала Катя.

Она села на кровать и стала поправлять прическу. Я пошел и долго искал лампочку, почему-то не находил. Потом нашел, взял ее в ладони. Она была еще теплой.

«Да,— подумал я.— Катя, Катя, Катя! Нет, несмотря ни на что, невзирая и не озираясь, и какое бы у тебя ни было лицо, когда я зажгу свет...»

— Что ты стоишь? — спокойно сказала она.— Вверни лампочку.

Лицо у нее было спокойное и ироническое. Она вдруг посмотрела на меня искоса и снизу так, как будто влюбилась в меня с этого, как бы первого взгляда, как будто я какой-нибудь ковбой и только что с дороги вошел сюда в пыльных сапогах, загорелый, видавший виды.

— Катя,— сказал я, но она уже надевала парку.

Она подняла капюшон, задернула «молнию», надела перчатки и вдруг увидела проект.

— Что это? — воскликнула она.— Ой, как здорово!

— Катя,— сказал я.— Ну, хорошо... Ну, боже мой... Ну что же дальше?

Но она рассматривала проект.

— Какой дом! — воскликнула она.— Потрясающе!

Я ненавидел свой проект.

— Топ-топ-топ,— засмеялась она.— Это я иду по лестнице...

— Там будет лифт,— сказал я.

— Это твоя работа? — спросила она.

— Нет, это Корбюзье.

Я закурил и сел на кровать.

— Послушай,— сказал я.— Ну, хорошо... Я не могу говорить. Иди ко мне.

— Перестань! — резко сказала она и подошла к двери.— Ты что, с ума сошел? Не сходи с ума!

— Для тебя у меня нет ума,— сказал я.

— Ты идешь к Сергею? — спросила она.

— Я иду к Сергею,— сказала она.

— Ну? — И она вдруг опять, опять так на меня посмотрела.

— Считаю до трех, Колька,— по-дружески засмеялась она.

— Считай до нуля,— сказал я и встал.

«Ну, хорошо, разыграем еще один вечер,— думал я.— Еще один фарс. Поиграем в «дочки-матери», прекрасно. Какая ты жалкая, ведь ты же знаешь, что наш пароль — «да»!»

Мы вышли из дому. Она взяла меня под руку. Она ничего не говорила и смотрела себе под ноги. Я тоже молчал. Скрипел снег, и булькал коньяк у меня в карманах.

На углу главной улицы мы увидели Стаську. Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, и читал газету, наклеенную прямо на стену. В руках у него был его докторский чемоданчик.

— Привет, ребята,— сказал он, заметив нас, и ткнул пальцем в газету.— Как тебе нравится Фишер? Силен, бродяга!

— Ты с вызовов, да? — спросил я его.

— Да, по вызовам ходил,— ответил он, глядя в сторону.— Одна скарлатина, три катара, обострение язвы...

— Пошли к Сергею?

— Пошли.

Он взял Катю под руку с другой стороны, и мы пошли втроем. С минуту мы шли молча, и я чувствовал, как дрожит Катина рука. Потом Катя заговорила со Стаськой. Я слушал, как они болтают, и окончательно уже терял все нити, и меня заполняла похожая на изжогу, на сильное похмелье пустота.

— Просто не представляю себе, что ты врач,— как сто раз раньше, посмеивалась над Стасиком Катя.— Я бы к тебе не пошла лечиться.

— Тебе у психиатра надо лечиться, а не у меня,— как всегда, отшучивался Стаська.

Мы вошли в дом Сергея и стали подниматься по лестнице. Стаська пошел впереди и обогнал нас на целый марш. Катя остановилась, обняла меня за шею и прижалась щекой к моей бороде.

— Коленька,— прошептала она,— мне так тошно. Сегодня у меня был Чудаков, и я послала с ним Айрапету белье и варенье. Ты понимаешь, я...

Я молчал. Проклятое косноязычие! Я мог бы ей сказать, что всю мою нежность к ней, всю жестокость, которую я могу себе позволить, я отдаю в ее распоряжение, что все удары я готов принять на себя, если бы это было можно. Да, я знаю, что все будет распределено поровну, но пусть она свою долю попробует отдать мне, если может...

— Мне никогда не было так тяжело,— прошептала она.— Я даже не думала, что так может быть.

Наверху открылась дверь, послышались громкие голоса Сергея и Стаськи и голос Гарри Беллафонте из магнитофона. Он пел «Когда святые маршируют».

— Катя! — крикнул Сергей.— Коля! Все наверх!

Она поспешно вытирала глаза.

— Пойдем,— сказал я.— Я тебя сейчас развеселю.

— Развеселишь, правда? — улыбнулась она.

— Ты слышишь Беллафонте? — спросил я.— Сейчас мы с ним вдвоем возьмемся за дело.

Мы побежали вверх по лестнице и ворвались в

прекрасную квартиру заместителя главного инженера треста Сергея Юрьевича Орлова. Я сразу прошел в комнату и грохнул на стол свои бутылки. Я привык вести себя в этой квартире немного похамски, наследить, например, своими огромными ботинками, развалиться в кресле и вытянуть ноги, шумно сморкаться. Вот и сейчас я прошагал по навощенному, не типовому, а индивидуальному паркету, прибавил громкости в магнитофоне и стал выкаблучивать. С ботинок у меня слетали ошметки снега. Стасик не обращал на меня внимания. Он сидел в кресле возле журнального столика и просматривал прессу. Катя и Сергей что-то задержались в передней. Я заглянул туда. Они стояли очень близко друг к другу. Сергей держал в руках Катину парку.

— Ты плакала? — строго спросил он.

— Нет.— Она покачала головой и увидела меня.— Отчего мне плакать?

Сергей обернулся и внимательно посмотрел на меня.

— Пошли, ребята, выпьем! — сказал я.

Они вошли в комнату. Сергей увидел коньяк и сказал:

— Опять «Чечено-ингушский»? Похоже на то, что Дальний Восток становится филиалом Чечено-Ингушетии.

— Не забывают нас братья из возрожденной республики,— сказал я.

Сергей принес рюмки и разлил коньяк, потом опять ушел и вернулся с тремя бутылками нарзана. Скромно поставил их на стол.

— Господи, нарзан!— воскликнула Катя.— Где ты только это все достаешь?

— Не забывают добрые люди,— усмехнулся Сергей.

— Да, у него и сигареты московские и самые дефицитные книжки. Устроил же себе человек уголок цивилизации! — Стаська выпил рюмку и сосредоточенно углубился в себя.

— Идет,— сказал он,— пошел по пищеводу.

Это он о коньяке.

— Ты смотрела «Мать Иоанну»? — спросил Катю Сергей.

— Два раза,— сказала Катя,— вчера и позавчера.

— А ты? — повернулся ко мне Сергей.

— Мы вместе с Катей смотрели,— сказал я.

— Вот как? — Он опять внимательно посмотрел на меня.— Ну и что? Как Люцина Виницка?

— Потрясающе,— сказала Катя.

— Прошел в желудок,— меланхолически заметил Стасик.

— Вообще поляки работают без дураков...

— Да, кино у них сейчас...

— Я смотрел один фильм...

— Там есть такой момент...

— Всасывается,— сказал Стасик,— всасывается в стенки желудка.

— Помнишь колокола? Беззвучно...

— И женский плач...

— Масса находок...

— Неореализм трещит по швам..

— Но итальянцы...

— Если вспомнить «Сладкую жизнь»...

— А в крови-то, в крови,— ахнул Стаська,— господи, в крови-то у меня что творится!

Так мы сидели и занимались своими обычными разговорчиками. Мы всегда собирались у Сергея. Здесь как-то все располагало к таким разговорам, но в последнее время эти сборища стали напоминать какую-то обязательную гимнастику для укрепления языка, и в этой чудовищной болтовне появилась какая-то фальшь, так же, как во всей обстановке, в модернистских гравюрах на стене. Все это, по-моему, уже чувствовали.

Я смотрел на Катю. Она печально смеялась и курила. Мне бы с ней быть не здесь, а где-нибудь на метеостанции. Топить печь.

— Может, тебе не стоит столько курить? — сказал ей Сергей.

И только в музыке не было фальши, в металлических звуках, в резком полубабьем голосе. Я вскочил.

— Катюша! Катька! Пойдем танцевать!

Катя побежала ко мне, грохоча ботинками.

— «Они ушли чуть свет, сегодня с ними Кэт»! — закричал я, подлаживаясь под Анка.

— Ну как же я буду танцевать в этих чеботах? — растерянно улыбнулась Катя.

— Одну минуточку,— сказал Сергей и полез под тахту.

Я выкаблучивал, как безумный, и вдруг увидел, что он вытаскивает из-под тахты лучшие Катины туфельки. Он встал с туфельками в руках и посмотрел на Катю. Он держал туфельки как-то по-особенному и смотрел на Катю с каким-то новым, удивившим меня, дурацки печальным выражением.

Катя насмешливо улыбнулась ему и выхватила туфельки.

Да, мы танцевали. Я показал, на что я способен.

— Ну, даешь, бородатая бестия! — кричал Стасик и хлопал в ладоши.

— Осторожней, Колька! — кричал Сергей и тоже хлопал.

Я крутил Катю и подбрасывал ее, мне это было легко, у меня хорошие мускулы, и чувство ритма, и злости достаточно. И танец был немыслим и фальшив, потому что не так мне надо с ней танцевать.

Когда кончилась эта свистопляска, мы с Катей упали на тахту. Мы лежали рядом и шумно дышали.

— Скоро мне уже нельзя будет танцевать такие танцы,— тихо сказала она.

— Почему? — удивился я, чувствуя приближение чего-то недоброго.

— Я беременна,— сказала Катя.— Начало второго месяца...— Мне показалось, что я сейчас задохнусь, что тахта поехала из-под меня и я уже качаюсь на одной спице и вот-вот сорвусь.

— Да,— прошептала она,— вот видишь... Все и еще это.— И она погладила меня по голове, а я взял ее за руку. Мы не обращали внимания на то, что на нас смотрят Сергей и Стаська. «Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова, так и жизнь пройдет»...— вертелось у меня в голове.

— Ну, будь веселым,— сказала Катя,— давай, веселя меня.

— Давай повеселю,— сказал я.

Мы снова начали танцевать, но уже не так, да и музыка была другая.

В это время раздался звонок. Сергей пошел открывать и вернулся с Эдиком Танакой. Эдик весь заиндевел, видно, долго болтался по морозу.

— Танцуете? — угрожающе сказал он.— Танцуйте, танцуйте. Так вы все на свете протанцуете.

Катя заулыбалась, глядя на Танаку, и у меня почему-то немного отлегло от души с его приходом. Он всегда заявлялся из какого-то особого, спортивного, крепкого мира. Он был очень забавный, коренастый, ладненький такой, с горячими коричневыми глазами. Отец у него японец. Наш простой советский японец, а сам Эдик — чемпион по лыжному двоеборью.

— А ну-ка, смотрите сюда, ребятки! — закричал он

и вдруг выхватил из-за пазухи что-то круглое и оранжевое.

Он выхватил это, как бомбу, размахнулся в нас, но не бросил, а поднял над головой. Это был апельсин.

Катя всплеснула руками. Стаська замер с открытым ртом, прервав наблюдения над своим организмом. Сергей оценивающе уставился на апельсин. А я, я не знаю, что делал в этот момент.

— Держи, Катька! — восторженно крикнул Эдик и бросил Кате апельсин.

— Ну что ты, что ты! — испуганно сказала она и бросила ему обратно.

— Держи, говорю! — И Эдик опять бросил ей этот плод.

Катя вертела в руках апельсин и вся светилась, как солнышко.

— Ешь! — крикнул Эдик.

— Ну что ты! Разве его можно есть? — сказала она.— Его надо подвесить под потолок и плясать вокруг, как идолопоклонники.

— Ешь, Катя,— сказал Сергей.— Тебе это нужно сейчас.

И он посмотрел на меня. Что такое? Он знает? Что такое? Я посмотрел на Катю, но она подбрасывала апельсин в ладошках и забыла обо всем на свете.

— Мужчины, быстро собирайтесь,— сказал Эдик.— Предстоит великая гонка. В Талый пришел пароход, битком набитый этим добром.

— Это что, новый японский анекдот? — спросил Стасик.

Сергей, ни слова не говоря, ушел в другую комнату.

— Скептики останутся без апельсинов,— сказал Эдик.

Тут Стаська, видно, понял, что Эдик не врет, и бросился в переднюю. Чуть-чуть не грохнулся на паркете. Катя тоже побежала было за ним, но я схватил ее за руку.

— Тебе нельзя ехать,— сказал я.— Тебе же нельзя. Ты забыла?

— Ерунда,— шепнула она.— Мне еще можно.

Открылась дверь, и показался во всех своих мотоциклетных доспехах Сергей Орлов. Он был в кожаных штанах, в кожаной куртке с меховым воротником и в шлеме. Он застегивал краги. В другое время я бы устроил целый цирк вокруг этой кожаной статуи.

— Мы на мотоцикле поедем, Сережа? — спросила Катя, прямо как маленькая.

— Ты что, с ума сошла? — спросил он откуда-то сверху.— Тебе же нельзя ехать. Неужели ты не понимаешь?

Катя сбросила туфельки, влезла в свои ботинки.

— Ладно,— сказал он и кивнул мне.— Пойдем, поможешь мне выкатить машину.

Он удалился, блестя кожаным задом. Эдик сказал, что они со Стаськой поедут на его мотоцикле, только позже. К тому же ему надо заехать в Шлакоблоки, так что мы должны занять на них очередь. Катя дернула меня за рукав.

— Ну что ты стоишь? Скорей!

— Иди-ка сюда,— сказал я, схватил ее за руку и вывел в переднюю.

— От кого ты беременна? — спросил я ее в упор.— От него? — И я кивнул на лестницу.

— Идиот! — воскликнула она и в ужасе приложила к щекам ладони.— Ты с ума сошел! Как тебе в голову могло прийти такое?

— Откуда он знает? Почему у него были твои туфли?

Она ударила меня по щеке не ладошкой, а кулачком, неловко и больно.

— Кретин! Порочный тип! Подонок! — горячо шептала она.— Уйди с глаз моих долой!

Конечно, разревелась. Эдик заглянул было в переднюю, но Стаська втянул его в комнату.

Я готов был задушить себя собственными руками. Я никогда не думал, что я способен на такие чувства. У меня разрывалось сердце от жалости к ней и от такой любви, что... Я чувствовал, что сейчас расползусь здесь на месте, как студень, и от меня останется только мерзкая сентиментальная лужица.

— Ты... ты...— шептала она,— тебе бы только мучить... Я так обрадовалась из-за апельсина, а ты... С тобой нельзя... И очень хорошо, что у нас ничего не будет. Иди к черту!

Я поцеловал ее в лоб, получил еще раз по щеке и стал спускаться. Идиот, вспомнил про туфельки! Это было в тот вечер, когда к нам приезжала эстрада. Я крутился тогда вокруг певицы, а Катя пошла к Сергею танцевать. Кретин, как я мог подумать такое?

Во дворе я увидел, что Сергей уже вывел мотоцикл и стоит возле него, огромный и молчаливый, как статуя командора.

3. ГЕРМАН КОВАЛЕВ

Кают-компания была завалена мешками с картошкой. Их еще не успели перенести в трюм. Мы сидели на мешках и ели гуляш. Дед рассказывал о том случае со сто седьмым, когда он в Олюторском заливе ушел от отряда, взял больше всех сельди, а потом сел на камни. Деда ловили на каждом слове и смеялись.

— Когда же это было? — почесал в затылке чиф.

— В пятьдесят восьмом, по-моему,— сказал Боря.— Точно, в пятьдесят восьмом. Или в пятьдесят девятом.

— Это было в тот год, когда в Северо-Курильск привозили арбузы,— сказал боцман.

— Значит, в пятьдесят восьмом,— сказал Иван.

— Нет, арбузы были в пятьдесят девятом.

— Помню, я съел сразу два,— мечтательно сказал Боря,— а парочку еще оставил на утро, увесистых.

— Арбузы утром — это хорошо. Прочищает,— сказал боцман.

— А я, товарищи, не поверите, восемь штук тогда умял...— Иван бессовестно вытаращил глаза. Чиф толкнул лампу, и она закачалась. У нас всегда начинают раскачивать лампу, когда кто-нибудь «травит».

Качающаяся по стенам тень Ивана с открытым ртом и всклокоченными вихрами была очень смешной.

— Имел бы совесть, Иван,— сказал стармех,— всем ведь только по четыре штучки давали.

— Не знаете, дед, так и не смейтесь,— обиженно засопел Иван.— Если хотите знать, мне Зина с заднего хода еще четыре штуки вынесла.

— Да, арбузы были неплохие,— сказал Боря.— Сахаристые.

— Разве то были арбузы! — воскликнул чиф.— Не знаете вы, мальчики, настоящих арбузов! Вот у нас в Саратове арбузы — это арбузы.

— Сто седьмой в пятьдесят девятом сел на камни,— сказал я.

Все непонимающе посмотрели на меня, а потом вспомнили, с чего начался спор.

— Почему ты так решил, Гера? — спросил боцман.

— Это было в тот год, когда я к вам попал.

Да, это было в тот год, когда я срезался в авиационный техникум и пошел по жаркому и сухому городу куда глаза глядят, не представляя себе, что я могу вернуться домой к тетиным утешениям, и на стене огромного старинного здания, которое у нас в Казани называют «бегемот», увидел объявление об оргнаборе рабочей силы. Да, это было в тот год, когда я сел на жесткую серую тразу возле кремлевской стены и понял, что теперь не скоро увижу Казань, что мальчики и девочки могут на меня не рассчитывать, что я, возможно, увижу моря посильнее, чем Куйбышевское. А за рекой виднелся наш Кировский район, и там, вблизи больших корпусов, моя улица, заросшая подорожником, турник во дворе, тетин палисадник и ее бормотание: «Наш сад уж давно увядает, помят он, заброшен и пуст, лишь пышно еще доцветает настурции огненный куст». И возле старого дощатого, облупившегося забора, который почему-то иногда вызывал целую бурю воспоминаний неизвестно о чем, я, задыхаясь от волнения, читал Ляле свой перевод стихотворения из учебника немецкого языка: «В тихий час, когда солнце бежит по волнам, я думаю о тебе. И тогда, когда, в лунных блестя лучах, огонек бежит...» А Ляля спросила, побагровев: «Это касается меня?» А я сказал: «Ну что ты! Это просто перевод». И она засмеялась: «Старомодная чушь!» Да, это было в тот год, когда я впервые увидел море, такое настоящее, такое зеленое, пахнущее снегом, и понял, что я отдам морю всю свою жизнь. А Корень, который тогда еще служил на «Зюйде», засунул мне за шиворот селедку, и ночью в кубрике я ему дал «под ложечку», и он меня очень сильно избил. Да, это было в тот год, когда на сейнер был назначен наш нынешний капитан Володя Сакуненко, который не стал возиться с Корнем. Корень пытался взять его на горло и хватался за нож, но капитан списал его после первого же рейса. Да, это было в тот год, когда я тайком плакал в кубрике от усталости и от стыда за свое неумение. Это было в тот год, когда окончательно подобрался экипаж «Зюйда». А арбузы, значит, были в пятьдесят восьмом, потому что при мне в Северо-Курильск не привозили арбузов.

На палубе застучали сапоги, в кают-компанию вошел вахтенный и сообщил, что привезли муку и мясо и что капитан велел передать: он пошел в управление выбивать киноленты.

— Иван, Боря, Гера,— сказал чиф,— кончайте вашу трапезу и идите принимать провиант, а остальные пусть занимаются своим делом.

— Черт,— сказал боцман,— выйдем мы завтра или нет?

— А кто их знает,— проворчал чиф,— ты же знаешь, чем они там думают.

Дело в том, что мы уже неделю назад как кончили малый ремонт, завтра мы должны выходить в море, а из управления еще не сообщили, куда нам идти — на минтая ли к Приморью, на сельдь ли в Олюторку или опять на сайру к острову Шикотан. Мы с Иваном и Борей вышли на палубу и начали таскать с причала мешки с мукой и бараньи туши. Я старался таскать мешки с мукой. Нет, я не чистоплюй какой-нибудь, но мне всегда становится немного не по себе, когда я вижу эти красные с белыми жилами туши, промерзшие и твердые.

Солнце село, и круглые верхушки сопок стали отчетливо видны под розовым небом. В Петрове уже зажигались огни на улицах. За волноломом быстро сгущались сумерки, но все еще была видна проломанная во льду буксирами дорога в порт, льдины и разводы, похожие на причудливый кафельный орнамент. Завтра и мы уйдем по этой дороге, и снова — пять месяцев качки, ежедневных ледяных бань, тяжелых снов в кубрике, тоски о ней. Так я ее и не увидел за эту неделю после ремонта. Сегодня я отправлю ей последнее письмо, и в нем стихи, которые написал вчера:

Ветерок листву едва колышет
и, шурша, сбегает с крутизны.
Солнце, где-то спрятавшись за крыши,
загляделось в зеркальце луны.
Вот и мне никак не оторваться
от больших печальных глаз...

Вчера я читал эти стихи в кубрике, и ребята ужасно растрогались. Иван вскрыл банку компота и сказал: «Давай, поэт, рубай, таланту нужны соки».

Интересно, что она мне ответит. На все мои письма она ответила только один раз. «Здравствуйте, Гера! Извините, что долго не отвечала, очень была занята. У нас в Шлакоблоках дела идут ничего, недавно сдали целый комплекс жилых зданий. Живем мы ничего, много сил отдаем художественной самодеятельности...» — и что-то еще. И ни слова о стихах и без ответа на мой вопрос. Она плясунья. Я видел однажды, как она плясала, звенела монистами, словно забыв обо всем на свете. Так она и пляшет передо мной все ночи в море, поворачивается, вся звеня, мелко-мелко перебирая сафьяновыми сапожками. А глаза у нее не печальные. Это мне бы хотелось, чтобы они были печальными.

У нее глаза рассеянные, а иногда какие-то странные, сумасшедшие.

— Эй, Герка, держи! — крикнул Иван и бросил мне с пирса баранью тушу.

Я еле поймал ее. Она была холодная и липкая. Где-то далеко, за краем припая, ревело открытое море.

Из-за угла склада прямо на причал выехал зеленый «газик». Кто же это к нам пожаловал, регистр, что ли? Мы продолжали свою работу, как бы не обращая внимания на машину, а она остановилась возле нашего судна, и из нее вышли и спрыгнули к нам на палубу паренек с кожаной сумкой через плечо и женщина в шубе и брюках.

— Привет! — сказал паренек.

— Здравствуйте,— ответили мы, присели на планшир и закурили.

— Вот это, значит, знаменитый «Зюйд»? — спросила женщина.

А, это корреспонденты, понятно, они нас не забывают. Мы привыкли к этой публике. Забавное дело, когда поднимаешь ловушку для сайры и тебя обливает с ног до головы, а в лицо сечет разная снежная гадость, в этот момент ты ни о чем не думаешь или думаешь о том, что скоро сменишься, выпьешь

кофе и — набок, а оказывается, что в это время ты «в обстановке единого трудового подъема» и так далее... И в любом порту обязательно встретишь корреспондента. Зачем они ездят, не понимаю. Как будто надо специально приезжать, чтобы написать про обстановку единого трудового подъема. Писатели — другое дело. Писателю нужны разные шуточки. Одно время повадились к нам в сейнерский флот писатели. Ребята смеялись, что скоро придется на каждом судне оборудовать специальную писательскую каюту. Чего их потянуло на рыбу, не знаю. С нами тоже плавал месяц один писатель из Москвы. Неделю блевал в своей каютке, потом отошел, перебрался к нам в кубрик, помогал на палубе и в камбузе. Он был неплохой парень, и мы все к нему быстро привыкли, только неприятно было, что он все берет на карандаш. Особенно это раздражало Ивана. Как-то он сказал писателю, чтобы тот перестал записывать и держал бы в уме свои жизненные наблюдения. Но тот ответил, что все равно будет записывать, что бы Иван с ним ни сделал, пусть он его хоть побьет, но он писатель и будет записывать, невзирая ни на что. Тогда Иван примирился.

Потом мы даже забыли, что он писатель, потому что он вставал на вахту вместе с нами и вместе ложился. Когда он появился на нашем сейнере, я перестал читать ребятам свои стихи, немного стеснялся — все же писатель,— а потом снова начал, потому что забыл, что он писатель, да, честно говоря, и не верилось, что он настоящий писатель. И он, как все, говорил: «Здоров, Гера», «Талант», «Рубай компот» и так далее. Но однажды я заметил, что он быстро наклонил голову, и улыбнулся, и взялся двумя пальцами за переносицу.

Вечером, когда он в силу своей привычки сидел на корме, съежившись и уставившись стеклянными глазами в какую-то точку за горизонтом, я подошел к нему и сказал:

— Послушай, то, что я сочиняю,— это дрянь, да?

Он вздохнул и посмотрел на меня.

— Садись,— сказал он,— хочешь, я тебе почитаю стихи настоящих поэтов?

Он стал читать и читал долго. Он как-то строго, как будто со сцены, объявлял фамилию поэта, а потом читал стихи. Кажется, он забыл про меня. Мне было холодно от стихов. Все путалось от них у меня в голове.

Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
Вздымал косынку на плече.

Нет, я никогда не смогу так писать. И не понимаю, что такое «зеленый ветер шипра». Ветер не может быть зеленым, у шипра нет ветра. Может быть, стихи можно писать только тогда, когда поверишь во все невозможное, когда все тебе будет просто и в то же время каждый предмет будет казаться загадкой, даже спичечный коробок? Или во сне? Иногда я во сне сочиняю какие-то странные стихи.

— А вообще ты молодец,— сказал мне тогда писатель,— молодец, что пишешь и что читаешь ребятам, не стесняешься. Им это нужно.

На прощание он записал мне свой адрес и сказал, что когда я буду в Москве, я смогу прийти к нему в любое время, смогу у него жить столько, сколько захочу, и он познакомит меня с настоящими поэтами. Он сказал нам всем, что пришлет свою книжку, но пока еще не прислал...

Мы спустились с корреспондентами в кубрик. Парень положил свою сумку на стол и открыл ее. Внутри был портативный магнитофон «Репортер».

— Мы из радио,— объяснил он,— Центральное радио.

— Издалека, значит,— посочувствовал Иван.

— Неужели в этом крошечном помещении живет шесть человек? — изумилась женщина.— Как же вы здесь помещаетесь?

— Ничего,— сказал Боря,— мы такие, портативные, так сказать.

Женщина засмеялась и навострила карандаш, как будто Боря преподнес уж такую прекрасную шутку. Наш писатель не записал бы такую шутку. Она, эта женщина, очень суетилась и как будто заискивала перед нами. А мы стеснялись, нам было как-то странно, как бывает всегда, когда в кубрик, где все мы притерлись друг к другу, проникают какие-то другие люди, удивительно незнакомые. Поэтому Иван насмешливо улыбался, а Боря все шутил, а я сидел на рундуке со стиснутыми зубами.

— Ну, хорошо, к делу,— сказал парень-корреспондент, пустил магнитофон и поднял маленький микрофончик.— Расскажите нам, товарищи, о вашей последней экспедиции на сайру, в которой вам удалось добиться таких высоких показателей. Расскажите вы,— сказал он Ивану.

Иван откашлялся.

— Трудности, конечно, были,— неестественно высоким голосом произнес он.

— Но трудности нас не страшат,— бодро добавил Боря.

Женщина с удивлением посмотрела на него, и мы все с удивлением переглянулись.

— Можно немного поподробнее? — веселеньким радиоголосом сказала женщина.

Иван и Борька стали толкать меня в бока: давай, мол, рассказывай.

— Ревела буря, дождь шумел,— сказал я,—в общем, действительно была предштормовая обстановка, ну, а мы... а мы, значит... ловили сайру... и это...

— Ладно,— мрачно сказал корреспондент,— хватит пленку переводить. Не хотите, значит, рассказывать?

Нам было очень неудобно перед корреспондентами. Действительно, мы вели себя, как скоты. Люди ехали к нам издалека на своем «газике», промерзли, наверное, до костей, а мы не мычим, не телимся. Но что, в самом деле, можно рассказать? То, как опускают в воду ловушки для сайры и зажигают красный свет, а потом выбирают трос, и тут лебедку пустить нельзя — приходится все вручную, и трос сквозь рукавицы жжет тебе ладони, а потом дают синий свет, и сайра начинает биться, как бешеная, вспучивает воду, а на горизонте темное небо прорезано холодной желтой полосой, и там, за ней, бескрайняя поверхность океана, а в середине океана Гавайские острова, а дальше, на юг, встают грибы водородных взрывов, и эту желтую полосу медленно пересекают странные тени японских шхун,— про это, что ли, рассказывать? Но ведь про это нельзя рассказать, для этого нужен какой-то другой магнитофон и другая пленка, а таких еще нет.

— Вам надо капитана дождаться,— сказал Иван,— он все знает, у него цифры на руках...

— Ладно, дождемся,— сказал парень-корреспондент.

— Но вы, товарищи,— воскликнула женщина,— неужели вы ничего не можете рассказать о своей жизни? Просто так, не для радио. Ведь это же так интересно! Вы на полгода уходите в море...

— Наше дело маленькое, хе-хе,— сказал Боря,— рыбу стране, деньги жене, нос по волне.

— Прекрасно! — воскликнула женщина.— Можно записать?

— Вы что, писатель? — спросил Иван подозрительно.

Женщина покраснела.

— Да, она писатель,— мрачно сказал парень-корреспондент.

— Перестаньте,— сердито сказала она ему.

— Вот что, товарищи,— сказала женщина сурово,— нам говорили, что среди вас есть поэт.

Иван и Боря просияли.

— Точно,— сказали они.— Есть такой.

Вскоре выяснилось, что поэт — это я. Парень снова включил магнитофон.

— Прочтите что-нибудь свое.

Он сунул мне в нос микрофон, и я прочел с выражением:

Люблю я в жизни штормы, шквалы,
Когда она бурлит, течет,
Она не тихие причалы,
Она сплошной водоворот.

Это стихотворение, подумал я, больше всего подойдет для радио. Штормы, шквалы — романтика рыбацких будней.

Я читал, и Иван и Боря смотрели на меня, раскрыв рты, и женщина тоже открыла рот, а парень-корреспондент вдруг наклонил голову и улыбнулся так же, как тот мой друг, писатель, и потрогал пальцами переносицу.

— А вам нравятся стихи вашего товарища? — спросила женщина у ребят.

— Очень даже нравятся,— сказал Боря.

— Гера у нас способный паренек,— улыбнулся мне Иван.— Так быстренько все схватывает, на работе, да? Раз-два — смотришь, стих сложил...

— Прекрасный текст,— сказал парень женщине.— Я записал. Шикарно!

— Вы думаете, он пойдет? — спросила она.

— Я вам говорю. То, что надо.

В это время сверху, с палубы, донесся шум.

— Вот капитан вернулся,— сказал Боря.

Корреспонденты собрали свое добро и полезли наверх, а мы за ними.

Капитан наш Володя Сакуненко стоял с судовыми документами под мышкой и разговаривал с чифом. Одновременно с нами к нему подошел боцман. Боцман очень устал за эти дни подготовки к выходу и даже на вид потерял энное количество веса. Корреспонденты поздоровались с капитаном, и в это время боцман сказал:

— Хочешь не хочешь, Васильич, а я свое дело сделал и сейчас пойду газку подолью.

Володя, наш Сакуненко, покраснел и тайком показал боцману кулак.

— А что такое «газку подолью»? — спросила любознательная женщина.

Мы все закашлялись, но расторопный чиф пояснил:

— Такой термин, мадам. Проверка двигателя, отгазовочка, так сказать...

Женщина понятливо закивала, а парень-корреспондент подмигнул чифу: знаем, мол, мы эти отгазовочки,— и выразительно пощелкал себя по горлу. А Володя, наш Сакуненко, все больше краснел, снял для чего-то шапку, развесил свои кудри, потом спохватился, шапку надел.

— Скажите, капитан,— спросила женщина,— вы завтра уходите в море?

— Да,— сказал Володя,— только еще не знаем, куда.

— Почему же?

— Да, понимаете,— залепетал Володя,— начальство у нас какое-то не пунктуальное, не принципиальное, короче... не актуальное...

И совсем ему жарко стало.

— Ну, мы пойдем, Васильич,— сказали мы ему,— пойдем погуляем.

Мы спустились в кубрик, переоделись в чистое и отправились на берег, в город Петрово, в наш очередной Марсель.

Не сговариваясь, мы проследовали к почте. Ребята знали, что я жду письма от Люси. Ребята знают обо мне все, как я знаю все о каждом из них. Такая уж у нас служба.

В Петрове на главной улице было людно. Свет из магазинов ложился на скользкие, обледенелые доски тротуара. В блинном зале «Утеса» уже сидел наш боцман, а вокруг него какие-то бичи. Корня среди них не было. Возле клуба мы встретили ребят с «Норда», который стоял с нами борт в борт. Они торопились на свою посудину.

На почте я смотрел, как Лидия Николаевна перебирает письма в ящичке «До востребования», и страшно волновался, а Иван и Боря поглядывали на меня исподлобья, тоже переживали.

— Вам пишут,— сказала Лидия Николаевна.

И мы пошли к выходу.

— Не переживай, Гера,— сказал Иван.— Плюнь!

Конечно, можно было бы сейчас успеть к автобусу на Фосфатогорск, а оттуда попутными добраться до Шлакоблоков и там все выяснить, поставить все точки над «и», но я не буду этого делать. Мне мешает мужская гордость, и потом я не хочу ставить точки над «и», потому что завтра мы снова надолго уходим в море. Пусть уж она останется для меня такой — в перезвоне монист, плясуньей. Может, ей действительно художественная самодеятельность мешает написать письмо.

Я шел по мосткам, подняв воротник своей кожаной куртки и надвинув на глаза шапку, шел со стиснутыми зубами, и в ногу со мной вышагивали по бокам Иван и Боря, тоже с поднятыми воротниками и в нахлобученных на глаза шапках. Мы шли независимые и молчаливые.

На углу я увидел Корня. Долговязая его фигура отбрасывала в разные стороны несколько качающихся теней. Меньше всего мне хотелось сейчас видеть его. Я знал, что он остановит меня и спросит, скрипя зубами: «Герка, ты на меня зуб имеешь?» Так он спросил меня, когда мы встретились осенью на вечере в Доме моряка в Талом, на том вечере, где я познакомился с Люсей. Тогда мы впервые встретились после того, как Володя Сакуненко списал его с «Зюйда» на берег. Я думал, что он будет прихватывать, но он был в тот вечер удивительно трезвый и чистый, в галстуке и полуботинках, и, отведя меня в сторону, он спросил: «Гера, ты на меня зуб имеешь?» Плохой у меня характер: стоит только ко мне по-человечески обратиться, и я все зло забываю. Так и в тот раз с Корнем. Мне почему-то жалко его стало, и весь вечер мы с ним были взаимно вежливы, как будто он никогда не засовывал мне за шиворот селедку, а я никогда не бил его «под дых». Мы не поссорились даже из-за Люси, хотя приглашали ее напропалую. Кажется, мы даже почувствовали друг к другу какую-то симпатию, когда ее увел с вечера стильный, веселый малый бурильщик Виктор Колтыга.

— В другое время я бы этому Витеньке устроил темную,— сказал тогда Корень,— но сегодня не буду: настроение не позволяет. Пойдем, Гера, товарищ по несчастью, есть у меня тут две знакомые красули.

И я, толком даже не разобрав, что он сказал, пошел с ним, а утром вернулся на сейнер с таким чувством, словно вывалялся в грязи.

С тех пор с Корнем мы встречаемся мирно, но я стараюсь держаться от него подальше: эта ночь не выходит у меня из головы. А он снова оборвался, и вечно пьян, и каждый раз, скрипя зубами, спрашивает: «Ты на меня зуб имеешь?» Видно, все перепуталось в его бедной башке.

Увидев нас, Корень покачнулся и сделал неверный шаг.

— Здорово, матросы,— проскрипел он.— Гера, ты на меня зуб имеешь?

— Иди-иди, Корень,— сказал Иван.

Корень потер себе варежкой физиономию и глянул на нас неожиданно ясными глазами.

— С Люськой встречаешься? — спросил он.

— Ступай, Корень,— сказал Боря.— Иди своей дорогой.

— Иду, матросы, иду. На камни тянусь. Прямым курсом на камни.

Мы пошли дальше молча и твердо. Мы знали, куда идем. Ведь это, наверное, каждому известно, что надо делать, когда любимая девушка тебе не пишет.

Мы перешли улицу и увидели нашего капитана и женщину-корреспондента. Володя, наш Сакуненко, будто и не остывал, шел красный, как рак, и смотрел перед собой прямо по курсу.

— Скажите, а что такое бичи? — спрашивала женщина.

— Бичи — это как бы... как бы,— бубнил капитан,— вроде бы морские тунеядцы, вот как.

Женщина воскликнула:

— Ох, как интересно!..

Изучает жизнь, понимаете ли, а Володя, наш Сакуненко, страдает.

Мы заняли столик в «Утесе» и заказали «Чечено-ингушского» и закуски.

— Не переживай, Гера,— сказал Иван.— Не надо!

Я махнул рукой и поймал на себе сочувственный взгляд Бори. Ребята сочувствовали мне изо всех сил, и мне это было приятно. Смешно, но я иногда ловлю себя на том, что мне бывает приятно оттого, что все на сейнере знают о моей сердечной ране. Наверное, я немного пошляк.

Оркестр заиграл «Каррамба синьоре».

— Вот, может быть, пойдем в Приморье, тогда зайдем во Владик, а там, знаешь, Иван, какие девочки!..— сказал Боря, глядя на меня.

В зал вошел парень-корреспондент. Он огляделся и, засунув руки в карманы, медленно направился к нам. В правом кармане у него лежало что-то большое и круглое, похожее на бомбу.

— Не переживай, Гера,— умоляюще сказал Иван,— прямо сил моих нет смотреть на тебя.

— Можно к вам присесть, ребятишки? — спросил корреспондент.

Иван подвинул ему стул.

— Слушай, корреспондент, скажи ты этому дураку, какие на свете есть девчонки. Расскажи ему про Брижитт Бардо.

— А,— сказал корреспондент,— «Чечено-ингушский»?

— Прямо сил моих нет смотреть, как он мается!— стонущим голосом продолжал Иван.— Дурак ты, Герка, ведь их же больше, чем нас. Нам надо выбирать, а не им. Правильно я говорю?

— Точно,— сказал корреспондент.— Перепись доказала.

— А я ему что говорю? С цифрами на руках тебе доказывают, дурень...

— Для поэта любая цифра — это ноль,— улыбнулся мне корреспондент.— Ребята, передайте-ка мне нож.

Боря передал ему нож, и он вдруг вынул из кармана свою бомбу. Это был апельсин.

— Батюшки мои! — ахнул Боря.

Парень крутанул апельсин, и он покатился по столу, по скатерти, по пятнам от винегрета, сбил рюм-

ку и, стукнувшись о тарелку с бараньей отбивной, остановился, сияя, словно солнышко.

— Это что, с материка, что ли, подарочек? — осторожно спросил Иван.

— Да нет,— ответил парень,— ведь мы на «Кильдине» сюда приплыли, верней, не сюда, а в Талый.

— А «Кильдин», простите, что же, пришел в Талый с острова Фиджи?

— Прямым курсом из Марокко,— захохотал корреспондент.— Да вы что, ребята, с неба свалились? «Кильдин» пришел битком набитый этим добром. Знаете, как я наелся.

— Эй, девушка, получите! — заорал Иван.

От «Утеса» до причала мы бежали, как спринтеры. Подняли на сейнере аврал. Мальчики в панике стаскивали с себя робы и натягивали чистое. Через несколько минут вся команда выскочила на палубу. Вахтенный Динмухамед проклинал свое невезение. Боря сказал ему, чтоб он зорче нес вахту, тогда мы его не забудем. Ребята с «Норда», узнав, куда мы собираемся, завыли, как безумные. Им надо было еще принимать соль и продукты и чистить посудину к инспекторскому смотру. Мы обещали занять на них очередь.

На окраине города, возле шлагбаума, мы провели голосование. Дело было трудное: машины шли переполненные людьми. Слух об апельсинах уже докатился до Петрова.

Наконец подошел «МАЗ» с прицепом, на котором были укреплены огромные панели, доставленные с материка. «МАЗ» шел в Фосфатогорск. Мы облепили прицеп, словно десантники.

Я держался за какую-то железяку. Рядом со мной висели Боря и Иван. Прицеп дико трясло, а иногда заносило вбок, и мы гроздьями повисали над кюветом. Пальцы у меня одеревенели от холода, и иногда мне казалось, что я вот-вот сорвусь.

В Фосфатогорске мы пересели в бортовую машину. Мимо неслись сопки, освещенные луной, покрытые редким лесом. Сопки были диковинные, и деревья покрывали их так разнообразно, что мне в голову все время лезли разные поэтические образы. Вот сопка, похожая на короля в горностаевой мантии, а вот кругленькая сопочка, словно постриженная под бокс... Иногда в падях в густой синей тени мелькали одинокие огоньки. Кто же это живет в таких заброшенных падях? Я смотрел на эти одинокие огоньки, и мне вдруг захотелось избавиться от своего любимого ремесла, перестать плавать, и стать каким-нибудь бурильщиком, и жить в такой вот халупе на дне распадка вдвоем с Люсей Кравченко. Она перестанет относиться ко мне как к маленькому. Она поймет, что я ее постарше, там она поймет меня. Я буду читать ей свои стихи, и Люся поймет то, что я не могу в них сказать. И вообще она будет понимать меня с полуслова, а то и совсем без слов, потому что слова бедны и мало что выражают. Может быть, и есть такие слова, которых я не знаю, которые все выражают безошибочно, может быть, они где-нибудь и есть, только вряд ли.

Машина довезла нас до развилки на зверосовхоз. Здесь мы снова стали голосовать, но грузовики проходили мимо, и с них кричали:

— Извините, ребята, у нас битком!

Красные стоп-сигналы удалялись, но сверху, с сопок, к нам неслись новые фары, и мы ждали. Крутящийся на скатерти апельсин вселил в меня надежду. Путь на Талый лежит через Шлакоблоки. Может быть, мы там остановимся, и, может быть, я зайду к ней в общежитие, если, конечно, мне позволит мужская гордость. Все может быть.

4. ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО

Какой-то выдался пустой вечер. Заседание культурно-бытовой комиссии отложили, репетиция только завтра. Скучно.

— Девки, кипяточек-то вас дожидается,— сказала И. Р.,— скажите мне спасибо, все вам приготовила для постирушек.

Ох, уж эта И. Р.: вечно она напоминает о разных неприятностях и скучных обязанностях.

— Я не буду стирать,— сказала Маруся,— все равно не успею. У Степы сегодня увольнительная.

— Может, пятая комната завтрашний день нам уступит? — предположила Нина.

— Как же, уступит, дожидайтесь,— сказала И. Р.

Стирать никому не хотелось, и все замолчали. Нинка вытащила свое парадное — шерстяную кофточку и вельветовую юбку с огромными карманами, капроны и туфельки — и разложила все это на кровати. Конечно, собираться на вечер гораздо приятнее, чем стирать.

— Нет уж, девушки,— сказала я,— давайте постираем хотя бы носильное.

Мне, может быть, больше всех не хотелось стирать, но я сказала это потому, что была убеждена: человек должен научиться разумно управлять своими желаниями.

— Да ну тебя, Люська! — надула губы Нинка, но все же встала.

Мы переоделись в халатики и пошли в кубовую. И. Р. действительно все приготовила: титан был горячий, корыта и тазы стояли на столах. Мы закрыли дверь на крючок, чтобы ребята не лезли в кубовую со своими грубыми шутками, и принялись за работу.

Клубы пара сразу заполнили комнату. Лампочка под потолком казалась расплывшимся желтым пятном. Девочки смеялись, и мне казалось, что смех их доносится откуда-то издалека, потому что сквозь густой желтый пар они были почти не видны. Отчетливо я видела только голые худенькие плечи Нины. Она посматривала на меня. Она всегда посматривает на меня в кубовой или в бане, словно сравнивает. У меня красивые плечи, и меня смешат Нинкины взгляды, но я никогда не подам виду, потому что знаю: человека характеризует не столько внешняя, сколько внутренняя красота.

Мимо меня проплыла розовая полуголая и огромная Сима. Она поставила таз под кран и стала полоскать что-то полосатое, я не сразу догадалась — это были матросские тельняшки. Значит, Сима завела себе кавалера, поняла я. Странная девушка эта Сима: об ее, мягко говоря, увлечениях мы узнаем

только в кубовой во время стирки. В ней, в Симе, гнездятся пережитки домостроя. Она унижается перед мужчинами и считает своим долгом стирать их белье. Она находит в этом даже какое-то удовольствие, а я... Недавно я читала, что в скором времени будет изобретено и внедрено все необходимое для раскрепощения женщины от бытовых забот и женщина сможет играть бо́льшую роль в общественной жизни. Скорее бы пришли эти времена! Если я когда-нибудь выйду замуж...

Сима растянула тельняшку.

— Ну и ручки у твоего дружка! — воскликнула Маруся.

— Такой обнимет — закачаешься! — засмеялся кто-то, и все засмеялись.

Началось. Сейчас девушки будут болтать такое... Прямо не знаю, что с ними делать.

На этот раз я решила смолчать, и пока девушки болтали такое-растакое, я молчала, и под моими руками, как живое, шевелилось, чавкало, пищало бело-розово-голубое белье, клокотала вода и радужными пузырями вставала мыльная пена, а голова моя кружилась, и в глазах было темно. Мне было нехорошо.

Я вспомнила тот случай в Краснодаре, когда Владимир снял свой синий торгашеский халат и стал приставать ко мне. Чего он только не выделывал, как не ломал мне руки и не сгибал меня! Можно было закричать, но я не закричала: это было унизительно — кричать из-за такого скота. Я боролась с ним, и меня душило такое возмущение и такая злоба, что, попадись мне в руку кинжал, я могла бы убить его, словно испанка. И только в один момент мне стало нехорошо, как вот сейчас, и потемнело в глазах, подогнулись ноги, но через секунду я снова взяла себя в руки. Я выбежала из конторки. Света и Валентина Ивановна ничего не поняли, столики все уже были накрыты. Как раз за окнами шел поезд, и фужеры дребезжали, и солнечные пятнышки прыгали на потолке, а приборы блестели в идеальном порядке. Но стоит только открыть вон ту дверь — и сюда хлынет толпа из зала ожидания, и солнечные пятнышки запрыгают на потолке, словно в панике, а по скатертям поползут темные пятна пива, а к концу дня — господи! — мерзкие кучки винегрета с натыканными в него окурками... Я вздрогнула, мне показалось, что я с ног до головы облеплена этим гнусным ночным винегретом, а сзади скрипнула дверь — это, видимо, вышел Владимир, еще не успевший отдышаться, и я сорвала наколку и фартук, и, ничего не говоря Свете и Валентине Ивановне, прошла через зал и скрылась. Больше они меня не увидят, Света и Валентина Ивановна, и я их больше не увижу. Жалко: они хорошие. Но зато я больше не увижу масленую рожу Владимира, этого спившегося, обожравшегося и обворовавшегося по мелочам человека. Надо начинать жизнь сначала, думала я, пока шла по городу. Право, не для того я кончала десятилетку, чтобы служить в буфете. Заработки, конечно, там большие, но зато каждый пижон норовит к тебе пристать.

— Ну-ну, зачем же реветь? — сказал кто-то прямо над ухом.

Я увидела мужчину и шарахнулась от него, побежала, как сумасшедшая. На углу я оглянулась. Он был молод и высок, во рту у него был листок платана. Он удивленно смотрел на меня и крутил пальцем у виска. Может быть, с ним мне и стоит связать свою судьбу, подумала я, но, может быть, он такой же, как Владимир? Я завернула за угол, и этот высокий светлоглазый парень навсегда исчез из моей жизни.

По радио шла передача для молодежи. Пели мою любимую песню:

Если хочешь ты найти друзей,
Собирайся в путь скорей.
Собирайся с нами в дальний путь,
Только песню не забудь...

В дорогу! В дорогу! Есть целина и Братск, и стройка Абакан — Тайшет, а можно уехать и дальше, на Дальний Восток, вот объявление — требуются сезонницы для работы на рыбокомбинате. Я вспомнила множество фильмов, и песен, и радиопередач о том, как уезжает молодежь, и как там, на Востоке, вдалеке от насиженных мест, делает большие дела, и окончательное решение созрело во мне.

Да, там, на Востоке, жизнь моя пойдет иначе, и я найду там применение своим силам и энергии. И там, возможно, я вдруг увижу высокого светлоглазого моряка, и он долго не будет решаться подойти ко мне, а потом подойдет, познакомится, будет робеть и краснеть и по ночам сидеть под моими окнами, а я буду совмещать работу с учебой и комсомольской работой и как-нибудь сама задам ему один важный вопрос и сама поцелую его...

— Ничего! — закричала Сима.— Я на своего Мишеньку не обижаюсь!

И я увидела в тумане, как потянулось ее большое розовое тело.

— Тьфу ты! — не выдержала я.— И как тебе только не совестно, Серафима?..

— А ты бы помолчала, Люська! — Сима, обвязанная по пояс тельняшкой, подошла ко мне и уперла руки в бока.— Ты бы уж лучше не чирикала, а то вот расскажу твоему Эдику про твоего Витеньку, а твоему Витеньке про твоего Герочку, а про длинного из Петровского порта забыла?

— Да уж, Люся, ты лучше не притворяйся,— продолжала Нинка, — ты со всеми кокетничаешь, ты даже с Колей Калчановым на собрании кокетничала.

— Неправда! — воскликнула я.— Я не кокетничала, а я его критиковала за внешний вид. И если тебе, Нина, нравится этот стиляга Калчанов, то это не дает тебе права выдумывать. К тому же одно дело — кокетничать, а другое дело... белье для них стирать. У меня с мальчиками только товарищеские отношения. Я не виновата, что я им нравлюсь.

— А тебе разве никто не нравится, Людмила? — спросила Маруся.

— Я не для этого сюда приехала! — крикнула я.— Мальчиков и на материке полно!

Правда, я не для этого сюда приехала.

Еще с парохода я увидела на берегу много ребят, но, честное слово, я меньше всего о них думала. Я думала тогда, что поработаю здесь, осмотрюсь и, может быть, останусь не на сезон, а подольше и, может быть, приобрету здесь хорошую специальность, ну, и немного, очень отвлеченно, думала о том высоком светлоглазом парне, который, наверное, решил, что я сумасшедшая, который исчез для меня навсегда. В тот же день вечером со мной познакомился бурильщик Виктор Колтыга. Оказалось, что он тоже из Краснодара. Это было очень странно, и я провела с ним целый вечер. Он очень веселый и эрудированный, только немного несобранный.

— Чего вы на меня набросились? — крикнула я.— У вас только мальчишки и на уме! Никакого самолюбия!

— Дура ты, Люська,— засмеялась Сима,— эдак ты даже при твоей красоте в девках останешься. Этот несобранный, другой несобранный. Чем, скажи, японец плох? И чемпион, и одевается стильно, и специальность хорошая — радиотехник.

— Ой, да ну вас! — чуть не плача, сказала я и ушла из кубовой.

Довели меня эти проклятые девчонки. Я вошла в комнату и стала развешивать белье. Кажется, я плакала. Может быть. Ну, что делать, если парни все действительно какие-то несобранные. Вместо того, чтобы поговорить о чем-нибудь интересном, им бы только хватать руками.

Я зацепляла прищепками лифчики и трико и чувствовала, что по щекам у меня текут слезы. Отчего я плакала? Оттого, что Сима сказала? Нет, для меня это не проблема, вернее, для меня это второстепенная проблема.

Я вытерла лицо, потом подошла к тумбочке и намазала ладони кремом «Янтарь» (мажь не мажь, все равно ладошками орехи можно колоть), причесалась, губы я не мажу принципиально, вынула томик Горького и села к столу.

Я не знаю, что это за странный был вечер: началось с того, что я чуть не заплакала, увидев Калчанова одного за углом дома. Это было странно, мне хотелось оказать ему помощь, я была готова сделать для него все, несмотря на его подмигивания; а потом разговоры в кубовой, я не знаю, может быть, пар, жара и желтый свет действуют так, или сопки, синие и серебряные, выгнутые и как будто спокойные, действуют так, но мне все время хочется совершить что-то необычное, может быть, дикое, я еле держу себя в руках; а сейчас я посмотрела на свое висящее белье — небольшая кучка, всего ничего — и снова заплакала: мне стало страшно оттого, что я такая маленькая, вот я, вот белье, а вот тумбочка и койка, и одна-одинешенька, боги мой, как далеко, и что это за странный вечер, а тень от Калчанова на белой стене. Он бы понял меня, этот бородатый Коля, но сопки, сопки, сопки, что в них таится и на что они толкают? Скоро приедет Эдик, и опять разговоры о любви и хватание руками, мучение да и только, и все ребята какие-то несобранные. Я не пишу ни Вите, ни Гере, ни Вале, я дрянь порядочная, и никого у меня нет, в девках останусь. И еще как там моя сестра со своими ребятишками? Ой! Я ревела.

Уже слышались шаги по коридору и смех девчат, и я усилием воли взяла себя в руки. Я вытерла глаза и открыла Горького. Девочки вошли с шумом-гамом, но, увидев, что я читаю художественную литературу, стали говорить потише.

На счастье, мне сразу попалась хорошая цитата. Я подошла к тумбочке, вынула свой дневник и записала туда эту цитату: «Если я только для себя, то зачем я?» Неплохая, по-моему, цитата, помогающая понять смысл жизни.

Тут я заметила, что Нинка на меня смотрит. Стоит, дурочка, в своей вельветовой юбке, а кофточка на одном плече. Смотрит на мой дневник. Недавно она сожгла свой дневник. Перед этим приключилась история. Она оставила дневник на тумбочке, и девчата стали его читать. Дневник Нины, в общем, был интересным, но у него был крупный недостаток — там были только мелкие, личные переживания. Девчата все растрогались и поражались, какая наша Нинка умница и какой у нее красивый слог. Особенно им понравились Нинины стихи:

Восемнадцать! Чего не бывает
В эти годы с девичьей душой,
Все нутро по любви изнывает,
Да и взгляд мой играет мечтой.

Я сказала, что хотя стихи и хороши по рифме, все же они узколичные и не отражают настроений нашего поколения. Девочки стали спорить со мной. Спорили мы очень шумно и вдруг заметили, что в дверях стоит Нина.

Нина, как только мы к ней повернулись, сразу разревелась и побежала через всю комнату к столу, выхватила дневник из рук И. Р. и побежала, прижав его к груди, назад к двери. Она бежала и громко ревела.

Она сожгла свой дневник в топке титана. Я заглянула в кубовую и увидела, что она сидит прямо на полу перед топкой и смотрит, как коробятся в огне картонные корки дневника, а промокашка на голубой шелковой ленточке свисала из топки.

Сима сварила для Нины варенье из брусники, поила ее чаем, а мы все в ту ночь не спали и потихоньку смотрели с кроватей, как Нина и Сима при свете ночника пьют чай и шепчутся, прижавшись друг к другу.

Скоро все это забылось и все стало, как и раньше,— над Ниной подшучивали, над ее юбкой тоже, а вот сейчас, поймав ее взгляд, я вспомнила, как она бежала и какая она была прекрасная. Я пригласила ее сесть на свою койку, и прочла ей эту чудесную цитату Алексея Максимовича Горького, и показала ей другие цитаты, и дала ей немного почитать свой дневник. Я бы не стала реветь, если бы мой дневник прочли все, потому что я не стыжусь своего дневника: это типичный дневник молодой девушки наших дней, не какой-нибудь узколичный дневник.

— Хороший у тебя дневник,— вздохнула Нина и обняла меня за плечи. Она положила свою руку мне на плечи неуверенно, наверное, думала, что я отодвинусь, но я знала, как хочется ей со мной подружиться, и почему-то сегодня мне захотелось ей сделать что-нибудь приятное, и я тоже ее обняла за ее худенькие плечи.

Мы сидели, обнявшись, на моей койке, и Нина тихонько рассказывала мне про Ленинград, откуда она приехала и где прожила все свои восемнадцать лет, про Васильевский остров, про Мраморный зал, куда она ходила танцевать, и как после танцев зазевавшиеся мальчики густой толпой стоят возле дворца и разглядывают выходящих девочек, и в темноте белеют их нейлоновые рубашки. И как ни странно, вот таким образом к ней подошел он, и они пять раз встречались, ели мороженое в «Лягушатнике» на Невском и даже один раз пили коктейль «Привет», после чего два часа целовались в парадном, а потом он куда-то исчез; его товарищи сказали, что его за что-то выгнали из университета и он уехал на Дальний Восток, работает коллектором в геологической партии, а она уехала сюда, а почему именно сюда: может быть, он бродит по Сахалину или в Приморье?

— Гора с горой не сходится,— сказала я ей,— а человек с чело...

— Можно к вам, девчата? — послышался резкий голос, и в комнату к нам вошел Марусин Степа, старший сержант.

Мы засмотрелись на него. Он шел по проходу между койками, подтянутый, как всегда, туго перетянутый ремнем, и, как всегда, шутил:

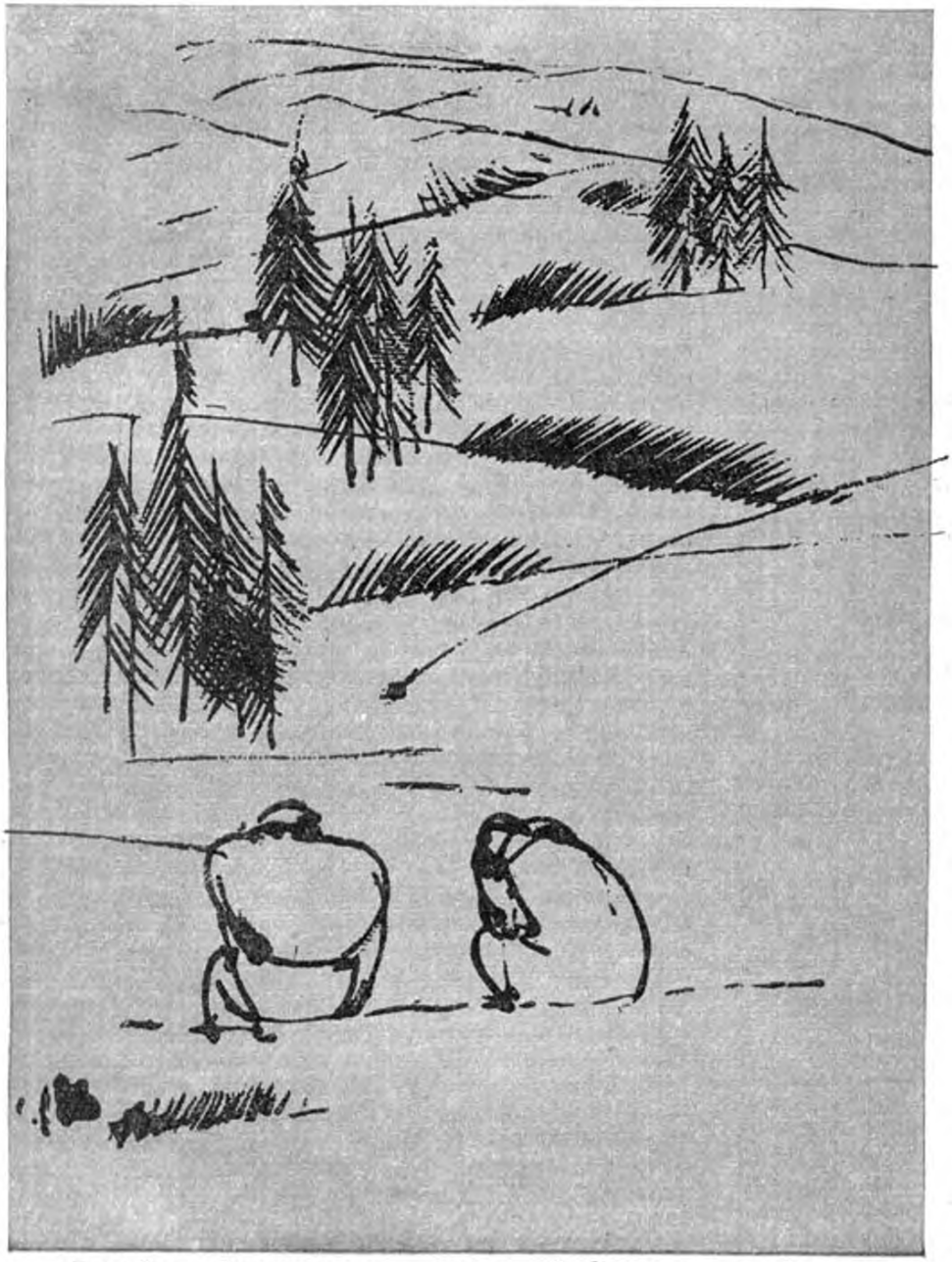
— Встать! Поверка личного состава!

— Как успехи на фронте боевой и политической подготовочки?

— Претензии? Личные просьбы?

Как всегда, он изображал генерала.

Маруся из своего угла молча смотрела на него. Глаза ее, как всегда, заблестели, и губы, как всегда, складывались в улыбку.



— Ефрейтор Рукавишников,— сказал ей Степа,— подготовиться к выполнению особого задания. Форма одежды зимняя парадная. Поняли? Повторите!

Но Маруся ничего не сказала и ушла за ширму переодеваться.

Пока она возилась за ширмой, Степа разгуливал по комнате, блестели, как ножки рояля, его сапоги и ременная бляха. На нем сегодня была какая-то новая форма — короткая теплая куртка с откинутым назад капюшоном из синего искусственного меха.

— Какой ты, Степа, сегодня красивый,— сказала И. Р.

— Новая форма,— сказал Степа и оправил складки под ремнем.— Между прочим, девчата, завтра на материк лечу.

— Больно ты здорово врать стал,— сказала Сима.

Она презирала таких, как Степа, невысоких стройненьких крепышей.

— Точно, девчата, лечу. Из Фосфатки до Хабаровска на «ИЛ-14», а оттуда на реактивном до столицы, а там уж...

— Что ты говоришь? — тихо сказала Маруся, выходя из-за ширмы.

Она уже успела надеть выходное платье и все свои стекляшки. Это была ее слабость — разные стекляшечки, огромные клипсы, бусы, броши.

— Так точно, лечу,— щелкнул каблуком Степа и осмотрел всю комнату.— Мамаша у меня померла. Скончалась, в общем. Третьего дня телеграмма была. Вот, отпускает командование. Литер выписали, суточные. Все, как положено.

Маруся села на стул.

— Что ты говоришь? — опять сказала она.— Будет тебе...

Степа достал портсигар.

— Разрешите курить? — Щелкнул портсигаром и посмотрел на часы.— Через два дня буду на месте. Вчера родичам телеграмму дал, чтоб без меня не хоронили. Ничего, подождать могут. А, девчата? Даже если нелетная погода будет, все равно. Как считаете, девчата? Время-то зимнее, можно и подождать с этим делом, а?

Маруся вскочила, схватила свою шубу и потащила сержанта за рукав.

— Пойдем, Степа, пойдем!..

Она первая вышла из комнаты, а Степа, задержавшись в дверях, взял под козырек.

— Счастливо оставаться, девчата! Значит, передам от вас привет столице.

Мы все молчали. Дежурная И. Р. накрывала к столу, было время ужина. На кровати у нее, заваленная горой подушек, стояла кастрюля. И. Р. сняла подушки и поставила кастрюлю на стол.

— Ничего, успеет,— сказала Сима,— время-то действительно зимнее, могут подождать.

— Конечно, могут,— сказала И. Р.,— летом другое дело, а зимой могут.

— Как вы можете так говорить? — чуть не закричала Нинка.— Как вы все так можете говорить?

Я молчала. Меня поразил Степа, поразила на этот раз его привычная подтянутость и ладность, весь его вид «на изготовку», его пронзительный, немного даже визгливый голос, и весь его блеск, и стук подкованных каблуков, и портсигар, и часы, и новая форма, а Марусины стекляшки показались мне сейчас не смешными, а странными и торжественными, когда она стояла перед своим женихом, а желтый лучик от броши уходил вверх, к потолку.

— Масло кончилось,— сказала И. Р.,— надо, девки, сходить за маслом.

— Сходишь, Розочка? — ласково спросила Сима.

— Ага,— сказала Роза и встала.

— Розка вчера бегала за подушечками,— пробасила И. Р.

— Ну, я схожу,— сказала Сима.

— Давайте я быстро сбегаю,— предложила Нина.

Я оделась быстрее всех и вышла. В конце коридора танцевали друг с другом два подвыпивших бетонщика. Дверь в одну комнату была открыта, из нее валили клубы табачного дыма, слышалась музыка и громкие голоса парней. Они отмечали получку.

— Людмила, королева!— закричал один бетонщик.— Иди сюда!

— Эй, культурная комиссия! Даешь культуру! — крикнул второй.

Я распахнула дверь на крыльцо и выскочила на обжигающий мороз. Дверь за мной захлопнулась, и сразу наступила тишина. Это был как будто совсем другой мир после духоты и шума нашего общежития. Луна стояла высоко над сопками в огромном черном небе. Над низкими крышами поселка белели под луной квадратные колонны клуба. Где-то скрипели по наезженному снегу тихие шаги.

Я пошла по тропинке и вдруг услышала плач. Спиной ко мне на заснеженном бревне сидели Степа и Маруся. Они сидели не рядом, а на расстоянии, две совсем маленькие фигурки под луной, а от них чуть покачивались длинные тени. Маруся всхлипывала, плечи Степы тряслись. Мне нужно было пройти мимо них, другого пути к магазину не было.

— Не плачь,— сказал Степа сквозь слезы.— Ну че ты плачешь? Я ей писал о тебе, она о тебе знала.

— И ты не плачь. Не плачь, Степушка,— причитала Маруся,— успеешь доехать. Время зимнее, не убивайся.

А я не помню своей мамы, вернее, почти не помню. Помню только, как она отшлепала меня за что-то. Не больно было, но обидно. Когда два года назад умерла наша тетя, я очень сильно горевала и плакала. Тетю я помню отлично, тетя для нас с сестрой была, как мама. А где сейчас наш отец? Где он бродит, как работает? Кто-то видел его в Казахстане. Как его разыскать? Его необходимо разыскать, думала я, мало ли что, авария или болезнь.

Я шла быстро: я знала кратчайшую дорогу через всю путаницу переулков, улиц и тупиков — и вскоре вышла на площадь.

Огромная белая горбатая площадь лежала передо мной. Когда-нибудь, и, может быть, скоро, эта площадь станет ровной, и ветер будет завивать снег на ее асфальте, красивые высокие дома окружат ее, а в центре будет стоять большой гранитный памятник Ильичу, летом здесь будут проходить молодежные гулянья, а пока что эта площадь не имеет названия, она горбата, как край земли, и пустынна.

Только где-то далеко маячили фигурки людей, а на другой стороне светились окна продуктового магазина и закусочной. Я почти бежала по тракторной колее, мне хотелось скорее пересечь площадь. В центре, где из снега торчало несколько саженцев и фигура пионера-горниста из серого цемента, я остановилась и посмотрела на гряду сопок. Отсюда можно видеть Муравьевскую падь и огоньки машин, спускающихся по шоссе к нашему поселку.

На этот раз по шоссе вниз двигалась целая вереница огней, какой-то, видимо, дальний, караван шел к нашему поселку. Я люблю смотреть, как оттуда, из мерцающей темноты гор, спускаются к нам огоньки машин. А в непогоду, в метель, когда сопки сливаются с небом, они появляются оттуда, как самолеты.

На краю площади из снега торчат почернелые столбы. Говорят, что раньше эти столбы подпирали сторожевую вышку. Говорят, что когда-то давно, еще во времена Сталина, на месте нашего поселка был лагерь заключенных. Просто трудно себе представить, что здесь, где мы сейчас работаем, танцуем, ходим в кино, смеемся друг над другом и ревем, когда-то был лагерь заключенных. Я стараюсь не думать о тех временах, уж очень это непонятные для меня времена.

В магазине было много народу: день получки. Все брали помногу и самое лучшее. Я заняла очередь за маслом и пошла в кондитерский отдел посмотреть, чего бы купить девочкам к чаю, все-таки сегодня получка. И никаких складчин. Это я их сегодня угощаю на свои деньги. Пусть удивятся.

— Разрешите? — тронула меня за плечо какая-то пожилая, лет тридцати пяти, женщина.— Можно посмотреть? Сколько это стоит? Я плохо вижу. А это? А это?

Она совалась то туда, то сюда, водила носом прямо по стеклу витрины. Какая-то странная женщина: в платке, а сверху на платке городская шляпка, старенькая, но фасонистая. Она так вокруг меня мельтешила, что я прямо выбрать ничего не могла.

— Хочешь компоту? Ты любишь компот? — спросила она, нагнувшись, и я увидела, что она держит за руку маленького закутанного то ли мальчика, то ли девочку, только нос торчит да красные щеки.

— Ага,— сказал ребенок.

— Дайте нам компоту триста граммов,— обратилась женщина к продавщице.

Продавщица стала взвешивать компот, пересыпала в совке урюк, сушеные яблочки и чернослив, а женщина нетерпеливо топталась на месте, взглядывала на продавщицу, на весы, на витрину, на меня, на ребенка.

— Сейчас придем домой, Боренька,— приговаривала она.— Отварим компоту и съедим, да? Сейчас нам тетя отпустит, и мы пойдем домой...— И улыбнулась какой-то неуверенной близорукой улыбкой.

У меня вдруг прямо защемило все внутри от жалости к этой женщине и мальчику, просто так, не знаю почему, наверное, нечего было ее и жалеть, может, она вовсе и не несчастная, а, наоборот, просто мечтает о своей теплой комнате, о том, как будет есть горячий компот вместе с Борей, а Боря скоро вырастет и пойдет в школу, а там — время-то летит — глядишь, и школу кончит... Я раньше не понимала, почему люди с таким значением говорят: «Как время-то летит»,— почему это всегда не пустые слова, а всегда в них или грусть, или неукротимые

желания, или бог весть что, а сейчас мне вдруг показалось, что мне открылось что-то в этой щемящей жалости к смешной закутанной парочке, мечтающей о компоте.

Прямо не знаю, что сегодня со мной происходит. Может, это потому, что у меня сегодня оказалось столько пустого времени: заседание комиссии отложили, репетиция только завтра, Эдик еще не приехал. Прямо не знаю, какая-то я стала рева и размазня. Мне вдруг захотелось такого Бореньку, и идти с ним домой, и нести в маленьком кулечке триста граммов компота.

Нагруженная покупками, я вышла из магазина. Мимо шла машина, полная каких-то веселых парней. Я услышала, как в кузове заколотили кулаками по крыше кабины. Машина притормозила, в воздухе мелькнули меховые унты, и передо мной вырос улыбающийся — рот до ушей — высокий парень.

— Привет! — сказал он.— Дорогая прима, не бойсь! Подарочек от восторженных поклонников вашего уважаемого таланта.

И протянул мне — господи! — огромный-преогромный оранжевый-преоранжевый, самый что ни на есть настоящий, всамделишный апельсин.

5. КОРЕНЬ

С утра я прихватил с собой пару банок тресковой печени: чувствовали мои кишки, чем все это дело кончится.

Пятый склад был у черта на рогах, за лесной биржей, возле заброшенных причалов. Неприятная местность для глаза, надо сказать. Иной раз забредешь сюда, так прямо выть хочется: ни души, ни человека, ни собаки, только кучи ржавого железа да косые столбы. Болтали, что намечена модернизация этих причалов. И впрямь: недалеко от склада сейчас стоял кран с чугунной бабой, четырехкубовый экскаватор и два бульдозера. Но работы, видно, еще не начались, и пока что здесь все было по-прежнему, за исключением этой техники. Пока что сюда направили нас для расчистки пятого склада от металлолома и мусора.

Умница я. Не просчитался я с этими банками. Часам к трем Вовик, вроде бы наш бригадир, сказал:

— Шабашьте, матросы! Айда погреемся! У меня для вас есть сюрприз.

И достает из своего рюкзака двух «гусей», две таких симпатичных черных бутылочки по ноль семьдесят пять. Широкий человек — Вовик. Откуда только у него гроши берутся?

Сыграли мы отбой, притащили в угол какие-то старые тюфяки и драное автомобильное сиденье, забаррикадировались ящиками, в общем, получилось купе первого класса.

Вовик открыл свои бутылочки, я выставил свои банки, а Петька Сарахан вытащил из штанов измятый плавленый сыр «Новый».

— Законно,— сказал он.— Не дует.

Короче, устроились мы втроем очень замечательно, прямо получился итээровский костер. Сидим себе, выпиваем, закусываем. Вовик, понятно, чувствует себя королем.

— Да, матросы,— говорит,— вот было времечко, когда я из Сан-Франциско «либертосы» водил, яичный порошок для вас, сопляки, таскал.

— Давай,— говорим мы с Петькой,— рассказывай.

Сто пять раз мы уже слышали про то времечко, когда Вовик «либертосы» водил, но почему еще раз не доставить человеку удовольствие? К тому же травит Вовик шикарно. Был у нас в лесной командировке на Нере один хлопчик, он нам по ночам романы тискал про шпионов и артисток. Ну, так Вовик ему не уступит, честно. Прямо видишь, как Вовик гуляет по Сан-Франциско с двумя бабами — одна брюнетка, другая еще черней, прямо, видишь, понял, как эти самые «либертосы» идут без огней по проливу Лаперуза, а япошки-самураи им мины подкладывают под бока.

Не знаю, ходил ли Вовик в самом деле через океан, может, и не ходил, но рассказывает он здорово, мне бы так уметь.

— ...и страшной силы взрыв потряс наше судно от киля до клотиков. В зловещей темноте завыли сирены.— Глаза у Вовика засверкали, как фонари, а руки задрожали. Он всегда начинал нервничать к концу рассказа и сильно действовал на Петьку да и на меня, если по чести.

— Суки! — закричал Петька по адресу самураев.

— Суки они и есть,— зашипел Вовик.— Понял, как они нейтралитет держали, дешевки!

— Давай дальше,— еле сдерживаясь, сказал я, хотя знал, что будет дальше: Вовик бросится в трюм и своим телом закроет пробоину.

— Дальше, значит, было так,— мужественным голосом сказал Вовик и стал закуривать. Тут, в этом месте, он закуривает долго-долго, прямо все нервы из тебя выматывает.

— Вот они где, полюбуйтесь,— услышали мы голос и увидели прямо над нами Осташенко, инспектора из портового управления. С ним подошел тот инженер, что выписывал нам наряд в этот склад.

— Так, значит, да? — спросил Осташенко.— Вот так, значит? Таким, значит, образом?

Не люблю типов, что задают глупые вопросы. Что он, сам не видит, каким, значит, образом?

— Перекур у нас,— сказал я.

— Водочкой, значит, балуетесь, богодулы? Кают-компанию себе устроили?

— Кончайте вопросы задавать,— сказал я.— Чего надо?

— Вам, значит, доверие, да? А вы, значит, так?

Тогда я встал.

— Или это работа для моряков? — закричал я, перебираясь через ящики поближе к Осташенко.— Это вы так используете квалифицированные кадры?!

Инженер побледнел, а Осташенко побагровел.

— Ты меня за горло не бери, Костюковский! — заорал он на меня.— Ты тут демагогией не занимайся, тунеядец!

И пошел.

— На судно захотел, да? На сейнерах у нас сейчас таким, как ты, места нет, понял? На сейнерах у нас сейчас только передовые товарищи. А твои безобразия, Костюковский, всем уже надоели. Так, смотри, и из резерва спишем...

— Чуткости у вас нет,— вожливенько сказал я. Ух ты, как взвился!

— Чуткость к тебе проявляли достаточно, а что толку? Не понимаешь ты человеческого отношения. Тебе что — абы зенки пялить! С «Зюйда» тебя списали, с плавбазы тоже, на шхуне «Пламя» и трех месяцев не проплавал...

— Ну, ладно, ладно,— сказал я,— спокойно, начальник.

Мне не хотелось вспоминать о шхуне «Пламя».

— Ты думаешь, так тебе просто и пройдет эта история с каланами? — понизил голос Осташенко, и глаза у него стали узкими.

— Эка, вспомнили! — свистнул я, но, честно говоря, стало мне вдруг кисло от этих его слов.

— Мы все помним, Костюковский, решительно все, имей это в виду.

Подошел Вовик.

— Простите,— сказал он инженеру,— вы нам дали на очистку этих авгиевых конюшен три дня и три ночи, да? Кажется, так?

— Да-да,— занервничал инженер.— Три рабочих смены, вот и все. Да я и не сомневаюсь, что вы... это товарищ Осташенко решил проверить...

— Завтра к концу дня здесь будет чисто,— картинно повел рукой Вовик.— Все. Повестка дня исчерпана, можете идти.

Когда начальники ушли, мы вернулись в свое «купе», но настроение уже было испорчено начисто. И выпили мы и закусили по следующему кругу, но без всякого вдохновения.

— А чего это он тебя каланами пугал? — скучно спросил Вовик.

— Да там была одна история у нас на шхуне «Пламя»,— промямлил я.

— А чего это такое — каланы? — спросил Петька.

— Зверек такой морской, понял? Не котик и не тюлень. Самый дорогой зверь, если хочешь знать. Воротник из калана восемь тыщ стоит на старые деньги, понял? Ну, стрельнули мы с одним татарином несколько штучек этой твари. Думали во Владике барыгам забодать.

— А вас, значит, на крючок? — усмехнулся Вовик.

Вот оно, подошло. Шибануло. Мне стало горячо, и в сердце вошел восторг.

— Хотите, ребята, расскажу вам про этот случай?

Мне показалось, что я все смогу рассказать, подробно и точно, и во всех выражениях, как Вовик. Как ночью в кубрике мы сговаривались с татарином, а его глазки блестели в темноте, как будто в голове у него вращалась луна. Потом — как утром шхуна стояла вся в тумане, и только поверху был виден розовый пик острова. Как мы отвязывали ялик и так далее, и как плавают эти каланчики, лапки кверху, и какие у них глаза, когда мелкокалиберку засовываешь в ухо.

— Хотите, ребята, я вам всю свою жизнь расскажу? — закричал я.— Сначала? Законно?

— Пошли, Корень,— сказал Вовик,— по дороге расскажешь.

Он встал.

Своих я не бью даже за мелкое хамство. За крупное уже получают по мордам, а мелкое я им спускаю. В общем, я добрый, меня, наверное, поэтому и зовут Корнем. Корни ведь добрые и скромные, а?

— Ну, пошли, пошли, матросы! Потянемся на камни, храбрецы! Рассказывать, да? Ну, ладно... Родился я, Валентин Костюковский, в одна тысяча девятьсот тридцать втором году, представьте себе, матросы, в Саратове...

Мы вышли из склада и, взявшись под руки, зашагали мимо склада к шоссе. Было уже темно и так морозно, что весь мой восторг улетучился без звука.

В городе Вовик от нас отстал, побежал куда-то по своим адмиральским делам, а мы с Петькой, недолго думая, сделали поворот «все вдруг» на Стешу. У Стешиной палатки стояло несколько знакомых, но контингент был такой, что мы сразу поняли: здесь нам не обломится. Тогда мы пошли вдоль забора, вроде бы мы и не к Стеше, чтоб эти ханурики видели, что мы вовсе не к Стеше, а просто у нас легкий променад с похмелья, а может, мы и при деньгах.

За углом мы перелезли через забор и задами прошли к палатке. Стеша открыла на стук, и я первый протиснулся в палатку и обхватил ее за спину.

— Валька, — прошептала она. — Придешь сегодня? Придешь?

Уже с минуту мальчики снаружи стучали мелочью в стекло, а потом кто-то забарабанил кулаком.

— Эй, Стеша! — кричали оттуда.

А мой Петька скрипэл дзерью, совал свой нос, хихикал.

Стеша отогнула занавеску и крикнула:

— Подождите, моряки! Тару сдаю!

И опять ко мне. Тут Петька не выдержал и влез в палатку.

— Прошу прощения! Товарищ Корень не имел честь сюда зайти? А, Валя, это ты, друг? Какая встреча!

Стеша отошла от меня. Мы сели на ящики и посмотрели на нее.

— Стеша, захмели нас с товарищем,— попросил я.

— Эх, ты! — сказала она.

— Честно, Стеша, захмели, а?

Она вынула платочек, вытерла свое красное от поцелуев, что ли, лицо и как будто отошла. Как говорит Вовик, спустилась на грешную землю. Засмеялась.

— Да у меня сегодня только «Яблочное».

— Мечи что ни есть из печи! — сказал я.

И Петька повеселел.

— Я лично «Яблочное» принимаю,— заявил он категорически.

Колыма ты, Колыма, чудная планета...

Что ты понимаешь, салака? Где ты был, кроме этого побережья? Греешься у теплого течения, да? Куросиво — сам ты Куросиво. Хочешь, я расскажу тебе про трассу, про шалаш в Мяките? Хочешь, я тебе расскажу всю свою жизнь с самого начала? Ну, пошли! Стеша, малютка, ручки твои крючки. Ариведерчирома! Мороз, это ты считаешь — мороз? Что ты видел, кроме этого тухлого берега? А, воч он, «Зюйд», стоит... Понял, Петь, передовые товарищи на нем промышляют, а нам ни-ни... Герка там есть такой, сопляк вроде бы, но человек. Как даст мне один раз «под дых»! Такой паренек... Зуб на меня имеет, и правильно. В общем, ранний мой младенческий возраст прошел, представь, в городе Саратове, на великой русской артерии, матушке Волге... Что там, а? Шоколадом один раз обожрался. Из окна сад было видно, деревья густые (а под ними желтый песок), как облака, когда на самолете летишь, только зеленые. Понял, Петь? Игра такая была — «скотный двор», да? И клоун на качелях, заводной, и ружье с резиновой блямбочкой... Стрелишь в потолок, а блямбочка прилипает, и тогда кто-то

вытаскивал стол, ставил на него стул, сам залезал на стул и снимал резинку. Может, это и был отец, а? А может, этого и не было, может, чистый сон... Кончено, Петь, хватит мне с тобой время бить, я, кореш, сейчас поеду...

— Куда ты, Корень? — спросил Петька.

— В Шлакоблоки поехал, вот куда.

— Не ездий, Корень. Не ездий ты сегодня в Шлакоблоки,— затянул Петька.— Ну, куда ты поедешь такой: ни штиблет у тебя, ни галстука, ни кашне. Не ездий ты в Шлакоблоки, Валька.

— Когда ж мне ездить-то туда, а? — закричал я.— Когда ж мне туда поехать, Петь?

— Потом поедешь. Только не сейчас, верно тебе говорю. Прибарахлишься немного и поедешь. А так что ехать, впустую? Без штиблет, без кашне... Пойдем домой, соснем до вечера.

«Мы на коечках лежим, во все стороны глядим!» Петька, ты пил когда-нибудь пантокрин? Это лекарство такое: от всех болезней. Мы пили его в пятьдесят третьем году в Магадане перед пароходом. Кемарили тогда в люках парового отопления и, значит, прохлаждались пантокрином. Это из оленьих рогов, спиртовая настойка. Ты оленей видел, нет? Ни фига ты не видел, собачьи упряжки ты видел, а вот оленей тебе не пришлось наблюдать. Ты бы видел, как чукча на олене шпарит, а снег из-под него веером летит. Что ты! Конечно, я «либертосы» не водил по океану, но я тебе скажу, морозы на Нере были не то, что здесь. Завтра у меня день рождения, если хочешь знать — тридцатка ровно, понял? Завтра я поеду в Шлакоблоки. А чего мне, старому хрену, туда ездить? Мне теперь какая-нибудь вдова нужна в жены. Это только гордость моя польская туда тянет. Ты знаешь, что я поляк, нет? Потеха, да? Я — и вдруг поляк. Корень — польский пан. Пан Костюковский. Это мне пахан сказал, что я поляк, я и не знал, в детдоме меня русским записали. А рассказать вам, пан Петя, как я в тюрягу попал? Рассказать или нет? Я, конечно, «либертосы» не водил... Так рассказать? А, задрыхал уже... Ну и спи...

Это было году в пятидесятом в Питере, я там в ФЗО обучался. Я все равно не смогу рассказать про это как следует. Ну и ночка была — бал-маскарад! Кому пришла в голову эта идея, может, мне? Когда мы налаживали сантехнику в подвале на Малой Садовой, вечером, после работы, перед нами за огромными стеклами прямо горел миллионом огней Елисеевский магазин. Наверно, мне пришла в голову эта идейка, потому что каждый раз, проходя мимо Елисеевского, я воображал себя ночью там, внутри. Наверно, я кинул эту идею, потому что из всех наших фэзэошников я был самый приблатненный. В общем, стали мы копать из соседнего дома, из подвала, подземный ход и подошли под самый настил магазина. Мы сняли кафельные плитки и заползли внутрь, все шесть человек. Ух ты, черт, это невозможно рассказать: светилось несколько ламп в этой огромной люстре, и отсвечивала гора разноцветных бутылок, а в дальнем углу желтела пирамида лимонов и колбасы, тонкие и толстые, свисали с крюков, и мы сидели на полу в этой тишине и молчали, как будто в церкви.

Ребята маленькие, все почти были с тридцать шестого года, а я-то лоб, балда, надо было чисто сработать, а я со страху прямо к бутылкам полез, и ребята за мной.

Все равно другой такой ночки у меня в жизни не было да и не будет. Мы лежали на полу, и хлестали шоколадный ликер, и прямо руками хватали икру, и все было липким вокруг и сладким, и прямо была сказка, а не ночь, и так мы все и заснули там на полу, а утром нас там и взяли, прямо тепленьких.

И поехал я, Петя, из Питера осваивать Дальний Север. Жизнь моя была полна приключений с тех пор, как я себя помню, а с каких пор я себя помню, я и сам не знаю. Иногда мне кажется, что тот, кого я помню, это был не я. И вообще, что такое, вот выпили мы сегодня в складе, и этого уже нет; вот я сигаретку гашу, и этого уже нет, а впереди темнота, а где же я-то?

Тут такой сон находит, что просыпаешься от стука, будто чокнутый, будто тебя пыльным мешком из-за угла хлопнули, страх какой-то, хочется бежать.

— Эй, Корень, тебе повестка пришла,— сказали из коридора. Понятно, шуточки, значит. Так надо понимать, что в парикмахерскую мне пришла повестка.

— Слышь, Корень, повестка тебе!

— Сходи с этой повесткой куда-нибудь,— ответил я,— и поменьше ори: тут Петечка спит.

А может, в милицию повестка? Вроде бы не за что.

Я встал и взял повестку. Это был вызов на телефонную станцию, междугородный разговор. Ничего не понимаю, что за чудеса?

Я пошел в умывалку и сунул голову под кран. Струя била мне по темени, волосы нависли над глазами, мне было знобко и хорошо, так бы весь вечер и просидел здесь, под краном.

Потом снова прочел повестку. «Приглашаетесь для разговора с Москвой». И тут я понял — это штучки моего папаши. Ишь ты, профессор, что выдумал! Мало ему писем и телеграмм, так он еще вот что придумал — телефонный переговор.

Папаша мой нашелся год назад, верней, он долго искал меня. Честно, Петька, я раньше даже в мыслях не держал, что у меня где-то есть родитель. Просто даже не представлял себе, что у меня кто-нибудь есть, папа там или кто-нибудь еще.

Оказывается, жив он, мой папаша, профессор по званию, член общества какого-то, квартира в Москве, понял? Он у меня в тридцать седьмом году загремел и шестнадцать лет, значит, на Колыме припухал. Рядом мы, значит, с ним были три года — я на Нере, а он где-то возле Сеймчана. Не любил я тогда этих контриков. Вот суки, думал, Родину, гады, хотели распродать япошкам и фрицам. Оказывается, ошибочка получилась, Петь. Чистую ошибочку допустил культ личности. С батей моим тоже, значит, чистый прокол получился. Юриспруденция не сработала, так ее разтак.

Петька спал. Я оделся и отправился на почту. В коридоре пришлось остановиться — встретил охотника со шхуны «Пламя». Он завел меня в свою комнату и поднес стаканчик.

— Ну как там у вас, на шхуне? — спросил я.

— Премию получили,— ответил охотник.— Жалко, что тебя не было, Корень, ты бы тоже получил.

— Черт меня попутал с этими каланами.

— Да, это ты зря.

И поднес мне еще стаканчик.

— Понял, на почту иду. Отец меня вызывает на междугородный переговор.

— Будет тебе, Корень!

— Папаша у меня — профессор кислых щей.

— Здоров ты брехать, ну и здоров!

— Ну, пока! Привет там, на шхуне.

— Пока!

— Слушай, ты что, не веришь, да? Хочешь, я тебе всю свою жизнь расскажу? Всю, с самого начала? Я, конечно, «либертосы» не водил...

— Извини, Валя, я тут в шахматы с геологом играю. Потом поговорим, ладно?

Луна плыла над сопками, как чистенький кораблик под золотыми парусами. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Сказочка какая-то такая есть в стихах, кто ее мне рассказал? Говорят, завелись какие-то летающие тарелки и летают они по небу со страшной силой. Мне бы сейчас верхом на такую тарелочку и чтобы мигом быть в Москве, и чтобы батя мой не надрывался в трубку, чтоб руки у него не тряслись, а прямо чтоб сесть с ним за стол и за поллитровочкой «столицы» разобрать текущий вопрос.

Эх, охотник, тебе бы только в шахматы играть, не знаешь ты ничего про мою увлекательную жизнь. Попробовал бы ты к тридцати годам заиметь себе папочку, профессора кислых щей. И кучу теток. И двоюродную сестренку, красотку первого класса. Попробовал бы ты посидеть с ними за одним столом. Попробовал бы ты весь вечер заливать им про свои героические дела и про производственные успехи. Впрочем, тебе-то что, ведь ты охотник с передовой шхуны «Пламя», ты премии получаешь!

А знаешь, как ночью остаться в квартире вдвоем с таким профессором, с таким, понимаешь, членом общества по распространению разных знаний. Вот ты меня называешь «бичом», а он, небось, и слова-то такого не знает. Я бы тебе рассказал, охотник, как он меня спросил:

«Значит, ты моряк, Валя? Выходит, что ты стал моряком?»

Да, я моряк, я рыбак, балда я порядочная. Что ты хочешь, чтоб я ему рассказал, кто я такой, да? Как меня с «Зюйда» выперли и как с плавбазы меня выперли, да? Может, мне про Елисеевский магазин ему рассказать?

«Ах, Валька, Валька, что такое счастье?» — спрашивает мой отец и читает какие-то стихи.

А для меня, охотник, что такое счастье? Ликером налиться до ушей и безобразничать с икрой, да?

«Неужели ты ничего не помнишь? — спрашивает отец.— Нашей квартиры в Саратове? Меня совсем не помнишь? А маму?»

Что я помню? Кто-то вытаскивал стол и ставил на него стул, влезал и снимал мою резинку. Потолки были высокие, это я помню. Подожди, охотник, вот что я еще помню — патефон. «Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пуля, лети...» А мамы я не помню. Помню милиционера в белом шлеме и мороженое, которое накручивали на такой барабанчик, а сверху клали круглую вафлю. И помню, как в детском доме дрались подушками, как в спальне летали во все стороны подушки, как гуси на даче. Вот еще дачу немного помню и озеро. А гуси не летают. Ты, небось, и не видел никогда, охотник, материковых гусей, белых и толстых, как подушки.

«Когда ты еще приедешь, Валентин? — спрашивает отец.— Переезжай ко мне. Ты моторы знаешь, технику, устроишься на работу. Женишься...»

И сейчас он все мне пишет без конца — приезжай. А как я приеду, когда у меня ни галстука, ни штиблет, и гро́шей ни фига?

Мне бы чемодана два барахла, и сберкнижку, и невесту, девочку такую вроде Люськи Кравченко, тогда бы я приехал, охотник.

Господи, и чего он меня нашел, на кой он меня, такое добро, нашел, этот профессор?

Вот кого бы ему найти, так вот Герку, такого симпатичного сопляка, поэта, чтоб ему! Ишь ты, шагают, орлы! Экипаж коммунистического труда.

— Здорово, матросы,— сказал я.

Черт те что, какие чудеса! Сколько отсюда до Москвы — десять тысяч километров, не меньше, и вот я слышу голос своего бати и хрипну сразу, неизвестно отчего.

— Здравствуй, Валентин,— говорит он.— С днем рождения!

— Здравствуйте, папа,— говорю я.

— Получай сюрприз. Скоро буду у вас.

— Чего? — поперхнулся я и подумал: «Опять, что ли, его замели?» — Прямо весь потом покрылся.

— Получил командировку от общества и от журнала. Завтра вылетаю.

— Да что вы, папа!

— Не зови меня на «вы»! Что за глупости!

— Не летите, папа! Чего вы? Вы же старый.

— Ты недооцениваешь моих способностей,— смеется он.

— Да мы в море уходим, папа. Чего вам лететь? Я в море ухожу.

Замолчал.

— А задержаться ты не можешь? — спрашивает.— Отпроситься у начальства.

— Нет,— говорю.— Никак.

— Печально.

И опять замолчал.

— Все-таки нужно лететь,— говорит.

Ах ты, профессор кислых щей! Ах ты, чтоб тебя! Что же это такое?

— Ладно,— говорю,— папа, попробую. Может быть, отпрошусь.

Луна плыла под всеми парусами, как зверобойная шхуна «Пламя». Будто она уносила меня от всех забот и от передряг туда, где не пыльно.

Дико хотелось выпить, а в кармане у меня был рубль.

Ну вот, приедете, папа, и узнаете обо всем. Советую еще обратиться в отдел кадров, к товарищу Осташенко. Черт меня дернул пойти тогда на каланов с этим татарином! Почти ведь человеком стал, прибарахлился, не пил...

Рубль — это по-старому десятка, сообразил я.

В «Утесе» гулял боцман с «Зюйда». Он захмелил уже четырех пареньков, а к нему все подсаживались.

— Иди туда, Корень,— сказала мне официантка.— Доволен будешь.

Я вынул свой рубль и положил его на стол.

— Вот,— сказал я,— обслужи, Раиса, на эту сумму.

Она принесла мне сто граммов водки и салат из морской капусты.

«Все,— думал я.— Хватит позориться».

Смотрю, в ресторан шустро так заходит Вовик, не раздетый, в тулупе и шапке. Топает ко мне.

— Корень,— говорит,— аврал. Собирай всех ребят, кого знаешь, едем в Талый.

— Иди, сходи куда-нибудь,— говорю.— Видишь, человек ужинает.

— Аврал,— шепчет Вовик.— В Талый пароход пришел с марокканскими апельсинами.

— Иди, сходи куда-нибудь!

— На, посмотри.

И показывает Вовик из-за пазухи чудо-юдо, апельсин.

— Можешь потрогать.

Трогаю — апельсин. Елки-моталки, апельсин!

— А на кой мне апельсины,— говорю.— У меня сейчас с финансами туго.

А Вовка прямо ходит вокруг меня вьюном.

— Фирма,— говорит,— платит. Давай,— говорит,— собирай ребят.

6. НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

— Где Катя? — спросил он.

— Спускается.

Он нагнулся к мотоциклу. Я подошел поближе, и вдруг он прямо бросился ко мне, схватил меня за куртку, за грудки.

— Слушай, ты, Калчанов,— зашептал он, и если даже ярость его и злость были поддельными, то все-таки это было сделано здорово,— слушай, оставь ее в покое. Я тебя знаю, битничек! Брось свои институтские штучки. Я тебе не позволю, я тебе дам по рукам!

И так же неожиданно он оставил меня, склонился над мотоциклом. Подбежала Катя.

— Я готова, товарищ капитан,— откозыряла она Сергею,— колясочник Пирогова готова к старту.

Он закутал ее в коляске своим полушубком, своим походным «рабочим» полушубком, в котором он обычно выезжал на объекты, в котором он появлялся и на нашей площадке. Все стройплощадки Фосфатки, Шлакоблоков, Петрова и Талого знают полушубок товарища Орлова. Всему побережью он знаком и даже к северу, даже в Улеконе он известен.

— Благородство,— сказал я, когда он обходил мотоцикл и коснулся меня своей скрипучей кожей,— благородство плюс благородство и еще раз благородство.

Он даже не взглянул на меня, сел в седло. Раздался грохот, мотоцикл окутался синим выхлопным дымом. Меня вдруг охватил страх, я не мог сдвинуться с места. Я смотрел, как медленно отъезжает от меня моторизованный и вооруженный всеми логическими преимуществами Сергей, как матово отсвечивает его яйцеобразная голова, как он при помощи неопровержимых доказательств увозит от меня Катю.

Катя не успела оглянуться, как я подбежал и прыгнул на заднее сиденье. Мы выехали из ворот. Она оглянулась — я уже сидел за спиной Сергея, словно его верный паж.

— Вы благородны, сэр,— шепнул я Сергею на ухо,— вы джентльмен до мозга костей. И прекрасный друг. Хоть сто верст кругом пройдешь, лучше друга не найдешь.

Не знаю уж, слышал ли он это в своем шлеме. Он сделал резкий разворот и уже на хорошей скорости промчался мимо своего дома. Я еле успел махнуть Стасику и Эдьке, которые стояли в подъезде.

Через несколько минут мы были на шоссе. Сергей показывал класс — скорость была что надо! Луна дрожала над нами, и когда мы вылетали из очередной пади на очередной перевал, она подпрыгивала от восторга, а когда мы, не сбавляя скорости, устремлялись вниз, она в ужасе падала за сопки.

Грохот, свист и страшный ветер в лицо. Я держался за петлю и корчился за широкой кожаной спиной. Все равно меня просвистывало насквозь.

— Чудо! — кричал я на ухо Сергею.— Скорость! Двадцатый век, Сережа! Жми-дави, деревня близко! Ты гордость нашей эпохи! Суровый мужчина и джентльмен! И даже здесь, в дебрях Дальнего Востока, мы не обрываем связи с цивилизацией! Все для самоуважения. Скорость и карманная музыка! И под водой ты не растеряешься — акваланг! Магнитофон, шекер, весь модерн! И сам ты неплох на вид!

— И с-а-ам непло-ох на ви-ид! — распевал я.

Конечно, он не слышал ничего в своем шлеме да еще на такой скорости. Все-таки не хватило бы у меня совести говорить ему такое, если бы он слышал. Катя съежилась за щитком. Вдруг она обернулась и посмотрела на меня. Засмеялась, сверкнули ее зубки. Глаз ее не было видно — отсвечивали очки-консервы. Она сняла очки и протянула их мне: заметила, должно быть, что я весь заиндевел. Я хлопнул ее по руке. Она опять с сердитым выражением протянула мне очки. Сергей снял руку с руля и оттолкнул очки от меня, ткнул кожаным пальцем в Катю: надень!

— Ты наша гордость! — закричал я ему на ухо.

Конечно, он не слышал.

Катя надела очки и показала мне рукой: хочу курить. Я похлопал себя по карманам: нету, забыл. Она чуть не встала в коляске и полезла к Сергею в карманы. Тогда уж мы оба перепугались и затолкали ее в коляску.

— Совместными усилиями, Сережа! — крикнул я.— Совместные усилия приносят успех.

Но он, конечно, не слышал. Он возвышался надо мной, как башня, он защищал меня от ветра, он мчал меня в неведомое будущее, в страну Апельсинию.

Мы обгоняли одну за другой машины, набитые людьми, а впереди все маячили красные стоп-сигналы.

Из одной машины кто-то махнул нам рукой. Когда мы поравнялись с ними, я узнал Витьку Колыгу, бурильщика из партии Айрапета.

— Привет, Витя! Ты тоже за марокканской картошкой спешишь? — крикнул я ему.

Он кивнул, сияя. Он вечно сияет и отпускает разные шуточки. Когда он приходит из экспедиции и появляется в городе, он корчит из себя страшного стилягу. Называет себя Вик, а меня Ник. Веселый паренек.

— Курево есть? —спросил я.

Он бросил мне пачку сигарет. Сергей дал газу, и мы сразу ушли вперед. Я протянул пачку Кате. По тому, как она смотрела на Виктора, я понял, что она не знает, что он сейчас работает у Айрапета. А Чудакова в кабине она не заметила, это бесспорно.

Катя долго возилась за щитком с сигаретами. Спички все гасли. Наконец она закурила, но неосторожно высунулась из-за щитка, и сигарета сразу размочалилась на ветру, от нее полетели назад крупные искры. Пришлось ей опять закуривать.

Мы взяли крутой подъем и сейчас мчались вниз, в Муравьевскую падь. Уже виднелись внизу пунктиры уличных фонарей в Шлакоблоках.

Катя сидела как-то бочком, взглядывала то на меня, то на Сергея, очки отсвечивали, глаз не было видно, а губы усмехались, и в них торчала сигарета, и от этого Катя казалась мне какой-то чужой и вообще какой-то нереальной, придуманной, героиней каких-то придуманных альпийских торжеств, она была за семью замками, и только кончик носа и подбородок были моими. Моими, ха-ха, моими... Что же это такое получается, и как тут найти выход? Говорят, кибернетическая крыса безошибочно проходит по

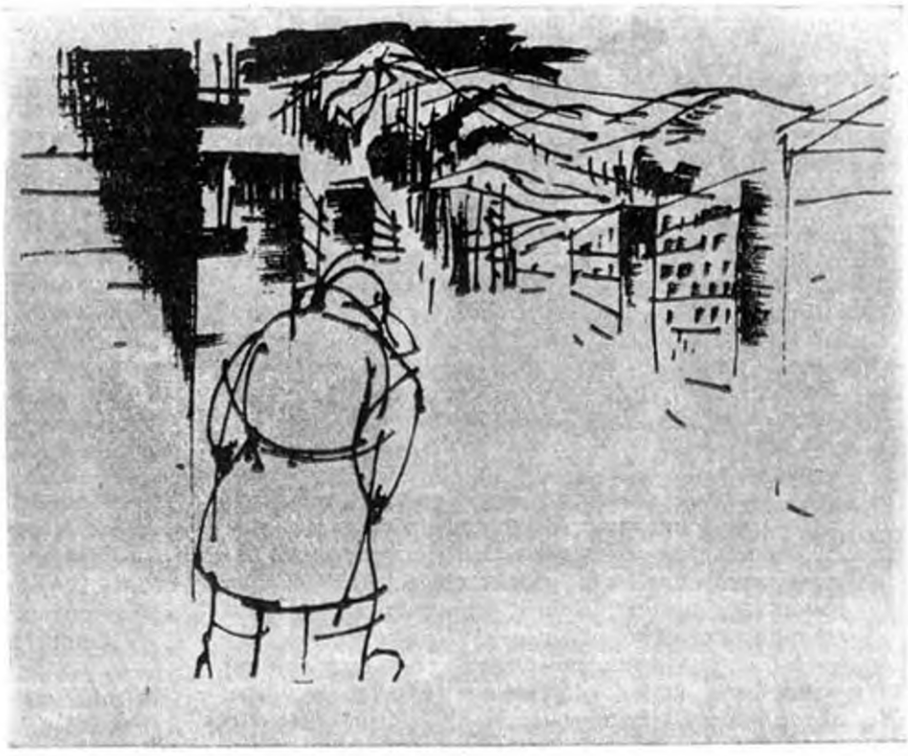
дабиринту. Мальчики-кибернетики, запрограммируйте меня, может, я найду выход? Может, броситься сейчас спиной назад — и делу конец? Я увидел, как протянулась кожаная рука, вырвала у Кати изо рта сигаретку и бросила ее на шоссе.

— Радость моя! — закричал я Сергею.— Друг беременных женщин!

Он резко повернул ко мне лицо в огромных очках. Они не отсвечивали, и я увидел, как там, в глубине, остекленел от бешенства его глаз.

— Ты замолчишь или нет?! — заорал Сергей.

Мотоцикл дернулся, полетел куда-то вбок. Толчок — и, ничего еще не понимая, я увидел над собой летящие Катины ботинки, и сам почувствовал, что лечу, и сразу меня обжег снег, а на лицо мне навалился кожаный зад Сергея.



Я отбросил Сергея, мы оба мгновенно вскочили на ноги,— по пояс в снегу — и, еще не успев перепугаться, увидели возящуюся в снегу и смеющуюся Катю.

Мотоцикл лежал набоку — в кювете, коляской кверху — и дрожал от еле сдерживаемой ярости. Сергей мрачно подтягивал краги.

— Идиот, кретин,— сказал я ему,— ты зачем взял Катю в коляску?

— А ты чего молчал? — хмуро, но без злобы сказал он.— Когда не надо, у тебя язык работает.

— Ох, дал бы я тебе!

— А я бы тебе с каким удовольствием!..

Он пошел к мотоциклу.

Катя шла ко мне, разгребая снег руками так, как разгребают воду, когда идут купаться.

— А я только что привстала, чтобы дать Сережке по башке, и вдруг чувствую — лечу! — смеялась она.

— Смешно, да? — спросил я.

— Чудесно!

Это идиллическое приключение под безветренным глубоким небом на фоне живописных сопок и впрямь настраивало на какой-то альпийский, курортный лад. Трудно было бороться с этим состоянием, с поразительной веселостью Кати.

«Почему мы быстро так схватились, почему мы так быстро и решительно поехали куда-то к черту на рога? — думал я.— За апельсинами, да? Ну, конечно, нам надо было куда-то поехать, вырваться в этот морозный простор, вылететь из сидений, почувствовать себя безумными путниками на большой дороге».

Я стал стряхивать с Кати снег, хлопал ее по спине, а она вертелась передо мной и вдруг, оглянувшись на Сергея, прижалась ко мне щекой. Мы постояли так секунду — не больше. Я смотрел, как за пленкой очков гаснут ее глаза.

— Колька, иди сюда! — крикнул Сергей.

Мы стали вытаскивать из кювета мотоцикл. Подъехала и остановилась рядом машина Чудакова. Витька Колтыга и еще несколько ребят выскочили и помогли нам.

— Ну как там у вас? — спросил я Витьку.— Будет нефть?

— Ни черта! — махнул он рукой.— Джан Айрапет уперся. Третью скважину уже бурим в этом проклятом распадке.

— А вообще-то здесь есть нефть?

— По науке, вроде должна быть.

— Наука, старик, умеет много гитик.

— А я о чем говорю?

Сергей уже сидел за рулем, а Катя в коляске. Я подбежал и сел сзади.

— Ты уж держись за ними, орел,— сказал я Сергею,— всем ведь уже ясно, какой ты орел. Орлов — твоя фамилия.

— Глупеешь, Калчанов,— сказал Сергей, нажимая на стартер и исторгая из своего мотоцикла звуки, подобные грому.

— Держись за грузовиком,— сказал я.— Проявляй заботу о детях.

— Учти,— сказал он,— наш разговор еще не окончен.

Я доверчиво положил голову на его плечо.

Все-таки он держался за грузовиком, и до самого моря перед нами маячил кузов, полный какой-то разношерстной публики, среди которой Виктор Колтыга, видимо, чувствовал себя звездой, певцом миланской оперы.

Море здесь открывается неожиданно, в десяти километрах от Талого. Летом или осенью оно ослепляет своим зеленым светом, неожиданным после горной дороги. Оно никогда не бывает спокойным, море, в наших краях. Волнующаяся тяжелая масса зеленой воды и грохот, сквозь который доносятся крики птиц, вечный сильный ветер — это настоящее море, не какая-нибудь там лагуна. Из такого моря может спокойно вылезти динозавр.

Сейчас моря видно не было. В темноте белел ледяной припай, но его линия гасла гораздо ниже горизонта, и там, в кромешной темноте, все-таки слышался глухой шум волн.

Сюда, прямо к порту Талый, подходит веточка теплого течения. Навигация здесь продолжается почти круглый год, правда, с помощью маленьких ледоколов.

Вот мы уже въехали в Талый и катим по его главной, собственно говоря, и единственной улице.

Оригинальный городишко, ничего не скажешь. С одной стороны трехэтажные дома, с другой — за низкими складами тянется линия причалов, стоят освещенные суда, большие и маленькие. Улица эта вечно полным-полна народа.

Публика прогуливается и снует туда-сюда по каким-то своим таинственным делам. Когда приезжаешь сюда поздно вечером, кажется, что это какой-нибудь Лисс или Зурбаган, а может быть, даже и Гель-Гью. Я был здесь раньше два раза, и всегда мне казалось, что здесь со мной произойдет что-то удивительное и неожиданное. Уезжал же я отсюда оба раза с таким чувством, словно что-то прошло мимо меня.

7. ВИКТОР КОЛТЫГА

В Талом, кажется, вся улица пропахла апельсинами. В толпе то тут, то там мелькали граждане, с бесстрастным видом лупившие эти роскошные, как сказал Кичекьян, плоды. Видно, терпения у них не хватало донести до дому.

Мы медленно пробирались по заставленной машинами улице. Мальчики в кузове у нас нетерпеливо приплясывали. С Юрой прямо неизвестно что творилось. Подозреваю, что он вообще ни разу раньше не пробовал апельсинчиков. А я внимательно разглядывал прохожих: нет ли среди них Люськи. Гера тоже смотрел. Соперники мы с ним, значит. Вроде бы какие-нибудь испанцы, не хватает только плащей и шпаг.

Возле детсада разгружалась машина. В детсад вносили оклеенные яркими бумажками ящики, в которых рядком один к одному лежали эти самые. Все нянечки, в халатах, стояли на крыльце и, скрестив руки на груди, торжественно следили за этой процедурой. Окна в детсаде были темные; ребятня, которая на круглосуточном режиме, спокойно дрыхла, не подозревая, что их ждет завтра.

Улица была ярко освещена, как будто в праздник. Впрочем, в Талом всегда светло, потому что с одной стороны улицы стоят суда, а там круглые сутки идет работа и светятся яркие лампы.

— Мальчики, равнение направо! — крикнул я.— Вот он!

Над крышей какого-то склада виднелись надстройки и мачты, а из-за угла высовывался нос виновника торжества, скромного парохода «Кильдин».

— Ура! — закричали наши ребята.— Да здравствует это судно!

Моряки с «Зюйда» иронически усмехнулись. К продмагу мы подъехали в самый подходящий момент. Как раз в тот момент, когда при помощи милиции он закрывался на законный ночной перерыв. Публика возле магазина шумела, но не очень сильно. Видно, большинство уже удовлетворило свои разумные потребности в цитрусовых.

На Юру просто страшно было смотреть. Он весь побелел и впился своими лапами мне в плечо.

— Спокойно, Юра. Не делай из еды культа,— сказал я ему. Я слышал, так говорил Сергей Орлов— остроумный парень.— Подумаешь,— успокаивал я Юру,— какие-то жалкие апельсишки. Вот арбузы — это да! Ты кушал когда-нибудь арбузы, Юра?

— Я пробовал арбузы,— сказал какой-то детина из моряков.

В общем, мы приуныли.

Открылись двери кабины, и с двух сторон над кузовом замотались головы Чудакова и Евдощука.

— Прокатились, да? — сказал Чудаков.

— Прокатились,— подвел итог Евдощук и кое-что еще добавил.

— Паника на борту? — удивился я.— По местам стоять, слушать команду. Курс туда,— показал я рукой,— столовая ресторанного типа «Маяк»!

— Гений ты, Виктор! — крикнул Чудаков.

— . . . . . ! — крикнул Евдощук.

И оба они сразу юркнули в кабину.

Взревел мотор.

Я угадал: столовая ресторанного типа «Маяк» торговала апельсинами навынос. Длинное одноэтажное здание окружала довольно подвижная очередь. Кто-то шпарил на гармошке, на вытоптанном снегу отбивали ботами дробь несколько девчат. Понятно, это не Люся. Люся не станет плясать перед столовой, она у нас не из этаких. Но, может быть, она где-нибудь здесь?

Торговля шла где-то за зданием, продавщицы и весов не было видно, но когда мы подъехали к хвосту очереди, из-за угла выскочил парень с двумя пакетами апельсинов и на рысях помчался к парадному входу — обмывать, значит, это дело.

Мы попрыгали из машины и удлинили очередь еще метров на шесть-семь. Ну, братцы, тут был чистый фестиваль песни и пляски!

— А путь наш далек и долог...— голосили какие-то ребята с теодолитами. Шпарила гармошка. Девчата плясали с синими от луны и мороза, каменными лицами. Галдеж стоял страшный. Шоферы то и дело выбегали из очереди прогревать моторы. Понятно, там и сям играли в «муху». Какие-то умники гоняли в футбол сразу тремя консервными банками. Лаяли собаки нанайцев. Нанайцы, действительно умные люди, разводили костер. Там уже пошел хоровод вокруг костра и вокруг задумчивых нанайцев. Подъехали интеллектуалы. Катя давай плясать, и Колька Калчанов — туда же.

— Заведи, Сережа, свою шарманку,— попросил я.

На груди у товарища Орлова висел полупроводниковый приемник. Какой-то пьянчуга бродил вдоль очереди и скрипел зубами, слозно калитка на ветру. Иногда он останавливался, покачивался в своем длинном, до земли, драном тулупе, смотрел на нас мохнатыми глазами и рычал:

— Рюрики, поднесите старичку!

Сергей пустил свою музыку. Сначала это было шипение, шорох, писк морзянки (люблю я эту музыку), потом пробормотали что-то японцы, и сильный мужской голос запел «Ду ю...» и так далее. Он пел то быстро, то медленно, то замолкал, а потом снова сладкозвучно мычал «Ду ю...» и так далее.

— «Ду ю...» — протянул Сергей и отвернулся, поднял голову к луне.

А Катя с Колей отплясывали рядом, не поймешь,

то ли под гармошку, то ли под этого «Ду ю...». Что-то у них, кажется, произошло.

— Что-то Катрин расплясалась с Калчановым,— шепнул мне Базаревич,— что-то мне это не нравится, Вить. Что-то Кичекьяныч-то наш...

— Молчи, Леня,— сказал я ему.— Пусть пляшут, это — дело невредное.

Пойду искать Люсю. Чувствую, что где-то она здесь. Почему бы и мне не поплясать с ней по морозцу? Я уж было отправился, но в это время к очереди подъехала машина «ГАЗ-69», и из нее вылезло несколько новых любителей полакомиться.

— Кто последний? — спросил один из них.

— Мы с краю,— сказал я,— только учтите, ребята, что за нами тут еще кое-кто занимал. Учтите на всякий случай. Возможно, еще одна когорта подвалит.

— Нас тоже просили очередь занять,— сказал один моряк,— сейнер «Норд» приедет.

— Понятно,— сказали новые,— а товару хватит?

— Это вопрос вопросов,— сказал я.— А вы сами-то откуда?

— С Улекона,— ответили они.

— Ну, братцы...— только и сказал я.

С Улекона пожаловали, надо же! Знаю я эти места, бывал и там. Сейчас там, небось, носа не высунешь, метет! По утрам откапываются и роют в снегу траншеи. Здесь тоже частенько бывает такое и всякое другое, но разве сравнишь побережье с Улеконом?

— Мы тут новую технику принимали,— говорят ребята,— смотрим, апельсины...

Пьют там от цинги муть эту из стланика. Помогает. Кроме того, поливитаминами в драже балуются.

— Пошли, ребята,— говорю я им,— пошли, пошли...

Наши смекнули, в чем дело, и тоже их вперед толкают. За углом здания, прямо на снегу, стояли пустые ящики из-под апельсинов. Две тетки, обвязанные-перевязанные, орудовали возле весов. Одна отвешивала, а другая принимала деньги. Несколько здоровенных лбов наблюдали за порядком.

— Красавицы! — заорал я.— Товару всем хватит?

— Там сзади скажите, чтоб больше не вставали! — вместо ответа крикнула одна из продавщиц.

— Стойте здесь, братишки,— сказал я и врезался в толпу.

— Слушайте,— сказал я очереди, когда оказался уже возле самых весов,— тут люди издалека приехали, с Улекона...

Очередь напряженно молчала и покачивалась. Ясно, что тут уж не до песен-плясок, когда так близко подходишь. Все отворачивали глаза, когда я на них смотрел, но я все ж таки смотрел на них испепеляющим взором.

— Ну и че ты этим хочешь сказать? — не выдержал под моим пристальным, испепеляющим взором один слабохарактерный.

— С Улекона, понял? Ты знаешь, что это такое?

— Ни с какого ты не с Улекона! Ты с Фосфатки, я тебя знаю,— визгливо сказал слабохарактерный.

— Дура, я-то стою в хвосте, не бойся. Я ничего не беру, видишь? — Я вынул авторучку, снял с нее колпачок и сунул ему в нос. Таким типам всегда нужно сунуть в нос какое-нибудь вещественное доказательство, и тогда они успокаиваются.

— Улеконцы, идите сюда! — махнул я рукой.

Очередь загудела:

— Пусть берут... Чего там... Да ну их на фиг... Ты, молчи... Пусть берут...

Я отошел к пустым ящикам. На них были наклейки: на фоне черных пальм лежали оранжевые апельсины, сбоку виднелся белый минарет и написано было по-английски — «Продукт оф Марокко».

Я соскоблил ножом одну такую наклейку и сунул ее в карман.

Хватит не хватит апельсинов, а сувенирчик у меня останется.

Когда первый улеконец выбрался из толпы с пакетами в руках, я подошел к нему и вынул из пакета один апельсин.

— Мой гонорар, синьор,— поклонился я улеконцу и посмотрел на него внимательно: не очень ли он огорчен?

— Берите два,— улыбнулся улеконец,— право, мы вам так благодарны...

— Ну, что вы, синьор,— возразил я,— это уже переходит границы.

Я подошел к нашим, отвел в сторону Юру и предложил ему пойти выпить пива. Через площадь от столовой «Маяк» находился сарай, который в Талом гордо называли «бар». Юра согласился, и мы с ним пошли.

По дороге Юра все волновался, хватит ли нам товару, наверное, нет, скорее всего, не хватит. А я ощупывал у себя в кармане небольшой улеконский апельсин.

— Похоже на то, парень, что ты их раньше и не пробовал.

— Что ты! Еще как пробовал. Помню...

— Брось! Знаю я твою биографию.

Я протянул ему апельсин.

— Рубай! Рубай, говорю, не сходя с места!

По тому, как он взялся за него, я сразу понял, что был прав.

Мы стояли на пригорке, и под нами была вся бухта Талого. Слабо мерцал размолотый ледоколами лед, дымилась под прожекторами черная вода. Низко-низко шел над морем похожий отсюда на автобус самолет ледового патруля. В кромешной темноте работала мигалка, открывала свой красный глаз на счет «шестнадцать».

1, 2, 3, 4, 5, 6 (где же Люся?), 8, 9, 10 (где же она?), 12, 13, 14, 15, 16!

— Я уже ел, меня улеконцы угостили.

«Бар» напоминал старый вагон, снятый с колес. Сквозь окошечки было видно, что там шла прессовка человеческих тел. У входа «жала масло» сравнительно небольшая, но энергичная толпа портовых грузчиков.

— Ну и дела у вас в Талом! — сказал я пожилому крепышу.

— Сегодня еще ничего, шанс есть,— сказал он.

— А в Фосфатке с пивом свободно,— сказал Юра, от которого веяло ароматами знойного юга.

— Так это, видишь, почему,— хитро сощурился грузчик,— потому, ребята, что то Фосфатка, а то Талый, вот почему.

— Понятно.

— Вся битва здесь,— с законной гордостью сказал грузчик.

— Пойдем, Юра, выпьем лучше шампанского, оно доступней.

1, 2, 3 (где ее искать?), 5, 6, 7 (сейчас она появится), 9, 10, 11 (на счет шестнадцать), 13, 14, 15...

Вот она!

Это была действительно она. Она стояла среди других девчат и смотрела на меня искоса. Она была в белом платке и в валенках. Разве ей в валенках ходить?

16!

Она смотрела на меня как-то неуверенно и даже как будто со страхом, так она никогда на меня не смотрела. Может быть, она думала...

8. ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО

Когда я увидела Витю, я подумала: неужели это он? Он стоял такой высокий и тонкий в талии и светлоглазый, и улыбался, глядя на меня. Он был очень похож на того, что стоял там, в Краснодаре, с листиком платана в зубах и крутил пальцем у виска, думая, что я сумасшедшая. Может быть, это и был он? Ведь он краснодарец. Нет, его не было там в то время. В то время он «болтался» (как он выражается) где-то на Колыме.

Может быть, это обман зрения, думала я, когда он шел ко мне. Может быть, это оттого, что он приближается сверху и от этого кажется выше? Может быть, это из-за того, что такая ночь? Может быть, я опьянела от апельсинов?

Как он обнимет меня, как прижмет к себе, как все вдруг пройдет и какая будет духота, а на потолке будут качаться тени платанов...

Он шел ко мне, было всего несколько шагов, но за эти секунды вдруг каким-то шквалом пронеслась вся моя будущая жизнь с ним.

Тик-так, тик-так, я буду слушать по ночам ход часов. Может быть, я буду плакать, вспоминая о чем-то потерянном, чего на самом деле и не жалко, но почему не поплакать, если ты счастлива. Тик-так, тик-так, и вдруг входит мой сын, огромный и светлоглазый, с листиком платана в зубах.

Проваливаясь по колено в снег, ко мне подошел Виктор.

— Ну, как успехи, товарищ Кравченко?

— Спасибо, ничего. Скоро сдаем новую школу. А как ваши, Витя?

— Ни фига!

— Не стыдно, Витя, а? Что это за выражения?

— Экскьюз ми, мисс!

— Вы начали заниматься английским?

— Всем понемногу, ха-ха! Английским и японским.

— Ну вас! А все-таки?

— Сидим в этом вши... в этом чудном распадке. Третью скважину бурим и все без толку. Дай-ка твои ладошки. Ух ты, какие твердые!

— Вы что, с ума сошли? Уберите руки!

— А как учеба без отрыва от производства?

— Спасибо, ничего. Вам нравится ваша специальность?

— Мне кое-что другое нравится, кое-что другое, кое-что...

— Перестаньте! Прекратите! Вот вам!

— Вот это ручки, да! Вот это ручки... А как успехи в общественной работе?

— Спасибо, ничего. Какой вы несобранный, Витя...

— Значит, все в порядке? Да, а как там танчики? Клен зеленый, лист кудрявый, Ляна!

— Спасибо, ничего. Я хочу попробовать классические танцы.

— Фигурка для классики, это точно. Тебе бы, девочка моя, римско-греческую тунику. Тебе бы бегать в тунике по лесам и лугам...

— Что вы делаете! Я рассержусь. На нас смотрят.

— По лесам, по лугам и садам они вместе летают, ароматом та-ри-ра-рам, та-ри-ра-рам... Ты сердишься, да? Не сердись. Я серьезно. Я тебя люблю. Ты моя единственная. Когда будем свадьбу играть?

— Что вы говорите, Витя? Что вы говорите? Нина, Нинка, подожди меня, куда ты бежишь?

— А как у вас со спортом, товарищ Кравченко? Неужели вы не занимаетесь спортом? Всесторонне развитая комсомолка должна заниматься спортом, прыгать дальше всех, бегать быстрее всех...

— Это моя подруга Нина. Познакомьтесь!

— Очень приятно, Ниночка. Бурильщик товарищ Виктор Алексеевич Колтыга к вашим услугам. Вы, надеюсь, такая же, как ваша подруга, на все сто? Так как у вас, дочки, со спортом? Нельзя запускать этот участок работы.

— Я хочу заняться лыжами.

— Это мы слышали. Лыжным двоеборьем, да?

— Да, представьте себе!

— Не дело, товарищ Кравченко. Здесь вы не добьетесь успеха. Может, вам попробовать хоккей? Клюшку можете сделать сами. Или баскетбол? Это идея — баскетбол! Вопросы тактики я беру на себя. Личный друг Рэя Мейера из университета Де-Поль и...

Он стал нам рассказывать что-то о баскетболе, потом о футболе, потом о каких-то спортивных очках и что-то еще. Можно было подумать, что он крупный специалист по спорту. В прошлую нашу встречу он весь вечер рассказывал мне о Румынии, как будто провел там полжизни, а в первую нашу встречу все говорил о космосе какие-то ужасно непонятные вещи. Он очень образованный, просто даже странно, что он бурильщик.

Мы медленно шли по площади к столовой «Маяк». Виктор размахивал руками, а Нинка смотрела на него вне себя от изумления, и вдруг я увидела Геру Ковалева.

Гера стоял с двумя другими моряками, и все они втроем в упор смотрели на меня.

— Здравствуйте, Гера!

— Привет!

— Вы давно пришли из плавания?

— Недавно.

— А что вы такой? Плохо себя чувствуете?

— Хорошо.

— Знакомьтесь, это Виктор...

— Мы знакомы.

— А это Нина, моя лучшая подруга. Ниночка, это Гера Ковалев, моряк и... можно сказать?

— Можно.

— И поэт.

— Ниночка, ты смотри, не уезжай без меня. Гера, мы еще увидимся.

Мы остались вдвоем с Виктором, и он вдруг замолчал, перестал рассказывать о спорте, засвистел тихонько, потом закурил и даже, кажется, покраснел.

— Виктор, что вы мне хотели сказать?

— Я уже сказал.

Я вдруг потеряла голову, потеряла голову, потеряла все. Унеси меня за леса и горы, за синие озера, в тридевятое царство, в некоторое государство. У меня подгибались ноги, и я схватила его за пуговицы.

— Скажи еще раз.

— Ну вот, еще раз.

— Теперь еще раз.

— Пожалуйста, еще раз.

— Ты... ты... ты...

— Где бы нам спрятаться?
— Иди сюда!
— Туда?

Я побежала, и он помчался за мной. Мы спрятались за какими-то елками, и он, конечно, сразу полез, но я отошла и тут вспомнила вдруг про апельсины, вынула из сумки самый большой и протянула ему.

— Съедим вместе, да?
— Давай вместе.
— Ты умеешь их чистить?
— Да,— вдруг сказал кто-то рядом,— символическое съедение плода.

На нас смотрели Коля Калчанов и стоящая рядом с ним очень красивая девушка в брючках.

— Как там наша очередь, Николай? — спросил Виктор.

— Двигается, Адам.

А я не стыдилась. Я прижалась к Виктору и сказала:

— Коля, я была неправа насчет бороды. Носите ее, пожалуйста, на здоровье.

— Благодарю тебя, Ева, — поклонился Калчанов.

Я даже не обиделась, что он назвал меня на «ты».

9. ГЕРМАН КОВАЛЕВ

Но глаза у нее все же были печальными. Только печаль эта была не моя. Она ко мне буквально никакого отнсшения не имела.

Я смотрел, как они приближались, как размахивал руками Виктор, как Люся печально взглядывала на него и как таращила на него глаза какая-то пигалица, идущая рядом.

— Вот она,— сказал я,— та, что повыше.
— Эта? — выпятил нижнюю губу Боря.— Ну и что? Рядовой товарищ.

— Таких тыщи,— сказал Иван,— во Владике таких пруд пруди. Идешь по улице — одна, другая, третья... Жуткое дело.

Мои товарищи зафыркали, глядя на Люсю, но я-то видел, какое она на них произвела впечатление.

— Если хочешь, можно вмешаться,— тихо сказал мне Боря.

Конечно, можно вмешаться. Так бывает на танцах. Отзываешь его в сторону. «Простите, можно вас на минуточку? Слушай, друг, хорошо бы тебе отсюда отвалить. Чего ради? Прическа твоя мне не нравится. Давай греби отсюда. Мальчики, он какой-то непонимающий». А к нему уже бегут его ребята, и начинается. Глупости все это. Ничего хорошего из этого не получается. К тому же, в общем-то, это — нехорошее дело, хотя и спайка и «все за одного»... А Виктор Колтыга — парень на все сто. Разве он виноват, что ростом вышел лучше, чем я, и возрастом солидней, и профессия у него земная?

Люся подняла глаза, увидела меня и вздрогнула. Подошла и стала глупости какие-то говорить, как будто никогда и не получала десяти моих писем со стихами. Я отвечал независимо, цедил слова сквозь зубы. Ладно, думал я, точки над «и» поставлены, завтра мы выходим в море.

А она так ловко подсунула мне свою подружку, пигалицу какую-то, и отошла борт к борту с Виктором Колтыгой.

— Правда, вы поэт? — спросила пигалица.
— Еще какой,— сказал я.
— Поэт я, поэт, кому нужен такой поэт?

Люся с Виктором мелькали за елками.

Боря с Иваном издали кивали мне на пигалицу и показывали большие пальцы: вот такая, мол, девочка, не теряйся, мол.

Я посмотрел на нее. Она боролась с ознобом — видно, холодно ей было в фасснистом пальтишке. Пальтишко такое, как мешок, книзу уже, а широкий хлястик болтается ниже спины. А личико у нее худенькое и синенькое, наверное, от луны. Наверное, у нас сейчас у всех физиономии синенькие, и она кусает губы, как будто сдерживается, чтоб не заплакать. Мне жалко ее стало, и я вдруг почувствовал, что вот с ней-то у меня есть что-то общее.

— Вы, видно, недавно из Европы? — спросил я.
— Осенью приехала,— пролепетала она.
— А откуда сами-то?
— Из Ленинграда.

Она посмотрела на меня снизу, закусив нижнюю губу, и я сразу понял, в чем дело. Я для нее не такой, какой я для Люси. Я для нее здоровый верзила в кожаной куртке, я для нее такой, какой для Люси Виктор, я — такой бывалый парень и сильный, как черт, и она меня ищет, прямо дрожит вся от страха, что не найдет.

Я подумал, что все мои стихи, если внести в них небольшие изменения, пригодятся и для нее и ей-то они уж понравятся, это точно.

— Как вас звать-то? Я не расслышал.
— Нина.
— А меня Гера.
— Я расслышала.
— Вы замерзли?
— Не-нет, н-ничего.
— Нина!
— Что, Гера?
— У меня здесь очередь за апельсинами.
— А я уж получила, хотите?
— Нет, я лучше сам вас угощу. Вы, Нина, не пропадайте, ладно?
— Ладно, я тут с девочками побегаю.
— Ладно. А потом мы пойдем в столовую, потанцуем.
— Потанцуем?
— Там есть радиола.
— Правда?
— Значит, договорились? Не исчезнете?
— Ну что вы, что вы!

Она побежала куда-то, а я смотрел ей вслед и думал, что она-то уж не исчезнет, это точно, что я сменю киноленту для снов и, может быть, это будут веселые сны. Я подошел к столовой. Еще издали я заметил, что наша очередь сильно подвинулась вперед. Тут я наткнулся на парня-корреспондента. Он фотографировал сидящих у костра нанайцев и хоровод вокруг них. Я подождал, пока он кончит свое дело, и подошел к нему.

— Много впечатлений, корреспондент? — спросил я его.

— Вагон.

— Ну и как?

— Хорошо здесь у вас,— как-то застенчиво улыбнулся он.— Просто вот так!

— Хорошо? — удивился я.— Что тут хорошего?

— Ну, может, и не хорошо, но здорово. Может, хорошо — это не то слово. Летом приеду еще раз. Возьмете меня с собой в море?

Я засмеялся.

— Ты чего? — удивился он.

— Вы не писатель?

Он нахмурился.

— Я пока что маленький писатель, старик.

— Мало написали?

Он засмеялся.

— Мало. Всего ничего. Вы, Гера, небось, больше меня написали, несмотря на возраст.

— А вы знакомы с поэтами?

— Кое с кем.

— А с Евтушенко? — спросил я для смеха.

— С Евтушенко знаком.

«Хватит травить»,— хотел я сказать ему. Все они, что с Запада приезжают, «знакомы с Евтушенко», смех да и только.

Тут я увидел Володю нашего Сакуненко. Был он все с той же женщиной, она его так и не отпускала, все расспрашивала.

— Ну и дамочка! — ахнул я.

— Да,— помрачнел корреспондент,— она, знаешь, такая...

— Васильич! — крикнул я капитану.— Что слышно насчет рейса?

Он остановился, ничего не понимая, и не сразу заметил меня.

— Скажи ребятам, пусть не волнуются! — крикнул он.— Выходим только через два дня.

— А куда?

— На сайру.

— Ничего себе,— сказал я корреспонденту.— Опять на сайру.

— Опять к Шикотану? — спросил он.

Тут послышались какие-то крики, и мы увидели, что в очереди началась свалка.

— «Зюйд», сюда! — услышал я голос Бори и побежал туда, стаскивая перчатки.

10. НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

Танцы в стране Апельсинии, такими и должны быть танцы под луной, эх, талья-ночка моя, разудалые танцы на Апельсиновом плато, у подножия Апельсиновых гор, у края той самой Апельсиновой планеты, а спутнички-апельсинчики свистят над головами нашими садовыми.

Если бы это было еще вчера! Как бы это было весело и естественно, боже ты мой! Колька Калчанов, бородатый черт, в паре с Катенькой Кичекьян, урожденной Пироговой, друг мужа с женой друга, а еще один дружок исполняет соло на транзисторном приемнике. Ах, какое веселье!

Нет, нет, истерикой даже не пахло. Все было очень хорошо, но только лучше было бы, если бы это было вчера.

Вдруг кончились танцы. Катя увидела Чудакова.

— Чудаков! Чудаков! — закричала она.

Он подошел и пожал ей руку.

— Ну как? — спросила Катя.

— Да что там,— пробурчал Чудаков,— третью кончаем...

— Кончаете уже? — ахнула Катя и вдруг оглянулась на нас с Сергеем, взяла под руку Чудакова и отвела его на несколько шагов.

Она казалась маленькой рядом с высоким и нескладным Чудаковым, прямо за ними горел костер, они были очень красиво подсвечены. Она жестикулировала и серьезно кивала головой, видно, выспрашивала все досконально про своего Арика, как он ест, как он спит и так далее.

Мы были такими друзьями с Ариком, с Айрапетом — особой нужды друг в друге не испытывали, но когда случайно встречались, то уж расставаться не хотелось.

А как-то был случай, летом, ночью, когда все уже отшумело, но еще тянуло всякой гадостью от асфальта и из подъездов, а под ногами хлюпали липкие лужицы от газировочных автоматов, а в светлом небе висела забытая неоновая вывеска, тогда я стал говорить что-то такое о своих личных ощущениях, а Арик все угадывал, все понимал и был как-то очень по-хорошему невесел. И все мои друзья были с ним на короткой ноге, и я с его друзьями. Где и когда он нашел Катю, не знаю. Я увидел ее впервые только в самолете. Айрапет позвонил мне за день до отъезда и предложил: «Давай полетим вместе, втроем?» «Втроем, да?» — спросил я. «Да, втроем, моя старуха летит со мной». «Твоя старуха?» «Ну да, жена». «А свадьбу замотал, да?» «А свадьба будет там. Мы еще не расписались».

И вот мы втроем совершили перелет в 13 тысяч километров, в трех самолетах различных систем — Ленинград — Москва «ТУ-104», Москва — Хабаровск «ТУ-114», Хабаровск — Фосфатка «ИЛ-14». Они учили меня играть в «канасту», и я так здорово обучился, что над Свердловском стал срывать все банки, и карта ко мне шла, и я был очень увлечен, и даже перестал подмигивать стюардессам, и не удивлялся Катиным взглядам, а только выигрывал, выигрывал и выигрывал.

Над Читой Айрапет ушел в хвост самолета, мы отложили карты, и я сказал Кате:

— Ну и девушка вы!

— А что такое? — удивилась она.

— Не видал я таких,— сказал я ей.— Большая редкость.

И еще что-то сказал в этом же роде просто для того, чтобы что-нибудь сказать, пока Айрапет не вернется из хвоста. Она засмеялась, я ей понравился.

В общем, все это началось потом. Все, что кончилось сегодня.

Сергей стоял, прислонившись к стене столовой, засунув руки в карманы, изо рта у него торчала погасшая сигарета «Олень», он исподлобья с трагической мрачностью смотрел на Катю. Конечно, это был мужчина. Все в нем говорило: «Я мужчина, мне тяжело, но я не пророню ни звука, такие уж мы, мужчины». Жаль только, что транзистор в это вре-

мя играл что-то неподходящее, какая-то жеманница пищала: «Алло! А-га! Ого! Но-но!» Странно, он не подобрал себе подходящую музыку. Сейчас бы ему очень подошло «Сикстен тонс» или что-нибудь в этом роде, что-нибудь такое мужское.

Я подошел к нему и стал крутить рычажок настройки.

— Так лучше? — спросил я, заглядывая ему в лицо.

«До чего же ехидный и неприятный тип,— подумал я о себе,— может быть, Сергею действительно нехорошо».

— Если хочешь, можем поговорить,— не двигаясь и не глядя на меня, проговорил он,— поговорим, пока ее нет.

— Уже поговорили,— сказал я,— все ясно...

— Я ее люблю,— пробормотал он, резко отвернув свое лицо.

У меня отлегло от души: все понятно; конечно, Сергей страдает, но как ему приятно его страдание, как это все отлично идет, словно по нотам.

— Ничего удивительного,— успокоил я его.— Полфосфатки ее любит и треть всего побережья, и даже на Улеконе я знаю нескольких парней, которые сразу же распускают слюни, как только речь заходит о ней.

— Ты тоже? — тихо спросил он.

— Ну конечно же! — радостно воскликнул я.

Так. Ничего, проехало.

— Ты пойми,— сказал Сергей, повернулся и положил мне руки в кожаных перчатках на плечи,— ты пойми, Колька, у меня ведь это серьезно. Слишком серьезно, чтобы шутить.

Ах ты, какая досада — это уже что-то южное! Такие два друга с одного двора, а один такой силач, и вот надо же — приглянулась ему дивчина.

А между тем я чуть не задохнулся от злобы. Ты, хотелось мне крикнуть ему в лицо, ты эскимо на палочке! У тебя это серьезно, а у половины Фосфатки, у трети всего побережья, у нескольких парней с Улекона это несерьезно, да? А у меня уж и подавно, ведь ты же знаешь все мои институтские штучки, ведь я у тебя весь, как на ладони, мне ведь что, мне ведь на Катю чихать, это тебе не чихать, вот у тебя это серьезно...

— Да, я понимаю,— сказал я,— тебе, конечно, тяжело.

— Поэтому, старик, я тебе так, тогда... ты уж...

— Да ну, чего уж, ведь я понимаю... тебе тяжело...

— А она...

— А она любит только своего мужа,— чуть-чуть торопливее, чем надо было, сказал я.

— Не знаю, любит ли, но только она... ведь ты знаешь...

— Знаю,— потупил глаза я,— тебе, Сергей, тяжело...

Тут он протянул мне пачку сигарет, чиркнул своей великолепной, снабженной ветрогасителем зажигалкой «Zippo», пламя ее озарило наши печальные лица, лица двух парубков с одного двора, и мы закурили очень эффектно в самый подходящий для этого момент.

— А что в таких случаях делают, Колька? — спросил Сергей.— Спиваются, что ли?

— Или спиваются, или погружаются с головой в работу. Второе, как принято думать, приносит большую пользу.

Тут он выключил свой приемник и посмотрел мне прямо в глаза. Видно, до него дошло, что мы мальчики не с одного двора, и он не любимец публики, что он напрасно ищет во мне сочувствия и весь этот «мужской» разговор — глупый скетч, что я...

Я не отвел взгляда и не усмехнулся, понимая, что сейчас мы начнем говорить по-другому.

Когда смолкла музыка, вечно его сопровождавшая, его постоянный нелепый фон, синкопчики или грохот мотора, в эту секунду молчания мы, кажется, оба поняли, что наша «дружба» врозь, что дело тут вовсе не в Кате, не только в Кате, а, может быть, и в ней, может быть, только в ней. В эту зону молчания доносились переборы гармошки, смех и топот ног, высокий голос Кати и треск костра.

— Шире грязь — навоз ползет! — воскликнул кто-то, и мимо нас сосредоточенно прошествовала группа тихих мужчин.

Следом за ними, выкидывая фортели, проследовал Коля Марков.

— Бичи пожаловали из Петровского порта,— сказал он мне.— Вот сейчас начнется цирк.

Бичи остановились возле весов и стали наблюдать за распродажей. Были они степенны, медленно курили маленькие «чинарики» и сплевывали в снег.

Очередь напряженно следила за ними. Я тоже следил и забыл о Сергее.

— Сергей Владимирович! — позвали его.

В нескольких шагах от нас стоял, заложив руки за спину, приветливо улыбающийся пожилой человек. Был он одет, как обыкновенный московский служащий, и поэтому выглядел в этой толпе необыкновенно. С лица Сергея исчезла жесткость. Он махнул этому человеку и, широко шагая, пошел к нему, а ко мне подошла Катя.

— Что там у Айрапета? — храбро спросил я ее.

— Сюда приехали несколько человек из их партии, а Арик остался там,— печально сказала Катя, глядя в сторону.— Чудаков говорит, что Арик не теряет надежды.

— Да?

— Они идут по этому распадку с юга на север. Пробурили уже две скважины и оба раза получили только сернистую воду.

— А сейчас?

— Третью бурят.— Она вздохнула.— Маршруты там тяжелые.

— Но зато это недалеко,— сказал я.

— Да, недалеко,— опять вздохнула она.

— Он может приезжать иногда.

— Конечно, он приезжает иногда. Помнишь, ведь он приезжал не так давно на три дня.

— Когда? — спросил я.— Что-то не помню.

— Как же ты не помнишь? — пробормотала она.— Он приезжал месяца полтора назад. Ты помнишь все прекрасно! Помнишь! Помнишь! — почти крикнула она.

Я пролез к ней под варежку и сжал ее холодные тонкие пальцы. Конечно, я все помнил. Еще бы не запомнить — он ходил, как пьяный, все три дня, хотя почти не пил. А она ходила, как с похмелья. Впрочем, она пила. В честь него были сборища у Сергея, наверное, только он да Эдик Танака не замечали их фальши.

— Пальчики твои, пальчики...— прошептал я.

— Пять холодных сосисок,— засмеялась она, приближая ко мне свое лицо. Стоит нам дотронуться друг до друга, и мы теряем головы, и нам уже все нипочем. Это опасное сближение, сближение двух критических масс, что нам делать?

Словно бы пушечный выстрел потряс воздух. Через секунду второе сотрясение донеслось до нас. Это над нами, над любителями апельсинов, на чудо-

вищной высоте перешло звуковой барьер звено самолетов.

Мы подняли головы, но их не было видно. Сохраняя свое по меньшей мере странное спокойствие, уверенное в своей допотопности и извечности, над нами стояло ночное небо, декоративно подсвеченное луной. У меня закружилась голова, и, если бы не Катина рука, я, может быть, упал бы.

Когда я думаю о реактивных самолетах, о том, как они, словно болиды, прочерчивают небо прямо под бородой у дядюшки Космоса, земля начинает качаться у меня под ногами, и я с особой остротой ощущаю себя жителем небольшой планеты. Раньше люди хотя и знали, что земля — шар, что она — подумать только! — вращается вокруг солнца, все же ощущали себя жителями необозримых пространств суши и воды, лесов и степей, и небо, голубое, темно-синее и облачное, стояло над ними с оправданным спокойствием и тишиной. Но, право же, довольно этой иронии, ведь за океаном могут найтись бесноватые пареньки, способные нажать кнопочку и взорвать все это к чертям. Ведь они уже прокричали, что через несколько месяцев в океане, на берегу которого мы стоим, в теплых тропических водах, их мозговики дадут команду, и начнутся очередные упражнения игрушечками класса «Земля-смерть».

А мы стоим в очереди за апельсинами. Да, мы стоим в очереди за апельсинами! Да, черт вас возьми, мы стоим за апельсинами! Да, кретины-мозговики, и вы, мальчики-умники, я, Колька Калчанов, хочу поесть апельсинчиков, и в моей руке холодные пальцы Кати! Да, я строю дома! Да, я мечтаю построить собственный город! Фиг вам! Вот мы перед вами все, мы строим дома, и ловим рыбу, и бурим скважины, и мы стоим в очереди за апельсинами!

У меня есть один приятель, он ученый, астроном. У него челюсти, как у бульдога, а короткие волосы зачесаны на лоб. Колпак звездочета ему вряд ли пойдет. Однажды я был у него на Пулковских высотах. Мы сидели вечером в башне главного рефрактора. Небо было облачное, и поэтому мой дружок бездельничал. Вообще у них, у этих астрономов, работа, как мне показалось, не пыльная. Вот так мы сидели возле главного рефрактора, похожего на жюльверновскую пушку, и Юрка тихонько насвистывал «Черного кота» и тихонько рассказывал мне о том, что биологическая жизнь, подобная нашей, земной, явление для Вселенной, для материи в общем-то чуждое.

В общем-то, старина, понимаешь ли, все это весьма зыбко, потому что такое стечение благоприятных условий, как у нас на земле, с точки зрения новейшей науки, понимаешь ли, маловероятно, кратковременное исключение из правил. Ну, конечно, все это во вселенских масштабах, для нас-то это история, а может быть, и тысячи историй, миллион цивилизаций, в общем все просто и удивительно.

— Ты давно об этом знаешь? — спросил я его.

— Не так давно, но уже порядочно, и не знаю, а предполагаю.

— Поэтому ты такой спокойный?

— Да, поэтому.

Боже ты мой, конечно, я знал, что наша Земля — песчинка в необъятных просторах Вселенной, и в свете этого походы Александра Македонского несколько смешили меня, но сознание того, что мы вообще явление «маловероятное», на какое-то время поразило меня, да и сейчас поражает, когда я об этом думаю. Стало быть, все это чудеса чудес? Бесчисленные исключения из правил, игра алогичности? Например, чудо апельсина. Случайные переплетения маловероятных обстоятельств, и на дереве вырастает именно апельсин, а не граната-лимонка. А человек? Подумайте об этом, умники с тропических островов. Вы же ученые, вы же знаете все это лучше меня, ну, так подумайте.

— Катя, ты чудо! — сказал я ей.

— А ты чудо-юдо,— засмеялась она.

— Я серьезно. Ты исключение из правил.

— Это я уже слышала,— улыбнулась она с облегчением, переходя к веселости и легкости наших прежних отношений.

— Ты случайное переплетение маловероятных обстоятельств,— с дрожью в голосе проговорил я.

— Отстань, Колька! Ты тоже переплетение.

— Конечно. Я тоже.

— Ого! Ты слишком много о себе возомнил.

— Пальчики твои, пальчики...— забормотал я,— маловероятные пальчики, ты моя милая... Я хочу тебя поцеловать.

— Ты, кажется, совсем того, заговариваешься,— слабо сопротивлялась она.— Колька, это нечестно, посмотри, сколько народу вокруг.

Боже ты мой, вот две случайности — я и Катя, и случайность свела нас вместе, и мы случайно подходим друг к другу, как яблоко к яблоне, как суша к воде, но вот — мы не можем даже поцеловаться на глазах у людей, и, видно, это действует какой-то другой закон, не менее удивительный, чем закон случайностей.

Кто-то дернул меня за плечо.

— На минутку, Калчанов,— сказал мне потрясающего вида силач без шапки и без шарфа.— Ты полегче, Калчанов,— проговорил он, глядя в сторону и массируя свои предплечья,— кончай тут клинья подбивать, понял?

Тут я вспомнил его — это был Ленька Базаревич, моторист из партии Айрапета.

— Понятно, Леня,— сказал я ему,— ты только не задави меня, Леня.

Я увидел, что к нам приближается Сергей Орлов. Два таких силача на меня одного — это уж слишком. Я представил себе, как они вдвоем взяли бы меня в оборот, вот вид я бы имел!

— Можешь смеяться, но я тебе сказал,— предупредил меня Леня и отошел.

Чудаки, возможно, вы хорошие ребята, у каждого из вас свой джентльменский кодекс, но мне ведь только бы с самим собой совладать, со своим кодексом, и тогда, силачи, приступайте к делу, мне не страшно.

Сергей подошел.

— Вот что,— сказал он,— тот человек, мой знакомый,— директор этой столовой.

— Так ты тогда займи столик,— сказала Катя.— Говорят, там есть даже коктейли.

— Точно,— сказал я,— я там как-то веселился. Коктейль «Загадка», мечта каботажника.

— Столик — это ерунда,— сказал Сергей.— У него есть апельсины. Пойдем,—потянул он за руку Катю,— хватит тебе в очереди стоять.

Катя нерешительно посмотрела на меня.

— Идите, ребята,— сказал я,— идите, идите.

— Ты не идешь? — спросила Катя и освободилась от рук Сергея.

Сергей прямо сверкнул на меня очами, но сдержался.

— Пойми,— сказал он мне,— просто неудобно нам здесь стоять. Здесь много наших рабочих.

— Ага,— кивнул я,— авторитет руководителя принцип единоначалия, кадры решают все.

Катя засмеялась.

— А о ней ты не думаешь? — спросил Сергей.

— Нет, я на нее чихать хотел.

Катя опять засмеялась.

— Иди, Сережа, а я тут с этой бородой расправлюсь.

— Тут матом ругаются,— как-то растерянно сказал Сергей.

Катя прямо покатилась со смеху.

— Ничего,— сказал я,— мы с ней и сами обойдемся как-нибудь.

Он все-таки ушел. Ему, видно, очень нужно было уйти. Я даже пожалел его, так ему не хотелось уходить.

— Смешной он у нас, правда? — сказала Катя, глядя вслед Сергею.

— Он в тебя влюблен.

— Господи, как будто я не знаю!

— Ты про всех знаешь?

— Про всех.

— Нелегко тебе.

— Конечно, нелегко.

— А туфельки? Ты их забыла в тот вечер, когда в клубе выступала Владивостокская эстрада.

— А, вспомнил! Ведь ты в тот вечер увлекся «жанровыми песнями»...

— Должен же я иногда...

— Фу ты, какой идиотизм! Конечно, ты должен. Мне-то что!

— Катя!

— Мы танцевали у Сергея. Все было так романтично и современно — освещение и все... Потом я влезла в свои чеботы, а туфли забыла. Он не такой нахальный, как ты.

— Я нахальный, да?

— Конечно, ты нахал. Запроси Владивосток, и тебе ответят, кто ты такой.

— А он душевный, да? Все свои горести ты ему поведала, правда? Такой добрый, благородный силач.

— Коленька! А как же дальше мне быть?..

— Пойдем погуляем.

Мы вышли из очереди и взобрались на бугор. Отсюда была видна вся бухта Талого и сам городок, до странности похожий на Гагру. Он тянулся узкой светящейся линией у подножия сопок. Обледенелая, дымящаяся, взявшаяся за ум Гагра.

— Ну и ну! — воскликнула Катя.— Действительно, он похож на Гагру, и даже железная дорога проходит точно так же.

— Только здесь узкоколейка.

— Да, здесь узкоколейка.

В сплошной черноте, далеко в море, работала мигалка, зажигалась на счет 16.

— Встретились бы мы в Гагре года два назад.

— Что бы ты тогда сделал?

— Мы были бы с тобой...

— Ладно, молчи уж,— сердито сказала она.

Мы медленно шли, взявшись под руки. 1, 2, 3, хватит хихиканья, 5, 6, 7, она сжалась от страха, 9, 10, 11, я не могу об этом говорить, 13, я должен, не ей же говорить об этом, 15, нет, я не могу, вот сейчас...

Мы вошли в какой-то лесок, и она прижалась ко мне.

— Ты хочешь, чтобы я сама сказала? — сурово спросила она.

— Нет.

— Чего ты хочешь?

Впервые я сам отодвинулся от нее. Она понимающе кивнула, вытащила сигарету и стала мять ее в руках. Я дал ей огня.

В лесок, шумно дыша, забежали девушка и парень. Они сразу же бросились друг к другу и начали целоваться. Нас они не замечали, ничего они не замечали на свете. Я обнял Катю за плечи. Она через силу улыбнулась, глядя на целующихся. Тут я узнал их — это был Витька Колтыга и та девица из Шлакоблоков, что крыла меня на собрании.

Мы обменялись с ними какими-то шуточками, и я повел Катю прочь отсюда. Мы вышли из-за деревьев и медленно пошли к столовой, к очереди за апельсинами. Там было шумно, очередь сбилась в толпу, кажется, начиналась свалка, но во мне еще теплилась необоснованная надежда, что на нашу долю что-нибудь достанется.

— Я это сказала просто так,— проговорила Катя, глядя себе под ноги.— Ты ведь понимаешь?

— Конечно.

— Ну вот и все.

— В чем призвание женщины? — еще через несколько шагов сказал я.

Она резко расхохоталась.

— Моя бабушка таких, как ты, называет холодными философами. Холодный сапожник — холодный философ.

Вот уж верно, подумал я. Что-то качусь я все вниз по наклонной плоскости. Глупею. Когда работаешь над своим проектом и решаешь какой-нибудь узел и у тебя не получается, один за другим возникают многочисленные варианты решения, под рукой

чертежная доска, логарифмическая линейка, все-таки не зря стипендию проедал в течение пяти лет. Когда на стройке дело не идет, берешь «на горло». Когда три паренька на темной улице интересуются твоими часами, это уж самое простое дело. Я не обижал девочек, и они на меня не обижались. Все было просто и легко, немного романтики, немного слюнтяйства, приятные воспоминания. Свалилось же на меня такое. Что делать? Меня этому не научили. «Для любви нет преград»,— читаем мы в книгах. Глупости это, тысячи неодолимых преград порой встают перед любовью, об этом тоже написано в книгах. Но ведь Катя — это не любовь, это часть меня самого, это моя юность, моя живая вода.

Толпа пришла в смутное движение. Размахивали руками. Кажется, кто-то уже получил по зубам. Несколько парней из нашего треста пробежали мимо, на ходу расстегивая полушубки.

— Что там такое, ребята? — крикнул я им вслед.

— Там без очереди полезли!

— Вперед, Калчанов! — засмеялась Катя.— Вперед, в атаку! Труба зовет! Ты уже трепещешь, как боевой конь.

— Знаешь, как меня называли в школе? — сказал я ей.— Панч Жестокий Удар.

— В самом деле? — удивилась Катя.— Тогда вперед! Колька, не смей! Колька, куда ты?!

Но я уже бежал.

Ох, сейчас мне достанется, думал я. Ох, сейчас мне отскочит битка! Сейчас я получу то, что мне полагается за все сегодняшние фокусы. Я втерся в толпу. Пока еще не дрались. Пока еще напирали, «жали масло». Пока еще шел суровый разговор.

— Сознание у вас есть или нет?

— А ты мои гроши считал?

— Чего ты с ним разговариваешь, Лёнь? Чего ты с ним толковищу ведешь? Дай ему!..

— Трудящиеся в очереди стоят, а им подазай апельсинчик на блюдечке!

— Спекулянты!

— Я тебя съем, и пуговицы не выплюну!

— Лёнь, че ты с ним разговариваешь?

— Пустите меня, я из инфекционной больницы выписался!

— Назад, кусочники!

— А тебе жалко, да? Жалко?

— Жалко у пчелки...

— Я тебя без соли съем, понял?

— Пустите меня, я заразный!

Косматый драный бич вдруг скрипнул зубами и закричал визгливо, заверещал:

— Всех нерусской нации вон из очереди!

На секунду наступило молчание, потом несколько парней насело на косматого.

— Дави фашиста! — кричали они.

— Давайте-ка, мальчики, вынесем их отсюда! — командовал Витька Колтыга.

Конечно, он уже был здесь и верховодил — прощай любовь в начале мая.

Засвистели кулачки, замолкли голоса, только кряхтели да ухали дерущиеся люди. Меня толкали, швыряли, сдавливали, несколько раз ненароком мне попадало по шее, и слышался голос: «Прости, обознался». Никто толком не знал, кого бить. Со всех сторон к нашей неистовой куче бежали люди.

— Делай, как я! — закричал какой-то летчик своим приятелям, и они врезались в гущу тел, отсекая дерущуюся толпу от весов, возле которых попрыгивали и дули себе на пальцы равнодушные продавщицы. Я полез вслед за летчиками и наконец-то получил прямой удар в челюсть.

Длинный парень, который меня стукнул, уже замахивался на другого. Я заметил растерянное лицо длинного, казалось, он действует, словно спросонья. Двумя ударами я свалил его на снег.

Толпа откачнулась, а я остался стоять над ворочающимся в снегу телом.

— Дай руку, борода! — мирно сказал длинный.

Я помог ему встать и снова принял боксерскую стойку.

— Крепко бьешь,— сказал длинный.

Я ощупал свою челюсть.

— Ты тоже ничего.

Он отряхнулся.

— Пошли шампанского выпьем?

— Шампанского, да? — переспросил я.— Это идея.

В общем, мальчики немного «поразмялись».

11. КОРЕНЬ

В общем-то, никто из нашей компании апельсинами по-настоящему не интересовался, но Вовик обещал выставить каждому по полбанки за общее дело. Апельсинчики ему были нужны для какого-то шахер-махера.

Сначала он передал через головы деньги своему корешу, который уже очередь выстоял, и тот взял ему четыре кило. По четыре кило выдавали этого продукта. Потом к этому корешу подошел Петька и тоже взял четыре кило. Очередь стала напирать. Кореш Вовика лаялся с очередью и сдерживал напор. Когда к корешу подлез Полтора-Ивана, очередь расстроилась и окружила нас. Началось толковище. Вовик стал припадочного из себя изображать. Такой заводной мужик этот Вовик! Ведь гиблое дело, когда тебя окружает в десять раз больше, чем у тебя, народу, и начинается толковище. Ясно ведь, что тут керосином пахнет, небось, уже какой-нибудь мил-человек за милицией побежал, а он тут цирк разыгрывает.

Надо было сматываться, но не мог же я от своих уйти, а наши уже кидались на людей. Вовик их завел своей истерикой, и, значит, вот-вот должна была начаться «Варфоломеевская битва».

Значит, встречать мне своего папашку с хорошим фингалом на фотографии. Скажу, что за комингс зацепился. Навру чего-нибудь. А вдруг на 15 суток загремлю?

Ну, надо же, надо же! Всегда вот так: только начинаешь строить планы личного благоустройства, как моментально вляпываешься в милую историю. Стыд-позор на всю Европу. А еще и Люська здесь. Я ее видел с тем пареньком, с Битенькой Колтыгой.

Смотрю, Вовик берет кого-то за грудки, а Полтора-Ивана заразного из себя начинает изображать. Чувствую, все, сам я завожусь. Чувствую, лезу к кому-то. Чувствую, заехал кому-то. Чувствую, мне каким-то боком отскочило. Чувствую, дерусь, позорник, и отваливаю направо и налево. Прямо страх меня берет, как будто какой-то другой человек пролез в мой организм.

Тут посыпались у меня искры из глаз, и я бухнулся в снег. Кто-то сшиб меня двойным боксерским ударом. Тут я очухался, и все зверство во мне мигом прошло, испарилось в два счета.

Сбил меня паренек, вроде даже щупленький с виду, но спортивный, бородатый такой, должно быть, геолог из столичных. Те, как в наши края приезжают, сразу запускают бороды. Вовремя он меня с копыт снял.

Наши уже драпали во все стороны, как зайцы. Вовик убежал, и Петька, и Полтора-Ивана, и другие.

— Пойдем шампанского выпьем,— предложил я бородатому.

Свой парень, сразу согласился.

— Пошли в «Маяк»,— говорю,— угощаю.

Денег у меня, конечно, не было, но я решил Эсфирь Наумовну уломать. Пусть запишет на меня; должен же я угостить этого паренька за хороший и своевременный удар.

— Пошли, старик,— засмеялся он.

— А ты с какого года? — спросил я его.

— С тридцать восьмого.

Совсем пацан, ей-богу! Действительно, я старик.

— Небось, десятилетка за плечами? — спрашиваю я его.

— Институт,— отвечает.— Я строитель. Инженер.

И тут подходит к нам девица, такая, братцы, красавица, прямо с картинки.

— Катя, знакомься,— говорит мой дружок,— это мой спарринг-партнер. Пошли с нами шампанское пить.

— А мы очередь не прозеваем, Колька? — говорит девица и подает мне руку в варежке.

А я, дурак, свою рукавицу снимаю.

— Корень,— говорю,— тьфу ты, Валькой меня зовут... Валентин Костюковский.

Пошли мы втроем, а Катюшка эта берет нас обоих под руки, понял? Нет, уговорю я Эсфирь Наумовну еще и на шоколадные конфеты.

— Крепко бьет ваш Колька,— говорю я Катюше.— Точно бьет и сильно.

— Он у меня такой,— смеется она.

А Колька, гляжу, темнеет. Такой ведь счастливый, гад, а хмурится еще. На его месте я бы забыл, что такое хмурость. Пацан ведь еще, а институт уже за плечами, специальность дефицитная на руках, жилплощадь, небось, есть, и девушка такая, господи боже.

В хвосте очереди я заметил Петьку. Он пристраивался, а его гнали, как нарушителя порядка.

— Да я же честно хочу! — кричал Петька.— По очереди. Совесть у вас есть, ребята, аль съели вы ее? Валька, совесть у них есть?

— Кончай позориться,— шепнул я ему.

А Катя вдруг остановилась.

— Правда, товарищи,— говорила она,— что уж вы, он ведь осознал свои ошибки. Он ведь тоже апельсинов хочет.

— В жизни я этого продукта не употреблял,— захныкал Петька.— Совесть у вас есть, или вас не мама родила?

— Ладно,— говорят ему в хвосте,— вставай, все равно не хватит.

— Однако надежда есть,— повеселел Петька.

В столовой был уют, народу немного. Проигрыватель выдавал легкую музыку. Все было так, как будто снаружи никто и не дрался, как будто там и очереди нет никакой. С Эсфирь Наумовной я мигом договорился.

Люблю шампанское я, братцы. Какое-то от него происходит легкое кружение головы, и веселенькие мысли начинают прыгать в башке. Так бы весь век я провел под действием шампанского, а спирт, ребята, ничего, кроме мрачности, в общем итоге не дает.

— Это ты верно подметил,— говорит Колька.— Давно бичуешь?

Так как-то он по-хорошему меня спросил, что сразу мне захотелось рассказать ему всю свою жизнь. Такое было впечатление, что он бы меня слушал. Только я не стал рассказывать: чего людям настроение портить?

Вдруг я увидел капитана «Зюйда», этого дьявола Володьку Сакуненко. Он стоял у буфета и покупал какой-то дамочке конфеты.

Я извинился перед обществом и сразу пошел к нему. Шампанское давало мне эту легкость.

— Привет, капитан! — говорю ему.

— А, Корень! — удивляется он.

— Чтоб так сразу на будущее,— говорю,— не Корень, а Валя Костюковский, понятно?

— Понятно.— И кивает на меня дамочке: — Вот, познакомьтесь, любопытный экземпляр.

— Так чтобы на будущее,— сказал я,— никаких экземпляров, понятно? Матрос Костюковский — и все.

И протягиваю Сакуненко с дамой коробку «Герцеговины Флор», конечно, из лежалой партии, малость плесенью потягивают, но зато марка! Есть у меня, значит, такая слабость на этот табачок. Чуть я при деньгах или к Эсфирь Наумовне заворачиваю в «Маячок», сразу беру себе «Герцеговину Флор» и покуриваю.

— Слушай, капитан,— говорю я Сакуненко.— Когда в море уходите и куда?

— На сайру опять,— говорит капитан, а сам кашляет от «Герцеговины» и смотрит на меня сквозь дым пронзительным взглядом.— К Шикотану, через пару деньков.

— А что, Сакуненко, у вас сейчас комплект? — спрашиваю я.

— А что?

— А что, Сакуненко,— спрашиваю опять,— имеешь все еще на меня зуб?

— А как ты думаешь, Валя? — человечно так спрашивает Сакуненко.

— Законно,— говорю.— Есть за что.

Он на меня смотрит и молчит. И вдруг я говорю ему:

— Васильич!

Так на «Зюйде» его зовут из-за возраста. «Товарищ капитан» неудобно, для Владимира Васильича молод, Володей звать по чину нельзя, а вот Васильич в самый раз, по-свойски, вроде и с уважением.

— Конечно,— говорю,— Васильич, ты понимаешь, шампанское мне сейчас дает легкость, но, может, запишешь меня в судовую роль? Мне сейчас вот так надо в море.

— Пойдем поговорим,— хмурится Сакуненко.

12. ГЕРМАН КОВАЛЕВ

Мне даже подраться как следует не удалось — так быстро бичей разогнали. Очередь выровнялась. Снова заиграла гармошка. Девушки с равнодушными лицами снова пустились в пляс, а нанайцы уселись у своего костра. На снегу лежал разорванный пакет. Несколько апельсинов выкатилось из него. Как будто пакет упал с неба, как будто его сбросили с самолета, как будто это подарок судьбы. Ха-ха-ха, это будет темой моих новых стихов.

Мне стало вдруг весело и хорошо, словно и не произошло у меня только что крушение любви. Мне вдруг показалось, что весь этот вечер, вся эта история с апельсинами,— любительский спектакль в Доме культуры моряков, и я в нем играю не последнюю роль, и все вокруг такие теплые, свои ребята, и бутафория сделана неплохо, только немного неправдоподобно, словно в детских книжках: луна и серебристый снег, и сопки, и домики в сугробах, но скоро мой выход, скоро прибежит моя партнерша в модном пальтеце и в валенках.

А впереди у меня целых два дня, только через два дня мы выходим в море.

Я подобрал апельсины и понес их к весам.

— Чудик,— сказали мне ребята,— лопай сам. Твой трофей.

— Ешь, матрос,— сказала продавщица,— за них же плочено.

— Да что вы! — сказал я.— Этот пакет с неба упал.

— Тем более,— говорят.

Тогда я стал всех угощать, каждый желающий мог получить из моих рук апельсин, ведь с неба обычно сбрасывают не для одного, а для всех. Я был как дед-мороз, и вдруг я увидел Нину, она пробиралась ко мне.

— Гера, мы пойдем танцевать? — спросила она. От нее веяло морозным апельсиновым ароматом, а на губах у нее смерзлись корочки из апельсинового сока.

— Сейчас пойдем! — крикнул я.— Сейчас, наша очередь подходит.

Вскоре подошла наша очередь, и мы все, весь «Зюйд», повалили в столовую. Я вел Нину под руку, другой рукой я прижимал к телу пакет.

— Я все что угодно могу танцевать,— лепетала Нина,— вот увидите, все что угодно. И липси, и вальс-гавот, и даже,— она шепнула мне на ухо,— рок-н-ролл...

— За рок-н-ролл дают по шее,— сказал я,— да я все равно ничего не умею, кроме танго.

— Танго — мой любимый танец.

Я посмотрел на нее. Понятно, все мое любимое теперь станет всем твоим любимым, это понятно и так.

Мы сдвинули три столика и расселись всем экипажем. Верховодил, как всегда, чиф.

— Эсфирь Наумовна,— шутил он,— «Зюйд» вас ждет!

А апельсины уже красовались на столе маленькими кучками перед каждым. Потом мы смешали их в одну огромную светящуюся внутренним огнем кучу.

Подошла официантка и, следя за пальцами чифа, стала извиняться:

— Этого нет. И этого нет, Петрович. Старое меню. И этого нету, моряки.

— Тогда по два вторых и прочее и прочее! — весело вскричал чиф.

— Это вы будете иметь,— обрадовалась она.

Наш радист Женя встал из-за стола и пошел беспокоиться насчет освещения. Должен же был он сделать очередной исторический снимок.

Когда он навел аппарат, я положил руку на спинку Нинкиного стула. Я думал, Нина не заметила, но она повела своим остреньким носиком, заметила. Кажется, все это заметили. Чиф подмигнул стармеху. А Боря и Иван сделали вид, что не заметили. Заметила это Люся Кравченко, которая шла в этот момент мимо, она улыбнулась не мне и не Нине, а так. Мне вдруг стало чертовски стыдно, потом прямо я весь покрылся: «ветерок листву едва колышет», тьфу ты черт... На кой черт я писал эти стихи да еще посылал их по почте? Когда уже я брошу это занятие, когда уж я стану настоящим парнем?

Я положил Нине руку прямо на плечо, даже сжал плечо немного.

Ну и худенькое плечико!

Как только щелкнул затвор, Нина дернулась.

— Какой вы, Гера,— прошептала она.

— Какой же? — цинично усмехнулся я.

— Какой-то несобранный.

— Служба такая,— глупо ответил я и опять покраснел.

Официантка шла к нам. Она тащила огромный поднос, заставленный бутылками и тарелками. Это была такая гора, что голова официантки еле виднелась над ней, а на голых ее руках вздулись такие бицепсы, что дай бог любому мужику. Снизу руки были мягкие и колыхались, а сверху надулись бицепсами.

Чиф налил ей коньяку, она благодарно кивнула, спрятала рюмку под фартук и отошла за шторку. Я видел, как она по-мужски опрокинула эту рюмку. Ну и официантка! Такая с виду домашняя тетушка, а так лихо пьет. Мне бы так!

Я хмелею быстро. Не умею я пить, что ты будешь делать.

Иван и Боря закусывали и строго глядели на Нину. А Нина чувствовала их взгляды и ела очень деликатно.

— Ты ему письма-то пиши,— сказал Иван ей,— он у нас знаешь какой. Будешь писать?

Нина посмотрела на него и словно слезы проглотила. Кивнула.

— Ты лучше ему радиограммы посылай,— посоветовал Боря.— Очень бывает приятно в море получить радиограмму. Будешь?

— Ну, буду, буду! — сердито сказала она.

Ей, конечно, было странно, что ребята вмешиваются в наши интимные отношения. Заиграла музыка. Шипела, скрипела, спотыкалась игла на пластинке.

— Это танго,— сказала Нина в тарелку.

— Пойдем! — Я сжал ее локоть.

Мне сейчас все было нипочем. Мне сейчас казалось, что я и впрямь умею танцевать танго.

Мы танцевали, не знаю уж как, кажется, неплохо, кажется, замечательно, кажется, лучше всех. Хриплый женский голос пел:

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-нам-па-пи...

Этот припев повторялся несколько раз, а я никак не мог расслышать последнюю строчку.

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-нам-па-пи...

Это раздражало меня. Слова все повторялись, и последняя строчка исчезала в шипении и скрежете заезженной пластинки.

— Что она там поет? Никак не могу разобрать.

— Поставьте еще раз,— прошептала Нина.

13. КОРЕНЬ

— Хочешь Васильич, я тебе всю свою жизнь расскажу?

И я рассказываю, понял, про все свои дела, и про папашу своего, и про детство, и про зверобойную шхуну «Пламя», и сам не пойму, откуда берется у меня складность, чешу, прямо как Вовик, а капитан Сакуненко меня слушает, сигаретки курит, и дамочка притихла, гуляем мы вдоль очереди.

Вот ведь что шампанское сегодня со мной делает. Раньше я его пил, как воду. Брал на завтрак бутылку полусладкого, полбатона и котлетку. Не знаю, что такое, может, здоровьем я качнулся.

— Боже мой, это же целый роман! — ахает дамочка.

— Я так понимаю,— говорит капитан,— что любая жизнь — это роман. Вот сколько в очереди людей, столько и романов. Может, неверно говорю, Ирина Николаевна?

— Может, и верно, Володя, но не зовите меня по отчеству, мы же договорились.

— Ну вот и напишите роман.

Задумалась дамочка.

— Нет, про Костюковского я бы не стала писать, я бы про вас, Володя, написала, вы положительный герой.

Ну и дамочки пошли, ребята! Ну что ты скажешь, а?

Володя прямо не знает, куда деваться.

— Может, вы отойдете, а? — спрашивает он дамочку.— Мне надо с матросом конструктивно, что ли, вернее, коллегиально, конфиденциально надо бы с матросом поговорить.

— Хорошо,— говорит она.— Я вас в столовой обожду.

Отвалила, наконец.

— Слушай, Валя,— говорит он мне,— я, конечно, понимаю твои тяжелые дела, и матрос ты, в общем, хороший... А место у нас есть: Кеша, знаешь, в армию уходит... Но только чтоб без заскоков! Понял? — заорал он в полный голос.

— Ладно, ладно,— говорю.— Ты меня на горло не бери. Знаю, что орать ты здороз, Васильич.

Он почесал в затылке.

— В отделе кадров как бы это провернуть? Скажу, что на исправление тебя берем. Будем, мол, влиять на него своим мощным коллективом.

— Ну, ладно, валяйте,— согласился я.

— Пошли,— говорит он,— наши уже в «Маячке» заседают. Представлю тебя экипажу.

— Только знаешь, Васильич, спокойно давай, без церемоний. Вот, мол, товарищ Костюковский имеет честь влиться в наш славный трудовой экипаж, и все, тихонько так, без речей.

— Нахалюга ты,— смеется он.— Ну, смотри... Чуть чего — на Шикотане высадим.

В столовой первой, кого я встретил, была Люся Кравченко. Она танцевала в объятиях своего бурильщика.

— Че-то, Люся, вы сияете, как блин с маслом? — сказал я ей.

Характер у меня такой, чуть дела на лад пошли, становлюсь великосветским нахалом.

— Есть причины,— улыбнулась она и голову склонила к его плечу.

— Вижу, вижу.

Я вспомнил вкус ее щеки, разок мне все же удалось поцеловать ее в щеку, а дралась она, как чертенок, я вспомнил и улыбнулся ей, показывая, про что я вспомнил. А она мне как будто ответила: «Ну и что? Мало ли что!»

Витька же ничего не видел и не слышал, завелся он, видно, по-страшному; Сакуненко уже сидел во главе стола и показывал мне: место есть. А меня кто-то за пуговицу потянул к другому столику. Смотрю — Вовик. Сидит, шустряга, за столиком, кушает шашлык, вино плодово-ягодное употребляет, и даже пара апельсинчиков перед ним.

— Садись, Валька,— говорит.

— Поешь,— говорит,— поешь, Корень, малость, и гребем отсюда. Дело есть.

— Поди ты со своими делами туда-то, вот туда-то и еще раз подальше.

— Ты что, рехнулся, дурака кусок?

— Катись, Вовик, по своим делам, а я здесь останусь.

— Забыл, подлюга, про моряцкую спайку?

Тогда я постучал ножичком по фужеру да как крикну:

— Официант, смените собеседника!

На том моя дружба с Вовиком и окончилась.

Я подходил к столу «Зюйда» и выглядывал, кто там новенький и кого я знаю.

Сел я рядом с Сакуненко, и на меня все уставились, потому что уж меня-то все знают, кто на Петрово базируется или на Талый, а также из Рыбкомбината и из всех прибрежных артелей, по всему побережью я успел побичевать.

— Привет, матросы! — сказал я.

Сразу ко мне Эсфирь Наумовна подплыла, жалеет она меня.

— Чего, Валечка, будете кушать? — спрашивает, а сама, бедная, уже хороша. Поцеловал я ее трудовую руку.

— Чем угостите, Эсфирь Наумовна, все приму.

— Вы будете это иметь,— сказала она и пошла враскачку, морская душа. Может, когда под ней пол

качается, она воображает, что все еще на палубе «Чичирева»?

— Пьяная женщина,— говорит дамочка, что роман про Володю нашего Сакуненко собирается писать,— отвратительное зрелище.

— Помолчала бы, дама! — крикнул я.— Чего вы знаете про нее? Простите,— сказал я, подумав,— с языка сорвалось.

Но на «Зюйде» не обиделись на меня. Там всё знали про Эсфирь Наумовну.

Ну вот, как будто отвернул я в последний момент, как будто прошел мимо камней, и радиола играет, и снова я матрос «Зюйда», и апельсинчики на столе теплой горой, а завтра, должно быть, прилетит папаша, профессор кислых щей, член общества разных знаний, наверное, завтра прилетит, если Хабаровск дает вылет. Только много ли будет радости от этой встречи?

14. ЛЮДМИЛА КРАВЧЕНКО

Он познакомил меня со всеми своими друзьями. Я была рада, что у меня появились новые знакомые, разведчики наших недр. Мы заняли столик в столовой и расселись вокруг в тесноте, да не в обиде: Леня, Юра, Миша, Володя, Евдощук, Чудаков, мой Витя, и я. Столовая уже была набита битком. Сквозь разноголосый шум чуть слышна была радиола, но танцующих было много, каждый, наверно, танцевал под свою собственную музыку. Все наши девочки танцевали и улыбались мне, а Нинка, кажется, забыла обо всем на свете, забыла о Васильевском острове и о Мраморном зале. Хорошо я сделала, что познакомила ее с Герой Ковалевым. Кажется, они смогут найти общий язык.

А на столе у нас грудами лежали апельсины, стояли бутылки, дымилась горячая еда. Сервировка, конечно, была не на высоте, не то что у нас в вокзальном ресторане, но зато здесь никто не торопился, никто не стремился за тридцать минут получить все тридцать три удовольствия, все, по-моему, были счастливы в этот удивительный вечер. Сверху светили лампы, а снизу — апельсины. И Витина рука лежала на моем плече, и в папиросном дыму на меня смотрели его светлые сумасшедшие глаза, в которых будто бы все остановилось. Это было даже немного неприлично. Незаметно я сняла его руку со своего плеча, и в глазах у него что-то шевельнулось, замелькали смешные искорки, и он встал с бокалом в руках.

— Елки-моталки, ребята! — сказал он.

Придется его отучить от подобных выражений.

— Давайте выпьем за Кичекьяна и за наш поиск! Что-то кажется мне, что не зря мы болтались в этих Швейцарских Альпах. Честно, ребята, гремит сейчас фонтан на нашей буровой.

— В башке у тебя фонтан гремит! — сказал Леня.

Все засмеялись, а Виктор запальчиво закричал:

— Нытики! Мне моя индукция подсказывает! Я своей индукции верю! Хочешь, поспорим? — обратился он к Лене.

Но тот почему-то не стал спорить, видно, Виктор так на него подействовал, что он сам поверил в нефть. Я сначала не поняла, что за индукция, а потом сообразила, наверно, интуиция, скажу ему потом.

— А нас там не будет,— сказал Юра,— обидно.

— Главное, там Айрапет будет,— сказал Леня,— пусть он первым руки в нефти помоет, это его право. Совсем он отощал на этом деле.

— И про жену даже забыл,— добавил Леня и посмотрел куда-то в угол.— Боком ему может выйти эта нефть.

— Да уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь,— пробормотал Евдощук и поперхнулся, взглянув на меня.

— Пойдем танцевать,— пригласил меня Виктор.

Танцевать было трудно, со всех сторон толкали, лучше было бы просто обняться и раскачиваться на одном месте под музыку. Слева от нас танцевала наша Сима с огромным мужчиной в морской тужурке. Вот, значит, чьи это тельняшечки. Они были так огромны, Сима и ее кавалер, что просто казались какими-то нездешними людьми. Сима томно мне улыбнулась и склонила голову на плечо своему молодцу.

— Витя, тебе нравится твоя работа?

— Я тебе знаешь что скажу, материально я обеспечен...

— Я не о том. Тебе нравится искать нефть?

— Мне больше нравится ее находить.

— Это, наверное, здорово, да?

— Когда бьет фонтан? Да, это здорово. И газ — это тоже здорово, когда газ горит. Знаешь, пламя во все небо, а мы нагнетаем пульпу, чтобы его загасить, а оно не сдается, жарко вокруг, мы все мокрые, прямо война.

— Хорошо, когда такая война, да?

— Только такая. Любую другую к чертям собачьим.

Скрипела заезженная пластинка; вернее, даже не пластинка, а вставшая коробом рентгеновская пленка.

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-пам-ра-ри...

— Знаешь, Виктор, здесь все изменится. Вы найдете нефть, а мы построим красивые города...

— Ну, конечно, здесь все изменится, рай здесь будет, райские кущи...

— А правда, может, здесь и климат изменится. Может быть, здесь будут расти свои, наши апельсины.

— Законно.

— Ты не шути!

— А сейчас тебе здесь не нравится, дитя юга?

— Сейчас мне нравится... Витя! Витя, нельзя же так, ты с ума сошел...

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-пам-ра-ри...

— Что она готова слушать без устали? Никак не могу расслышать.

Я тоже не слышала последних слов, но я знала, что можно слушать без устали.

Там-пам-ра-ри...

Я без устали слушать готова твое дыхание, стук твоего сердца, твои шутки.

— Иди поставь эту пластинку еще раз.

15. ВИКТОР КОЛТЫГА

Не одобряю я ребят, которые любят фотографироваться в ресторанах или там в столовых ресторанного типа. В обычной столовой никому в голову не придет фотографироваться, но если есть наценка, и рытый бархат на окнах, и меню с твердой корочкой, тогда, значит, обязательно необходимо запечатлеть на веки вечные исторический момент посещения ресторана.

Как-то сидел я в Хабаровске в ресторане «Уссури», сидел себе, спокойно кушал, а вокруг черт-те что творилось. Можно было подумать, что собрались сплошные фотокорреспонденты и идет прием какого-нибудь африканского начальника.

Вообще-то ребят можно понять. Когда полгода загораешь в палатке или в кубрике, и кушаешь прямо из консервной банки, и вдруг видишь чистые скатерти, рюмочки и джаз-оркестр, ясно, что хочется увековечиться на этом фоне.

Но я этого не люблю, не придаю я большого значения этим событиям, ресторанов я на своем веку повидал достаточно. Правда, когда молодой был, собирал сувениры. Была у меня целая коллекция: меню на трех языках из московского «Савоя», вилка из «Золотого Рога» во Владивостоке, рюмка из магаданского «Севера»... Молодой был, не понимал. Все это ерунда на постном масле, но, конечно, приятно закусывать под музыку.

Ленька сделал шесть или семь снимков. В последний раз я плюнул на все и прямо обнял Люську, прижался лицом к ее лицу. Она и не успела вывернуться, а может быть, и не захотела. Честно говоря, я просто не понимал, что с ней стало в этот вечер. Она стала такой, что у меня голова кругом шла, какие там серьезные намерения, я просто хотел ее любить всю жизнь и еще немного. Наверное, во всем этом апельсины виноваты.

— А вам я сделаю двойной портрет,— сказал Ленька.— Голубок и голубка. Люби меня, как я тебя, и будем мы с тобой друзья.

Я только рот раскрыл, даже ничего не смог ему ответить. Окаянные апельсинчики, дары природы, что вы со мной делаете?

— Люська,— шепнул я ей на ухо.

Она только улыбнулась, делая вид, что смотрит на Юру.

— Люська,— снова шепнул я.— Нам комнату дадут в Фосфатке.

А Юра потребовал себе вазу. Он сложил свои апельсины в эту художественную вазу зеленого стекла, придвинул ее к себе и, закрываясь ладонью, искоса глядя на оранжевую гору апельсинов, пробормотал прямо с каким-то придыханием:

— Сейчас мы их будем кушать...

Наконец Эсфирь Наумовна вылезла к нам из трясущейся толпы танцоров. Она подала мне две бутылки «Чечено-ингушского» и, пока я их открывал, стояла рядом, заложив руки под передник.

— Какая у вас невеста, Витенька! — приговаривала она.— Очень замечательная девочка. Вы имеете лучшую невесту на берегу. Витя, это я вам говорю.

— Только последнюю, Эсфирь Наумовна, ладно?

— Да-да, Витя, что вы?

— Дайте слово, что больше не будете, Эсфирь Наумовна!

— Чтоб я так здорова была!

Я налил ей рюмочку, и она ушла, спрятав ее под фартук.

— Почему она пьет? — шепотом спросила Люся.— Что с ней?

— У нее сын утонул. Они вместе плавали на «Чичиреве», она буфетчицей, а он механиком. Ну, она спаслась, а он утонул. Моих лет примерно паренек.

— Господи! — выдохнула Люся.

Она вся побелела и прикрыла глаза, закусила губы. Вот уж не думал...

— Хорошо, что ты не моряк,— зашептала она.— Я бы с ума сошла, если бы ты был моряком.

— Спокойно,— сказал я.— Я не моряк, на земле не тонут.

«На земле действительно не тонут»,— подумал я. На земле другие штуки случаются, особенно на той земле, по которой мы прокладываем свои маршруты. Я вспомнил Чижикова,— он сейчас мог бы сидеть вместе с нами и апельсинчики рубать.

Тут я заметил, что Леня, Чудаков и Евдощук шепчутся между собой и поглядывают куда-то довольно зловеще. Проследив направление их трассирующих взглядов, я понял, в чем дело. Далась же им эта Катя. Черт знает что в голову лезет этим парням! Они не знают, что Катька и при муже чаще всего танцует с Калчановым. Калчанов хорошо танцует, а наш Айрапет в этом деле не силен.

Но тут я заметил, что танцуют они не просто так, а так, как мы танцевали с Люськой, только физиономии мрачные, что у него, что у нее. Что-то там неладное происходит, ясно. А где же Сергей?

А Сергей сидит в углу, как пулемет, направленный на них, прямо еле сдерживается парень. Только наших тут еще не хватало.

Я поднял какой-то тост и переключил внимание публики на Юру, который даже не смотрел в сторону мясного, да и выпивкой не очень интересовался, а только рубал свои апельсинчики так, что за ушами трещало.

— Ну, Юра! — смеялись ребята.

— Ну и навитаминился ты! Считай, что в отпуск на юг съездил.

— В эту самую Марокку,— сказал Евдощук.

— Эй, Юра, у тебя уже листики из ушей растут!

В зале было жарко и весело. Многих из присутствующих я знал, да, впрочем, и все остальные мне казались в этот вечер знакомыми. Какой это был пир в знойном апельсиновом воздухе, если еще представить себе окружающее пространство: сотни километров на юг (лед и черная вода), сотни километров

на север (снег, снег, снег!). Я выбрал самый большой апельсин и очистил его так, что он раскрылся, как бутон.

— Пойдем танцевать,— сказала Люся.

Она встала и пошла вперед. Я нарочно помедлил, и, когда она обернулась, заметил, какая она вся, и подумал, что жизнь Виктора Колтыги на текущий момент складывается неплохо, а если бы еще сегодня скважина дала нефть и началась бы обычная для этого дела сенсация, то я бы под шумок провел недельку с Люською...

Почему-то я был уверен, что именно сегодня, именно в эту ночь в нашем миленьком распадке ударит фонтан.

— Тебе хорошо? — спросил я Люсю.

— Мне никогда не было так,— прошептала она.— Такой удивительный вечер! Апельсины... Правда, хорошо, когда апельсины? Я хотела бы, чтоб они были всегда. Нет, не нужно всегда, но хоть иногда, хотя бы раз в год...

Говорите мне о любви,
Говорите мне снова и снова,
Я без устали слушать готова,
Там-пам-ра-ри...

Опять я не мог разобрать последних слов.

— Пэйду еще раз поставлю эту пластинку.

— Она уже всем надоела.

— Надо же разобрать слова.

Это была не пластинка, а покоробленная рентгеновская пленка. Звукосниматель еле справлялся с нею, а для того, чтобы она крутилась, в середине ее придавливали перевернутым фужером.

16. НИКОЛАЙ КАЛЧАНОВ

Я громко читал меню:

— Шашлык из козлятины со сложным гарниром!

Конечно, кто-то уже нарисовал в меню козла и написал призыв: «Пожуй и передай другому».

— Коктейль «Загадка»,— читал я.

— Конфеты «Зоологические».

Катя веселилась вовсю.

— Сережа, ты уже разрешил все загадки? — спрашивала она.— Наверное, ты уже съел целого козла. Я слышала, в сопках стреляли, наверное, специально для тебя загнали какого-нибудь архара. Колька, я правильно говорю: архара, да?

Сергей вяло улыбался и грел ее руки, взяв их в свои. Он был налитой и мрачный, должно быть, действительно много съел, да и выпил немало.

Когда мы заходили в столовую с галантным бичом, Костюковским, Сергей был еще свеж. Он ужинал вместе с заведующим, они чокались, протягивали друг другу сигареты и смеялись. Приятно было смотреть на Сережу, как он орудует вилкой и ножом, прикладывает к губам салфетку. С таким человеком приятно сидеть за одним столом. Он махнул нам рукой, но мы чокнулись с Костюковским и пошли обратно в очередь.

Я, должно быть, еще мальчишка: меня удивляет, как Сергей может быть таким естественным и свойским в отношениях с пожилыми людьми традиционно начальственного вида. Я просто теряюсь перед каракулевыми воротниками, не знаю я, как с ними нужно разговаривать, и поэтому или помалкиваю, или начинаю хамить.

Когда мы втроем прилетели в Фосфатогорск, Сергей как раз справлял новоселье. Он был потрясен тем, что мы приехали сюда, я и Арик, и, конечно, был потрясен Катей. А меня потрясло то, что Сергей стал моим начальником, и, разумеется, все мы были поражены его квартирой, уголком модерна на этой бесхитростной земле.

Конечно, мы были приглашены на новоселье. Мы очень монтировались, как говорят киношники, со всем интерьером. Как ни странно, начальники и их жены тоже хорошо монтировались. Одну я сделал ошибку: пришел в пиджаке и в галстуке. Сергей мне прямо об этом сказал: чего, мол, ты так церемонно, мог бы и в свитере прийти. Действительно, надо было мне прийти в моем толстом свитере.

Сергей обносил всех кофе и наливал какой-то изысканный коньячок, а начальники, в общем-то, милые люди, вежливо всему удивлялись и говорили: вот она, молодежь, все у них по-новому, современные вкусы, но ничего, дельная все-таки молодежь. Ужасно меня смешат такие разговорчики.

Когда мы снова вошли в столовую уже с апельсинами в руках, Сергей сидел один. Мы подошли и сели к нему за стол. Он был мрачен, курил сигарету «Олень», на столе перед ним стояла недопитая рюмка, рядом лежал тихо пиликающий приемник, а возле стола на полу валялась кожаная куртка и яйцевидный шлем. Бог его знает, что он думал о себе в этот момент, может быть, самые невероятные вещи.

— Доволен? — сказал он мне.— Доказал мне, да? Высек меня, да?

— Угости меня чем-нибудь, Сережа,— попросил я.

— Пей.— Он кивнул на бутылку.

Я выпил.

— Женщине сначала наливают.

— Моя ошибка,— сказал я.— Давай, значит, так: ты грей женщине руки, а я буду наливать женщине.

Он выпустил ее руки.

— Удивляешь ты меня, Калчанов.

Катя подняла рюмку и засмеялась, сузив глаза.

— Он тебя еще не так удивит, подожди только. Сегодня день Калчанова, он всех удивляет, а завтра он еще больше всех удивит.

— Катя,— сказал я.

— Ты ведь думаешь, он просто так,— продолжала она,— а он не просто так. Он талант, если хочешь знать. Он зодчий.

Я молчал, но мысленно я хватал ее за руки, я умолял ее не делать этой вивисекции, не надо так терзаться, молчи, молчи.

— Это ведь только так кажется, что ему все шуточки,— продолжала она.— У него есть серьезное дело, дело его жизни...

— Неужели в самом деле? — поразился Сергей, с удовольствием помогая Катиному самоистерзанию.

— Конечно. Он дьявольски талантлив. Он талантливей тебя, Сережа.

Сергей вздрогнул.

— Пойдем-ка танцевать,— сказал я, встал и потащил ее за руку.

— Ты зачем это делаешь? — спросил я, обнимая ее за талию.

Она усмехнулась.

— Пользуюсь напоследок правом красивой женщины. Скоро я стану такой, что вы все со мной и разговаривать не захотите.

От нее пахло апельсиновым соком, и вся она была румяная, юная, прямо пионервожатая из Артека, и ей очень не шел этот тон «роковой женщины». Мы затерялись в толкучке танцующих, казалось, что нас никто не видит, казалось, что за нами никто не наблюдает, и мы снова неумолимо сближались.

Крутился перевернутый фужер на проигрывателе, края пластинки были загнуты вверх, как поля шляпы, но все-таки звукосниматель срывал какие-то хриплые, странные звуки. Я не мог различить ни мелодии, ни ритма, не разбирал ни слова, но мы все-таки танцевали.

— Успокоилась?

— Да.

— Больше этого не будет?

Я отодвинулся от нее, насколько позволяла толкучка.

— Давай, Катерина, расставим шашки по местам, вернемся к исходной позиции. Этот вариант не получается, все ясно.

— Тебе легко это сделать?

— Ну, конечно. Все это ерунда по сравнению с теми задачами, которые... Точка. Ведь ты сама сказала: у меня есть большое дело, дело моей жизни.

— А у меня есть прекрасная формула, «но я другому отдана и буду век ему верна». И, кроме того, я преподавательница русского языка и литературы.

— Ну, вот и прекрасно!

— Обними меня покрепче!

Без конца повторялась эта загадочная пластинка, ее ставили снова и снова, как будто весь зал стремился к разгадке.

— Этот вечер наш, Колька, договорились? А завтра — все... Не каждый день приходят сюда пароходы с апельсинами.

Горит пламя — не чадит,
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит,
Тратит меня, тратит...

Я вспомнил тихоголосого певца, спокойного, как астроном. Мне стало легче от этого воспоминания.

Жить не вечно молодым,
Скоро срок догонит,
Неразменным золотым
Покачусь в ладони...

Я построю города, и время утечет. Я сбрею бороду и стану красавцем, а потом заматерелым мужиком, а потом... Есть смысл строить на земле? Есть смысл!

Потемнят меня ветра,
Дождиком окатит,
А она щедра, щедра,
Надолго ли хватит...

А пока еще мы не знаем печали, не знаем усталости, и по темному узкому берегу летят наши слепящие фары, и наши пузатые самолеты, теряя высоту, опускаются на маленькие аэродромы, и в шорохе рассыпающихся льдин, гудя сиренами, идут в Петрово и Талый ледоколы, и вот приходит «Кильдин», и мы с Катей танцуем в наш первый и последний вечер, а что здесь было раньше, при жизни Сталина, помни об этом, помни.

Катя была весела, как будто действительно поверила в эту условность. Она, смеясь, провела меня за руку к нашему столу, и я тоже начал смеяться, и мы очень удивили Сергея.

— Ты не джентльмен,— резко сказал он.

Пришлось встать и с благодарностью раскланяться. Какой уж я джентльмен? Сергей изолировался от нас, ушел в себя, и я, подстраиваясь под Катину игру, перестал его замечать, придвинулся к ней, взял ее за руку.

— Хочешь знать, что это такое?

— Да.

— Если хочешь знать, это вот что. Это — душное лето, а я почему-то застрял в городе. Я стою во дворе десятиэтажного дома, увешанного бельем. На зубах у меня хрустит песок, а ветер двигает под ногами стаканчики из-под мороженого. Мне сорок лет, а тебе семнадцать, ты выходишь из-под арки с первыми каплями дождя.

— Простите, керя,— кто-то тронул меня за плечо.

Я поднял голову. Надо мной стоял здоровый парень с пакетом апельсинов в руках. Это был один из дружков Виктора Колтыги, один из партии Айрапета.

— Вечер добрый,— сказал он и протянул пакет Кате,— это вам.

Она растерянно захлопала ресницами.

— Спасибо, но у меня есть. Зачем это?

— Для вашего мужа Айрапета Нара... Нара...

— Нарайровича,— машинально подсказала Катя.

Он поставил пакет на стол.

— Есть такая инту... инду... индукция — не индукция, что нефть сегодня ударит. Может, в город приедет ваш муж, а ему фрукт нужен, как южному человеку.— Он помялся еще немного возле нас, но Катя молчала, и он пошел к своему столу. Я заметил, что с их стола на нас смотрят. Я увидел, что в Кате все взбаламучено, что в ней гремит сигнал тревоги, что ей нигде нет приюта, и я принял удар на себя. Я снова взял ее руку и сказал:

— Или наоборот,— дожди, дожди, дожди, переходный вальс в дощатом клубе. Я пионер старшего отряда, меня ребята высмеивают за неумение играть в футбол, а ты старшая пионервожатая, ты приглашаешь меня танцевать...

Сергей ударил меня ногой под столом. Я несколько опешил: что тут будешь делать, если человек начинает себя вести таким естественным образом?

В этот момент к нам протолкались с криками и шутками Стасик и Эдька Танака. Они свалили на стол свои апельсины, и Эдик стал жаловаться, что его девушка обманула, не ответила на чувство чемпиона, можешь себе представить, и, мало того, танцует здесь, на его глазах, с другим пареньком, танцует без конца под одну и ту же идиотскую пластинку.

— Понимаешь, я снимаю эту пластинку, а он подходит и снова ставит, я снимаю, а он опять ставит. Я его спрашиваю: нравится, да? А он говорит: слов не могу разобрать. А все остальные кричат: пусть играет, что тебе жалко, надо же слова разобрать! Дались им эти слова!

— Пейте, ребята,— сказал я,— коктейль «Загадка».

— Роковая загадка,— сказал Стасик, отхлебнув.— Жалею я, ребята, свой организм.

За столом воцарилось веселье. Пришла Эсфирь Наумовна и что-то такое принесла. Эдька и Стаська рассказывали, с какими приключениями они ехали и какой ценой им достались апельсины, а я им рассказывал о своей богатырской схватке с Костюковским. Сергей все доказывал ребятам, что я сволочь, они с ним соглашались и только удивлялись, как он поведет назад свой мотоцикл.

А Катя тихо разговаривала с Эсфирью Наумовной. Я прислушался.

— Он был такой,— говорила Эсфирь Наумовна,— всякие эти танцы-шманцы его не интересовали. Он только книги читал, мой Лева, и не какие-нибудь романы, а всевозможные книги по технике. У него даже девочки не было никогда...

Я не знал, о чем идет речь, но понимал, что не о пустяках. Катя внимательно слушала подвыпившую официантку. Она была бледна, и пальцы ее были сжаты, не было сил у меня смотреть на нее, и в это время из толпы танцующих выплыло заросшее черной бородой лицо Айрапета.

Катя вскочила. Ее муж, медленно переставляя ноги, подошел к нам.

— Здравствуй, девочка,— сказал он и на секунду прижался щекой к ее щеке.

— Арик, дружище! — заорал Сергей, тяжело наваливаясь на стол и глядя, как ни странно, на меня.

— Привет, ребята! — весело сказал Айрапет и опустился на стул.— Дайте чего-нибудь выпить.

Я видел, что усталость его тяжела, как гора, что он прямо подламывается под своими улыбками.

— Коктейль «Загадка»,— сказал я и подвинул ему бокал.

— Что я вам Угадай-ка, что ли? — сострил он.— Дайте коньяку.

Сзади медленно, деликатно приближались люди из его партии. У них прямо скулы свело от нетерпения.

— Ну, Арик? — спросила Катя.

— Ни черта! — махнул он рукой.— Сернистая вода. Все напрасно. Завтра встанем на новый маршрут.

17. А ЗАВТРА...

Кончился апельсиновый вечер. Будьте уверены, разговоров о нем хватит надолго. А завтра... Впереди пойдут бульдозеры, за ними тракторы-тягачи потащат оборудование— вышку, станок, трубы... Может быть, вертолет перебросит часть людей, и они займутся расчисткой тайги для буровой площадки. К вечеру люди влезут в спальные мешки и погрузятся в свои мечты. Может быть, Витя Колтыга найдет время полистать журнал «Знание — сила», а уж Базаревич-то наверняка поваляется в снегу, а Кичекьян закроет глаза и услышит гремящий фонтан нефти.

Синоптики предсказывают безветренную погоду.

— Больше верьте этим брехунам,— ворчат на «Зюйде».

Вслед за ледоколом в шорохе размолотого льда пойдет флотилия сейнеров. Ледокол выведет их к теплому течению и даст прощальный гудок. У Геры Ковалева руки, как доски, трудно ему держать карандаш.

— Талант ты, Гера. Рубай компот,— скажут ему вечером в кубрике Иван, и Боря, и Валя Костюковский.

Может, кому-нибудь и помогает крем «Янтарь», но только не Люсе Кравченко. Поплывут по ленточному транспортеру кирпичи. Все выше и выше поднимаются этажи. Кран опускает контейнеры прямо в руки девчат.

Еще один контейнер, еще один контейнер, еще один этаж, еще один дом, магазин или детские ясли, и скоро вырастет город, и будет в нем памятник Ильичу, и Люся после работы со своим законным мужем Витей Колтыгой пойдет по проспекту Комсомола в свою квартиру на 4-м этаже крупноблочного дома. Вот о чем думает Люся.

— Эй, мастер, нос обморозишь! — крикнет Коля Марков задумавшемуся Калчанову, и тот вздрогнет, сбежит вниз по лесам, «прихватывая» подсобников.

— «Евгений Онегин — образ лишнего человека»,— продиктует Катя Пирогова тему нового сочинения.

Кончился апельсиновый вечер.

Завтра все войдет в свою рабочую колею, но пока...

18. ВИКТОР КОЛТЫГА

Все равно это был лучший вечер в моей жизни. Индукция меня подвела, шут с ней. Я сказал Люсе, что люблю находить, наверное, наврал. Я больше люблю искать.

— Значит, завтра опять уходишь? — спросила она.

— Что же поделаешь.

— Надолго?

— На пару месяцев.

— Ой!

— Но я буду приезжать иногда. Здесь недалеко.

— Правда?

— Впрочем, лучше не жди. Будет тебе сюрприз. Люська, скажи, ты честная?

— Да,— прошептала она.

Мы вышли из столовой и секунду постояли на крыльце, обнявшись за плечи.

Луна висела высоко над нами в спокойном темном небе. На площади перед столовой «Маяк» люди пыхтя поедали апельсины. Оранжевые корки падали в голубой снег. Бичам тоже немного досталось.

1962 г.
Дальний Восток—Москва.

Леонид Завальнюк

Песня о Дальнем Востоке

Променял я днепровские кручи,
Майский праздник вишневой пурги
На веселую стаю саранок,
На тревожную песню тайги.
Синева над Амуром сквозная,
Парохода далекий гудок.
Я тебя полюбил и не знаю,
Чем ты дорог мне, Дальний
Восток.
Может, тем, что ты молод беспечно,
Или тем, что ты мудрый, седой,
Что знаком ты со счастьем высоким
И с великой народной бедой.
Добрым словом друзей вспоминая,
Ты с врагами суров и жесток.
Я тебя полюбил и не знаю,
Чем ты близок мне, Дальний
Восток.
По нелегким дорогам шагая,
Сто земель благодатных прошел.
Находил я места и прекрасней,
Но роднее тебя не нашел.
Я молчу,
пред тобою немея:
Молчаливы любовь и восторг.
Даже в песне сказать не сумею,
Как ты близок мне, Дальний
Восток!

✲

Все на месте, все в порядке —
Акварель, карандаши..
Комплекс утренней зарядки,
Упражненья для души.
Он рисует возле Нила
Ярко-красных голубей,
Он рисует крокодила
Голубого голубей.
В чистой зелени лучистой
Солнце белое горит.
Не ругайтесь, колористы,
За ужасный колорит.
Перед вами он пасует,
Но не стойте на посту.
Он не Африку рисует.
Он рисует красоту.
И при чем тут звон понятий:
Нет таланта,
Есть талант!..
Мне, чем дальше, тем понятней
Всякий честный дилетант.
Я приветствую актера
За лирический кларнет.
Я приветствую шофера,
Написавшего сонет.
Я уверен, славя смелость
Неумелого пера,
Завтра будет не умелость,
А гармония мудра.
Не случайно же в болоте
Все увязли до ноздрей,
Кто в засаленной колоде
Тщетно ищет козырей.
Нынче козырь — пятой масти.
Остальные — тлен и мрак!
Тот, кто узок,
Тот не мастер.
Кто не личность,
Тот дурак.
Где-то там, в грядущем мире,
Чтобы много понимать,
Сам философ
Будет гирю,
Будет штангу выжимать.
И при чем тут звон понятий:
Нет таланта,
Есть талант!..
Мне, чем дальше, тем приятней
Всякий мирный дилетант —
Все, кто вырвался из цисты
Пережеванной трухи.

Так-то, братцы колористы,
Время браться за стихи!

✲

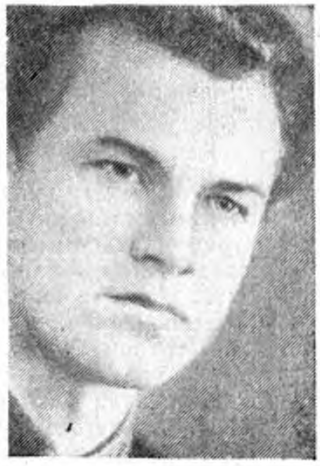
Артисты учатся у музыки,
А музыканты — у мозаики.
А я учусь у кошки Мурки,
Когда она охотой занята.
По сути,— смежное искусство.
Сюжет поимки мыши прост.
О, как несуетно, искусно
Она таскает их за хвост,
Осуществляя суд и месть!
Всегда взволнована до дрожи.
Таскает много их.
И все же
Не больше, чем способна съесть.
Вполне насытившись,
Она
Переключает вдохновенье
На жизнь двора.
Бегут мгновенья,
Коты забегали по крыше...
Ах, что за жизнь!
Забыты мыши.
На ближний тополь
Вспрыгнув ловко,
Она взлетает чуть дыша
И улыбается, плутовка!
Она уже не мышеловка,
А просто
вольная душа.

«Цыганка гадала, за ручку брала...».
(Из песни)

Что может дева молодая
Сказать такому молодцу?
Давай, тебе я погадаю
Не по руке, а по лицу.
Ты хочешь быть крутым, соленым,
Ты песни хриплые поешь.
Ты так боишься быть зеленым,
Что даже зреть перестаешь.
Но как ни буйствует гитара,
Как ни язвительны уста,
Душа твоя пока что — тара,
Тем и прекрасна, что пуста.
Еще пуста.
Смеясь над веком
И с вожделеньем глядя в лес,
Ты все же станешь человеком
Через любовный интерес.
Предвижу всякого немало.
И даже тот последний бой,
Где ты, шутя подняв забрало,
Падешь, сраженный сам собой.
И это будет цель и средство.
И душу ты пошлешь с сумой.
И станут корчи самоедства
Твоим спасеньем и чумой.
И многократно повторится
Стремленье мчать куда бог весть,
И смертный ужас раствориться,
И страх остаться в том, что есть.
И, словно лишний пар по трубам,
Умчится кровь твоей весны.
Ты будешь червем,
Будешь трупом,
Ты первый раз увидишь сны,
Где стала слава униженьем,
Где сладость легкая горчит.
И тут-то птица постиженья
Над белым полем прокричит.
Вставай!
Минутным озареньем
Боль отзовется у виска.
И станет силой и прозреньем,
Тобой
И третьим измереньем
Преодоленная тоска.
И ты, пролив потоки пота,
Чтобы постичь искусство жить,
Вдруг жизнь воспримешь как заботу,
Как божий дар
И как работу,
Которой надо дорожить!

Когда грядет канун зари
И новый день планеты,
Не полководцы,
Не цари —
Рождаются поэты.
В ночной тиши,
В лесной глуши,
На городской квартире
Они грызут карандаши
В мечтах о новой лире.
Но лиры нет,
И меры нет,
Чтоб выразить живое,
И разбивается поэт
Об стенку головою.
Он болью боль предвосхитил,
Сгорая безраздельно.
В ней напряженье всех светил.
Не трогайте:
Смертельно!
Не порицая, не дивясь,
Не трогайте руками.
Поэт — единственная связь
С грядущими веками.
Как обещание,
Как весть,
Как след чужой ракеты,
Как знак того, что «завтра» есть,
Рождаются поэты.

Рассказ



В. САМОЙЛОВ

ПАЙКА ХЛЕБА

Рисунок Е. Медведева.

Война. Глубокий тыл. Алтайский городишко, окруженный со всех сторон хребтами гор. Голодное, трудное время даже и в глубоком тылу...

1

Тощий, низкорослый, с огромным горбатым носом дневальный по фамилии Бубель грустными, как две большие маслины, глазами смотрит в окно.

В открытую форточку вползает сырость. Гряда гор размывается в сером тумане. Тонко посвистывая, «кукушка» тащит через переезд промокшие платформы с бревнами. Дорога блестит матовой слякотью. Виден двор комбината полиметаллических руд: разбросанные груды лома, вагонетки, проезжающие по рельсам и сваливающие малиновый от жара шлак по насыпи, толстые трубы, оплетающие серые корпуса, башни, башенки, подъемные краны, плывущие клубы пара....

Однажды в точно такой же серый, нудный день в этот город с юга Украины притащился эшелон: артиллерийская спецшкола, или, как ее называют между собой учащиеся, «войска наркомпроса» [1]...

Учащиеся, пареньки пятнадцати-шестнадцати лет, еще не отделавшиеся от мальчишечьих привычек, целый месяц жили в вагонах, пока руководство комбината не уступило школе двухэтажное здание общежития.

Почти каждое воскресенье несколько взводов, а то и батарей спускались в рудники комбината, где шефы использовали учащихся на вспомогательных работах.

Сегодня воскресенье, и батарея Бубеля где-то там, под землей. Бубель представляет себе штреки, в которых ему довелось побывать. В некоторых — ручьями вода, пронизывающие до озноба сквозняки. В последний раз он подвозил крепеж в штрек, где была сорокаградусная жара. «Как в Африке»,— выразился Егоров, длинный и сутулый, почти на полторы головы выше Бубеля.

Егоров сидит на последней парте. Бубель — на предпоследней. На контрольных по математике и огневой подготовке Бубель выручает Егорова: отодвигается в сторону так, чтобы решение было видно Егорову. Витька Егоров розовощек, светлоглаз и беловолос. У Бубеля щеки с темной желтизной, а черные волосы, точно войлок. Бубеля зовут «великий математик». Иногда он задает такие вопросы Джону, преподавателю математики, что Джон долго думает. Джон — это сокращенная кличка. Полная — Джонлогарифм.

Все преподаватели имеют клички: Пуф-пуф — географ, единственный из всех в школе толстый, с трудом передвигающийся человек, с двойным подбородком. Входя в класс, он тяжело переводит дыхание, хватается за грудь и, глотнув воздуха, выдыхает: «Пуф-ф!» Есть еще и Музыкальная ножка — жена Пуф-пуфа, красивая, ясноглазая физичка. Историк, и он же кладовщик, имеет две клички: Пикуль и Бальтийское море. Пикуль знает свои клички и беспощадно акатывает в журнал двойки за малейшие заминки при ответах. Зато когда он идет по двору, со всех форточек орут: «Пикуль, Пикуль!..» Поэтому Пикуль по двору всегда пробегает стремглав. Остальные преподаватели своих кличек не знают...

В Музыкальную ножку тайно влюблены почти все. И, может, поэтому по физике почти нет отстающих.

[1] Такие спецшколы существовали перед Отечественной войной и во время войны. В них обучались старшеклассники, решившие избрать военные специальности (артиллеристов, летчиков, моряков). Спецшколы готовили учеников к поступлению в военные училища. Ребята носили форму и наряду с общеобразовательными предметами изучали военное дело.

...Бубель поправляет противогаз, садится на подоконник, лезет в карман кителя за письмом и перечитывает его, наверное, в сотый раз.

«Светик мой, Мишенька! Мой ненаглядный, моя родная деточка, сынка!.. Как счастлива я, что живы, здоров. Как бы хотела взглянуть на тебя, хотя бы одним глазком. Если бы мог ты прислать фотографию! Я бы, кажется, не могла наглядеться... Дорога была ужасная, мой Мишенька. Война! Разве легкая могла быть дорога! Нас бомбили... Нас приютили добрые люди в одном казахском совхозе, в селении Уш-Тобэ...»

Веки у Бубеля становятся тяжелыми, и он вздыхает. Ему одному из первых удалось разыскать свою мать. Егоров вчера дико вбежал в казарму и, вертя перед самым носом письмом, закричал: «Танцуй!» Бубель танцевал, как бешеный. Их обступили ребята. Бубелю завидовали. Егорову тоже. Сам Егоров разыскал сестру дня на три раньше.

Мама просит выслать фотографию... Поэтому Бубель голоден. Он думает о ребятах, о Витьке Егорове, которые спустились в рудник, им хорошо. Их там будут кормить обедом. И здесь их тоже ожидает обед. Бубеля до самого завтра ничего не ожидает.

На радостях Бубель решил отмучиться сразу. Он еще вчера разыграл и ужин, и завтрак, и обед по лотерее. Лотерея — единственный способ раздобыть денег. Бубель расписал билеты, скрутил в трубочки, ссыпал в фуражку и объявил, что устраивает лотерею: полтинник за билет...

И вчера Бубель лег спать на голодный желудок. Ночью он просыпался, думал о матери и размышлял, как выберется на городской базарчик к фотографу. Хотелось получиться красивым. Он мысленно уже придумывал надпись. Оставшиеся фотографии он подарит ребятам, тоже с надписями. Например, с такими: «Лучшему другу юности... Помни, друг, суровые дни войны, проведенные в артспецшколе»... Так подписывали все. «Помни, друг...» Фуражку надо будет взять у Коли Быкова, она у него почти новенькая, китель — у Васи Резникова.

...В общем, осталось перетерпеть еще полдня, а там ночь — и... все в порядке. «Перетерпим!» — сбодряет себя Бубель и вот старается заглушить сосущую боль желудка тем, что рассматривает из окна казармы унылый пейзаж алтайского городка и читает письмо...

2

— Дневальный-ый! Где-сь ты е-эсть! — нараспев зовет уборщица, шлепая сбитыми туфлями по коридору с пустым ведром и веником.— Где-сь ты есть, дневальны-ый!

Бубель спрыгнул с подоконника, поправил противогаз и идет на крик. Он достал ключи и открыл двери казармы. Пока уборщица моет полы, он расхаживает по коридору и разглядывает на щитах примелькавшиеся вырезки из газет, плакаты, карикатуры: Гитлеру влетает снаряд в глотку, ворона на кресте фрица... А вот эту вырезку под заглавием «Таня» он не может перечитывать равнодушно. Грудь его заполняется глухой тоской и волнением. Он пытается представить, как бы вел себя на месте этой девушки. Но это почему-то трудно, очень и очень трудно представить.

По небольшой лестнице Бубель поднимается к дверям казармы своего взвода. Попытался перепрыгнуть сразу через три ступеньки и остановился, хватаясь за стену. В глазах поплыли темные круги, застучало в висках, на лбу выступила испарина.

Боже, как хочется есть!.. «Э-эх, поковыряться бы сейчас буханочкой в зубах»,— вспомнил Бубель любимую шутку учащихся спецшколы, вяло входя в казарму.

Между прочим, у них в спецшколе еще ничего. Хоть на завтрак суп с ржавой хамсой, а на обед жидковатый борщ, а на ужин едва подслащенный кипяток, все-таки и это ничего. Не надо забывать, что ежедневно семьсот граммов хлеба им отдают. В такое время...

Бубель забыл, зачем он вошел. Полы уже вымыты. Некрашеные половицы еще не просохли. Поэтому в казарме густой запах влаги. Проход между двухъярусными нарами узок. По нему можно пробраться только боком. Бубель открыл форточку, чтобы скорее просох пол, взялся за дверную ручку, и вдруг дохнувший сквознячок принес едва уловимый запах...

Запах ржаного, обычного солдатского хлеба, который выдают три раза на день к супу или кипятку...

От этого запаха, мешавшегося с сыростью половиц, с крепким, устоявшимся духом постелей, нар, одежды, махорочного дыма, засосало мучительной болью под ложечкой. Ноздри огромного носа Бубеля расширились. Отпустив дверную ручку, Бубель, чтобы не вспугнуть, не утерять этого запаха, принюхиваясь, осторожными шагами пошел вдоль нар.

Запах привел его к угловым нарам Егорова и Коли Быкова, помощника командира взвода. Бубель сел на нижнюю постель Егорова. Запах шел из-под изголовья. Очень хотелось есть. Зачем он сел и принюхивается? Ах, да... Он хочет взглянуть, чтобы прочно убедиться, что под изголовьем лежит хлеб и он не обманулся. Бубель приподнял изголовье.

В самом деле, там лежал хлеб. Две пайки. Примерно по двести граммов в каждой. «Вечерняя и утренняя»,— понял Бубель и вспомнил, что Егоров тоже собирается устроить лотерею и тоже хочет послать фотографию отыскавшейся сестре. И они вместе завтра собирались к фотографу.

Бубель задумчивыми глазами смотрел на хлеб. Запах был густой, вкусный. Чертовски вкусный для человека, не евшего со вчерашнего дня.

Бубель осторожно опустил изголовье, вздохнул с сожалением, поправил измятое байковое одеяло, запер дверь на ключ и вышел в коридор, где уборщица домывала пол. ...И снова Миша сидит на подоконнике и снова перечитывает письмо.

«Светик мой... мой ненаглядный... моя родная деточка...»

Миша уже не видит букв, не видит фраз, да и сам лист истрепанной бумаги расплывается в неясное белое пятно. «Дорога была ужасная... Нас бомбили...»

В голове тихо шумящая пустота. Во рту тошнотворный привкус. Все та же усиливающаяся острая боль в желудке. Двигаться нет ни малейшего желания. Миша невидяще смотрит на письмо, и в белом пятне, как в мираже, чудится ему еда в виде чего-то бесформенного: не то шипящая на сковороде яичница, не то буханка белого мягкого хлеба, не то еще что-то... Но потом все это заменяется пайкой хлеба, пайкой черного, ржаного хлеба в двести граммов весом, потом — двумя пайками... От запаха этих паек уже печет мучительно там где-то, под поясом, в отощавшем до невозможного животе.

Плохо, что Миша уже знает, где лежат эти пайки так умопомрачительно пахнущего хлеба. Вот стоит встать с подоконника, пройтись по только что вымытым половицам, подняться по ступенькам...

«Нет-нет! — пугается Миша своих мыслей.— Чтобы съесть хлеб товарища?.. Нет-нет! Скорее умру... Перетерпеть осталось совсем немного...»

Уборщица отдает ключи и, все так же шлепая сбитыми туфлями, идет по коридору, хлопает дверью. Все это отвлекает Бубеля от гнетущих мыслей. Снова хлопнула дверь, на этот раз на первом этаже. «Ушла»,— неопределенно подумал Миша, и вдруг с нестерпимой силой снова захотелось ему взглянуть на егоровские пайки, неудержимо захотелось снова ощутить этот живой запах, этот чудный запах, вдохнуть этот запах...

«Нет-нет... Я только взгляну... Да-да, только взгляну»,— уговаривал себя Миша, делая несколько шагов, оглядываясь по сторонам, вглядываясь напряженными глазами в сумрак углов и останавливаясь, противоборствуя своему желанию, снова страгиваясь с места и снова останавливаясь. «Нет-нет...»

Хлеб лежал на прежнем месте. Несколько крошек валялось рядом с пайками. Миша вдыхал сладкий, чудный запах, и едва приметная улыбка трепетала на его крупных губах. «Ни за что!.. Ни-ко-гда!..» Зачарованные глаза его остановились на крошках. «Даже крошку нельзя трогать, чтобы не дразнить себя»,— непреклонно решил Миша, а рука уже тянулась к крошке...

Мишино горбоносое лицо покрылось каплями пота. Так стоял он, терзаемый муками голода, несколько минут. В глазах помутилось. Крошки то расплывались до размера блюдец, то совсем исчезали. Миша нащупал крошку, съел, отыскал еще одну крошку. Спазмы стали тискать ему горло. Миша отломил едва приметный кусочек от пайки, еще кусочек, еще...

«Милый мой мальчик... светик мой, Мишенька... Война...» В глазах прояснилось, очертания нар становились четче... Вторую пайку Миша уже ел, не разламывая, как-то механически, вовсе не ощущая ни вкуса, ни запаха, и глаза его наполнялись тихим ужасом: как... как же это могло случиться?..

3

Учащиеся любили Мишу Бубеля. Он был незлопамятный, добродушный и к тому же остряк. По субботам, когда в столовой сдвигали столы и стулья, а в дверях стайками начинали толпиться девчонки с комбината и над головами звуки проигрывателя несли традиционное «Пря-яла наша Дуня, ро-овно три не-дели...», Миша первым выходил с партнером на середину и таким образом давал делу ход: одергивая кителя, прихорашивая чубчики, учащиеся двигались к дверям, расшаркивались перед девчонками, и уже через минуту низкий под сводами зал кипел: мелькали раскрасневшиеся щеки, блестели глаза, дыбом становились непокорные чубчики... Миша танцевал удивительно легко и красиво, а в перерывах рассказывал какой-нибудь анекдот. Рассказывал, как однажды с вывески магазина на него свалился мягкий знак и отбил ему плечо.

— И вы знаете, я обрадовался!

— Ха-ха-ха! Чему же ты обрадовался?!

— Что это был мягкий знак, а не твердый.

— Ха-ха-ха!

На праздничных вечерах остряк Миша единодушно выдвигался в конферансье.

В те дни в сердцах этих парнишек, затянутых в обтрепавшиеся кителя, клокотала священная месть. У большинства родные и близкие оставались в оккупации. Собравшись у репродуктора, учащиеся прислушивались к сводкам Совинформбюро и вели жаркие и бесконечные споры о том, насколько наши продвинулись, когда освободят родной город, и гадали, когда их перестанут держать на правах «войск наркомпроса» и направят на фронт. Еще они любили поговорить о еде. На эту тему могли говорить долго, особенно по вечерам, лежа на нарах, подложив руки под головы.

— Эх, братцы,— начинал кто-нибудь,— бывало, мамаша наложит мне пол-лную тарелку жареной кар-

тошки и кусок колбасы солидный отвалит. «Ешь, сынок, ешь!» А я вот дурак был! «Не хочу». Да, братцы, если бы сейчас то же самое мне предложили...

И пошли воспоминания... При той напряженной нагрузке военного времени — походы, стрельбища на полигоне, марши форсированные, марши обычные — этим растущим полумальчикам-полупарням «наркомпросовского» пайка было маловато. На еду могли спорить. Например, кто-нибудь ставил обед тому, кто съест пайку хлеба в течение двадцати шагов.

Часто по ночам какой-нибудь взвод поднимали по тревоге: разгружать эшелон с топливом или с мукой для комбината. И на всякий случай учащиеся сдирали с подушек наволочки: ведь обязательно какой-нибудь мешок лопнет — и не пропадать же добру. Потом они пекли пресные коржики, где и как придется, съедали и мучились от изжоги.

Пустой желудок... Враг номер... Впрочем, трудно поставить номер этому врагу... Учащиеся понимали, что находятся в более-менее сносном положении, чем многие-многие другие в этот тяжелый час испытаний. Они замирали, и глаза их, полудетские и уже постаревшие, загорались состраданием и ненавистью, когда на политинформации комиссар школы, сжав кулак, бросал в притихшую массу тяжелые, словно обрубленные слова:

— Ленинград в блокаде... Трудящиеся Ленинграда получают в день сто пятьдесят граммов хлеба и дают фашистам отпор... В Харькове повесили семнадцать партизан...

А они... А они ведь получали семьсот граммов! Семьсот граммов, когда ленинградцы задыхаются от голода... И чтобы прийти на помощь осажденным ленинградцам во всеоружии, учащиеся старательнее учились ходить ночью по звездам, корпели над книгами до истощения и с еще большей злостью кололи чучело штыком...

Перемигивались в ночи огни далекого алтайского городка... Учащиеся выходили на вечернюю прогулку, выстраивались в колонны. Над уставшим городом, будоража, волнуя тишь, будто бросая клич, перекатываясь эхом между хребтами гор, врубалось страстное:

...Пусть ярость бла-го-родная
Вски-пает, как волна-а!..

А перед сном, столпившись кучками на школьном дворе, под мерцанием далеких звезд, пели тихим, тоскливым хором, будто поверяя друг другу самое сердечное, сокровенное, бесконечно дорогое:

По-овий, витрэ з Украины,
Дэ покинув я-аа дивчину,
Дэ покинув ка-ари о-очи...
Повий, витрэ, о-опивно-оочи!

И может, и в самом деле пороховые ветры доносились сюда с Украины, может, и в самом деле кому-то мерещились очи, которые, может, давным-давно закрылись, мерещился далекий, погруженный во мрак перед надвигающимися сполохами зарниц — таким его оставили в последний день — город, его улицы, изувеченные, наверное, бомбежкой, площади, на которых враги вешали партизан... И там, наверное, никто не выдает паек, там нечего есть, там... А здесь... Здесь, как в мирное время, мигают огни на улицах, здесь еще можно жить, но и здесь, правда, есть все же хочется... И спать укладывались растревоженные... И в нахлынувшей дреме, забравшись под одеяло, повторяли заученное днем: «Буссоль ноль-ноль!.. Танки справа!.. Батарея, огонь!» Повторяли, чтобы не забыть, когда придет их час...

А кто-нибудь вдруг вставал среди ночи и тихо, ощупью рылся в своих скарбах. И были это какие-нибудь обшарпанные, захватанные-перезахватанные блокнотики, зазубренные перочинные ножички, фотографии, авторучки — единственное, что можно было взять с собой оттуда... Эти вещицы хранились как самое драгоценное, хранились как святая святых, потому что они связывали в какой-то степени с тем родным и далеким, что еще оставалось там, под топотом вражеских ног, потому что, вынув блокнот со стихами, можно было вспомнить, на чем он лежал, чьи руки его касались, увидеть можно было, вынув блокнот со стихами, родные лица и даже вспомнить, что ел ты в тот день... Эти вещицы были настолько дороги сердцу, что цены им не сложить. И если бы у кого пропала одна из сокровищных вещиц, это бы не возмутило все-таки так, не вызвало бы такого негодования, как исчезнувшие две пайки хлеба. По многим, по сложным причинам. Это был сложный вопрос...

4

Пошел мокрый снег. Снег падал, падал и падал, но туман от этого не рассеивался. Все этажи наполнились топотом и криками возвратившихся с рудников учащихся. В дальнем конце коридора новый «карнач» спешно выстраивал заступающих в караул. «Становись!» — зычно гаркнул карнач. И глухо звякнули приклады. А кто-то тонким, срывающимся голосом рассказывал, как у него потухла ацетиленовая горелка и он бродил в потемках шахты целый час, пока не наткнулся на какого-то шахтера. И, представьте себе, шахтером оказалась симпатичная такая девчонка!

— Ну ты хоть поцеловал ее? Под землею-то, эх!..

Пообедав, учащиеся разбрелись по казармам. Витька Егоров нес завернутую в лист тетрадной бумаги пайку хлеба.

— Братва, сегодня вечером устраиваю лотерею: три пайки и ужин! — весело кричал Егоров, пробираясь к своей постели и натыкаясь на свисающие со второго яруса ноги.— Завтра с Бубельком, значит, того — к фотографу.

— Валяй!.. Чур, первый: мне тоже — фото.

Большинство уже развалилось, нежась и потягиваясь, на своих нарах. Егоров снял китель, повесил на гвоздь, отвернул изголовье, чтобы спрятать принесенную пайку, и вдруг упавшим голосом крикнул:

— Ребята... Ребята...— Губы его дрожали.— Кажется, хлеб пропал... Две пайки!

Не веря, что пайки все же могли исчезнуть, Егоров стал шарить под одеялом, полез под нары.

В казарме возникла настороженная тишина. Коля Быков ожидающе свесился со второго яруса. Кто-то недоверчиво воскликнул: «Не может быть!» Обшарив все закоулки, Егоров встал.

— Пропал, ребята, хлеб.— Он принюхался: — Только запах остался.

Ребята спрыгивали с нар, обступали Витьку Егорова, и теперь, без кителей, в сорочках и подштанниках, они напоминали обычных мальчишек, взъерошенных и недоумевающих. Лицо Егорова постепенно краснело, светлые глаза его испытующе и с подозрением шарили по лицам товарищей. Заикаясь, он тыкал пальцем в пустое изголовье:

— Даже крошек... не оставил, подлец. А я... значит... вечером собирался разыграть...— И, поворачиваясь вокруг себя, снова испытующе смотрел то на Васю Резникова, то на Колю Быкова, то на Черткова, то на Дрейзина...

И каждый вдруг почувствовал себя до нелепости неловко. И, разгораясь, поднялся ропот. Каждому казалось, что, если он будет молчать, подозрение падет на него. Через минуту все с возмущением, размахивая руками, доказывали друг другу: какая это мерзость — украсть у товарища хлеб, какую же это надо иметь совесть... Некоторые строили предположения: может, кто из чужих.

— И это...— Егоров выругался.— Среди нас находится... м-мелкий воришка!.. И он мне сейчас смотрит в глаза!

— Ну, ладно!.. Хватит тут нас всех на крючок брать! — разозлившись и багровея широким, в мелких прыщиках лицом, крикнул помкомвзвода Коля Быков.— Если на то пошло, давайте займемся делом.— И он вызвал зачем-то Егорова в коридор.

Остальные, затихнув, поеживаясь от сквозняка, ломившегося в открытую форточку, мрачно поглядывая друг на друга, ждали, что же будет дальше.

Через минуту Коля заглянул, поманил первого попавшегося на глаза и тоже увел за дверь.

Каждому вызванному Коля и Егоров задавали только один вопрос: на кого он думает? И почти все, пожимая плечами, отвечали одно и то же: ну, на кого он может думать?.. Ну, ни на кого он не думает...

Казарма опустела, и оставался в ней только один Миша Бубель, спавший после смены глубоким сном или делавший вид, что спит.

— Что ж...— устало вздохнул Коля и нерешительно взглянул в сторону Мишиных нар; по совести говоря, ему уже надоел этот постыдный опрос, затеянный им же самим.— Миша вряд ли мог...— Но подозрение висело над всеми, и, вяло махнув рукой, Коля добавил: — Что ж, всех так всех...— И пошел к спящему Мише. Егоров последовал за ним.

Мишу тормошили долго. Стащили с него одеяло, а он все никак не мог проснуться или делал вид, что не может проснуться. В конце концов он сел, свесив ноги. Ему несколько раз повторили один и тот же вопрос, а он почему-то все мялся, не решаясь ответить. Лицо его, наверное, после сна было очень красное. Он избегал Колиного взгляда и, отвернувшись к стене, молчал. Что-то было неладное с Мишей. Ребята, столпившиеся в коридоре и заглядывавшие в щель, ничего не понимали.

— А может... Витька сам его съел, и все это утка,— не подымая глаз, едва внятно, будто у него присох язык, сказал Миша и стал еще краснее. Чем руководствовался Миша, какими чувствами, какими мыслями?.. Казалось, он пребывает в каком-то бреду.

— Ах, утка!..— вскричал Егоров.— Утка?! Так я, кажется, понимаю... Ты съел хлеб, ты!

— Я,— тихо проронил Миша и опустил голову. Ребята, толкая друг друга, втискивались в казарму, обступали уныло поникшего Мишу и глядели, точно пришибленные.

Было чертовски стыдно за Бубеля. Коля Быков тоже глядел ошеломленно: кто угодно, но только не Миша...

И вот так несколько минут они молча, во все глаза смотрели на Бубеля. Некоторые придвинулись поближе. Теперь с них снималось подозрение. Теперь бы, пожалуй, черт с ними, с этими пайками!.. Но это был сложный вопрос. В те дни, когда ленинградцы задыхались от голода и ели кошек, это был сложный вопрос... Украсть у товарища... А как же в окопах, там могут сидеть неделями без крошки?.. Можно ли довериться такому, быть рядом с таким?.. Эти слова произнес кто-то вслух. И Миша еще ниже свесил свою войлочную голову.

Слово было за Егоровым. Он подошел к Мише почти вплотную и ударил его в лицо. Миша не защитился. Большая голова его глухо стукнулась о косяк. Поникший и маленький, он принял прежнее положение, готовый безответно принять новый удар.

Было чертовски обидно всем за Бубеля. Но никто ничего не мог изменить. Егоров снова занес руку, но вдруг опустил ее, бросив с презрением и каким-то отчаянием: «Ах, черт с ним!» И вышел.

И все облегченно вздохнули. Все тоже по очереди, стараясь не прикоснуться к Мише, стали выбираться из тесного прохода. Ужасно неприятно было пробираться мимо Миши. Ребята застегивали кителя на все пуговицы, брали книги и конспекты и уходили в учебный класс на первом этаже. Они сели за свои парты и, стараясь не глядеть друг другу в глаза, сосредоточенно уставились в страницы... Но думали они, наверное, не о том, что было написано на этих страницах.

5

Ночью Бубель не спал. Об этом говорили те ребята, которые тоже не могли заснуть в ту ночь.

Днем дул свежий ветер. Учащиеся тягали свою пушку по полигону, разворачивали ее по команде: «Танки слева! Танки справа! Танки с тыла!» Орудийные расчеты делали все невпопад, и командир взвода, лейтенант с вкусной фамилией Ветчинкин, бравый и подтянутый, уже понюхавший пороха, имевший три осколка в бедре, удивлялся и сердился.

Миша Бубель уронил снаряд в грязь. У него все валилось из рук. Вкусную фамилию Ветчинкин учащиеся переделали на не менее вкусную — Колбаскин. Лейтенант Колбаскин, сдерживая гнев, отчитывал Мишу Бубеля:

— Михаил Бубель, вас что, подменили? Если вы будете мешкать там,— лейтенант указал за хребты гор,— от вас мало будет помощи.

Он сказал это, хотя знал, что Бубель может нырнуть под воду, а вынырнув, сообщить ответ решенной в уме задачи по сокращенной подготовке. И очень странно для лейтенанта было, что Бубель не сразу понимает, к какому ориентиру надо привязываться, путает команды и выглядит таким потерянным.

Обедать Бубель не пошел. И его порция осталась нетронутой. Когда все встали из-за стола, Коля Быков взял его котелок и отнес в класс, где поставил на парту Бубеля...

...Вечером самоподготовка. Обычно в перерыв кто-нибудь разыгрывал «шута горохового». Выходил к доске, скручивал билеты, ссыпал в шапку и предлагал вытянуть «шута горохового». Тот, кому попадался злополучный билет, на весь вечер оставался «шутом гороховым».

Но в этот вечер если учащиеся и собирались у доски, то больше молчали, натянуто и неловко. На Бубеля старались не смотреть. Он сидел одиноко за своей партой все три часа подряд и тупо глядел на крышку парты. Утром на уроке физики Музыкальная ножка с удивлением сказала:

— Что с вами, Бубель? Ведь вы у нас лучший... Один из лучших учащихся!..— И поставила ему двойку.

Балтийское море только удивленно повел носом,

ничего не сказал и тоже поставил двойку. Пуф-пуф ничего не поставил, а только укоризненно покачал массивной головой и, щуря добрые, усталые глаза, попросил, чтобы к следующему уроку Бубель все-таки подготовился.

Бубель сидел и смотрел на парту. Потом он ушел, а возвратившись, голосом, в котором ощущалась неприкаянность и тоска, предупредил Быкова, что заступает в караул вместо одного из парней пятого взвода.

Кто-то предложил Мише теплые носки, но он сделал вид, что не расслышал. Кто-то предложил телогрейку, но он отказался.

...И ночью грянул выстрел. За окном уже была зима. Ударил мороз неожиданно, и огни плавильных печей комбината мерцали красными искрами на много километров вокруг: на сугробах, на запорошенных снегом крышах домов, на схваченных узорами окнах школы... Учащиеся соскакивали с нар по тревоге, выстраивались вдоль стен коридора, а по рядам уже полз слух, что Миша Бубель застрелился. В конце строя кучкой столпились преподаватели. Музыкальная ножка судорожно сжимала руку мужа. Пробежал взволнованный лейтенант Ветчинкин. Потом появился командир дивизиона в своей кожаной тужурке, при оружии, с лицом напряженным и сердитым, подозвал командира батареи и приказал, чтобы никто не выходил из помещения до выяснения обстоятельств, а учащимся приказал разойтись и продолжать сон.

Да, продолжать сон...

Почти всю ночь свет горел в окнах школы. Стали известны подробности. Бубель отстоял свое время на посту у склада с провиантом, потом пришел разводящий со сменой. Бубель сдал пост, сказал: «Одну минуточку, я сейчас»,— зашел за угол склада, и тогда грянул выстрел... Разводящий говорил, что он даже слышал скрип Мишиных шагов...

6

Это было большое чепе... Утром, когда Мишин взвод строем шел к конюшне чистить лошадей, из окон неслись злые выкрики учащихся из других взводов: «Эх, вы, котелочники! Не могли уберечь человека... За пайку хлеба!» Попадавшиеся навстречу учащиеся плевались и старались обойти шагавший неровным строем Мишин взвод.

Теперь никто из взвода Бубеля не мог равнодушно смотреть на Егорова. Курсанты чувствовали себя виновниками смерти Миши, а Егорова, наверное, считали основным виновником. Ведь он бы мог просто промолчать, он бы мог... Это был сложный вопрос. В те дни это был чертовски сложный вопрос для этих парнишек. В том, что Бубель умер, сомневаться не приходилось. Пуля, хотя и прошла навылет, задела сердце. Он потерял много крови, и его увезли без сознания.

Егоров весь день лежал, не раздеваясь, на нарах. Он смотрел на доски верхнего яруса, поскрипывал зубами и бормотал бессвязно: «Если бы... если бы... кто знал!..» Его не трогали, только лейтенант Ветчинкин приказал дневальному: «Не спускайте с него глаз: одна беда может накликать другую».

И кто-то на самоподготовке затеял лотерею: разыграть ужин. Среди общего молчания Коля Быков подошел к парню, вырвал у него шапку с билетами и швырнул ему в лицо.

— Чтобы этого никогда больше не было! Слышишь?! — в бешенстве заорал Коля и сердито передернул плечами.— Мы уже не дети! До тебя это доходит?!

И в этот момент открылась дверь, и неровной гурьбой вошли лейтенант Ветчинкин, командир дивизиона и почти все преподаватели; в классе стало тесно, как на вокзале; и вошла еще школьный врач Аглая Анисимовна, женщина пожилая, крикливая, с всегда озабоченным лицом. Коля Быков крикнул было: «Смирно!»,— чтобы отдать рапорт, но командир остановил его движением руки, и учащиеся уселись за свои парты. С лицами напряженными и несколько обескураженными они ожидали вопросов и расспросов о том, как все произошло. Странно было, что лица вошедших выражают нетерпение и какие-то все чуточку просветленные. Аглая Анисимовна вышла вперед и сказала, что Бубель будет жить, но ему нужна кровь. Хлопая крышками, учащиеся повскакали со своих мест и окружили врача... Кто согласится отдать свою кровь?!. Да боже мой, любой, любой из нас, весь взвод согласится отдать свою кровь!..

7

В армии ввели погоны. Введены они были и в спецшколе. И чтобы погоны выглядели аккуратнее, учащиеся вдели в них картонки, а кое-кто и фанерки. Коля Быков нашил лычки сержанта. Пришло сообщение: ребята двадцать четвертого года, а среди них и Миша срочно направляются в артучилище, где ускоренная подготовка и потом — фронт.

Двадцать пятый год прощался с двадцать четвертым, не скрывая своей зависти: ему полагалось еще тягать свою пушку по улицам алтайского городка и все еще совершать обычный ритуал учащихся «войск наркомпроса».

Как с края света, стали приходить в Мишин взвод да и в другие взводы тоже треугольнички-письма, обычные, солдатские. Их зачитывали до дыр: двадцать четвертый год писал, что со дня на день ожидает направления на фронт, что учиться легко — школа дала многое,— что прямо-таки фактически делать нечего и надоела эта «маринóвка».

И ребята двадцать пятого года шумели: им тоже надоела «мариновка»! Но вот они стали готовиться к сборам. Собирали «святая святых» — вещицы, драили пятаки-монетки до зеркального блеска и выцарапывали на них место встречи, час и дату: место и время, когда соберутся, разделавшись с войной. Время выбрали с запасом, место — точно.

И в последний день, когда под звуки разрывавшегося от усердия оркестра они выстроились на школьном дворе, чтобы выслушать напутствие преподавателей и командира дивизиона, комиссара и начальника школы, а также «салажат» — младших учащихся,— в школу, в далекий алтайский городок, пришло письмо, проковылявшее многие тысячи километров.

Письмо было с фронта. В письме была всего-навсего вырезка из фронтовой газеты: «...Командир взвода разведки, гвардии младший лейтенант Бубель при выполнении очередного задания по стечению обстоятельств попал в тыл врага и обнаружил вражескую батарею конной тяги и несколько танков. Гвардии младший лейтенант Бубель принял смелое решение: со своими разведчиками он захватил батарею, в упор расстрелял танки и вместе с батареей ускакал в расположение своих войск...» Далее коротко сообщалось, что гвардии младший лейтенант Бубель награжден орденом Красного Знамени.

И двадцать пятый год и «салажата» тоже в каком-то буйстве кричали «ура» и подбрасывали друг друга. Потом, когда учащиеся погрузились в вагоны, они все прислушивались к перестуку колес, и казалось им, что поезд тащится ужасно медленно...

В ПАВИЛЬОНАХ МОСФИЛЬМА

На «Мосфильме» обычный будничный день.

— Всего каких-нибудь десять лет назад наша студия выпускала четыре-пять фильмов в год,— рассказывает заместитель главного редактора «Мосфильма» В. С. Беляев.— Да, да, в 1952-м, например, было только четыре. А теперь у нас ежегодно создается около тридцати полнометражных картин. Что о молодежи? Вот недавно вышел на экраны фильм «Мой младший брат» по роману В. Аксенова «Звездный билет»; следом за ним идут «Коллеги», тоже по аксеновской повести.

Ну, посмотрим, что у нас есть еще. «Половодье». О новом человеке в колхозной деревне. В главной роли снимается совсем юная актриса. А вот еще — «Шурка и его друзья». Фильм о сегодняшней городской молодежи. Автор сценария — недавний выпускник ВГИКа А. Агишев. Или «Утренние поезда», например. Тоже о молодежи. О любви и красоте. И режиссеры молодые — Ф. Довлатян и Л. Мирский. Читали в журнале «Знамя» очерки И. Зверева? Вот они послужили основой сценария «Что человеку надо?». Тема — жизнь молодых рабочих-строителей. Как видите, выбор богатый. Только набирайтесь впечатлений...

«Внимание! К съемке приготовились!»

Эти слова, произносимые командирским голосом режиссера, волшебно изменяют огромный сараеподобный павильон. На площадках и в коридорах зажигаются надписи: «Тихо! Идет съемка!» Лучами прожекторов высветлен бугор, поросший искусственной травой.

— Экран!

— Есть экран!

(За бугром резко обозначается эффектное малиновое небо.)

— Подгонка!

— Мотор!

Ассистент щелкает хлопушкой:

— Кадр тридцать семь два!

Алла КИРЕЕВА

Отстает ли поэзия?

Рисунки И. Оффенгендена.

1. «АТОМНЫЙ ВЕК» И ПОЭЗИЯ

Однажды академик Опарин привел любопытные факты.

«Один зарубежный ученый предложил в свое время представить всю историю человечества, применив своего рода масштаб примерно по такому же принципу, по какому составляются географические карты. Сократив всю историю человечества в один миллион раз (т. е. 1 : 1 000 000), мы можем сказать, что первобытный человек сделал первые рисунки на стенах своей пещеры позавчера. Рассуждая так, можно считать, что вчера в полночь пал Рим, а сегодня утром... заработала первая паровая машина. Всего лишь 23 минуты назад сдвинулся с места первый автомобиль. Шесть минут только прошло с того мига, как была сброшена атомная бомба на Хиросиму. И, наконец, нет еще и минуты после запуска первого советского спутника.

По этой своеобразной шкале видно, как стремительно нарастает темп развития человеческого общества. Чем дальше уходит оно вперед, тем все короче становятся исторические периоды. На миллионы лет растянулись многие доисторические эры, а как быстро в сравнении с ними сменили друг друга «век пара» и «век электричества»! Им на смену уже пришел «век атома»!»

Нетрудно заметить, что деления этой шкалы — великие открытия в области техники. А что же искусство? Что же литература? Отражается ли на ее развитии прогресс техники?

Ведь то и дело слышишь слова: поэзия века атома, стихи века электроники. И еще: нельзя писать так, как при Пушкине. И еще: наша литература (и в особенности поэзия) отстает от развития техники. А есть ли между всем этим прямая связь? Изменилась ли литература с открытием паровой машины, атомной энергии? Я думаю, этот вопрос с успехом можно было бы задать и иначе: изменился ли с этими открытиями человек? И в этом вопросе уже кроется ответ.

Наш современник живет в другом мире, он стал богаче и сильнее, но с точки зрения антропологии он мало чем отличается от современника Пушкина. Остались жить и чувства,

свойственные людям,— любовь, ревность, верность. Конечно, и они изменились, но не в своей основе, не в главном.

Человек так же, как и десятки и сотни лет назад, остается центром поэзии. Новый человек, живущий в новом мире, в новом обществе. И, говоря об истинной поэзии, об этом нужно помнить.

Как живет и развивается поэзия в наш стремительный и сложный век?

Трассы литературы сложны. Иногда рядом, в одной упряжке могут оказаться и мощный «ТУ-104», и атомный ледокол, и старенький, слепой мерин. За этим образом нет подтекста: говоря о «ТУ-104», мы не подразумеваем творчество Андрея Вознесенского; упоминая слепенького мерина, мы вовсе не имеем в виду Пушкина: поэты прошлого порою бывают современнее нынешних.

Речь идет о сложном и примитивном, о плохом и хорошем.

2. ПОЭЗИЯ И НЕПОЭЗИЯ. СОБЫТИЯ И ОТКЛИКИ

Есть поэзия. И есть нечто, написанное в рифму, то, что я условно назвала бы «непоэзия». Внешне она очень напоминает поэзию, она рядится в те же одежды, украшает себя рифмами и ассонансами, но, по сути дела, очень заметно отличается от истинной поэзии.

Нестихи порою ловко притворяются стихами, вытесняя их с журнальных и газетных полос. Они лезут на читателя со страниц газет, они глядят своими пустыми, бездумными глазами из сборников. Они нередко преследуют нас своими скрипучими и занудными голосами по радио, бесшабашными, лихими завываниями с подмостков эстрады...

И читатель без определенной культуры постепенно привыкает к ним, а потом начинает верить, что именно это и есть поэзия.

Беда в том, что стихи, написанные холодной рукой, вредны.

Прочтите, к примеру, вот эти строчки, посвященные высочайшей теме — коммунизму:

Он давно уже не призрак —
Плоть горячая, живая.
Он уже всем миром признан,
Он дорога столбовая.
Он давно уже не бродит,
А идет широким шагом,
Он живет в самом народе,
Как надежда, как отвага.

(М. ВЛАДИМОВ).

А вот еще:

Цифра порою звучит и поет
Красноречивей, чем песни
и гимны:
Трое девчат
Получили за год
25 000 пудов свинины!

(В. ПОДКОПАЕВ).

На нужные темы все это написано? Разумеется. А сами эти стихи кому-нибудь нужны? Сомневаюсь. Разве что автору да самой газете, опубликовавшей эти нестихи: как-никак, она «откликнулась» на события...

А ведь таких «откликов» в газетах все еще очень много. Каждое значительное событие в жизни страны вызывает целый поток таких холодных, ремесленных поделок.

Нам известны имена героев-космонавтов. Но в поэзии их по-

В ПАВИЛЬОНАХ МОСФИЛЬМА

(Продолжение)

И в ослепительном свечении дымящихся «юпитеров» к статному парню в морской форме бросается загорелая девушка. Юная, с широковатыми плечами. На простеньком платьице поблескивает Золотая Звезда Героя Труда. «Прогоняется» кадр из фильма «Половодье» — встреча с любимым Даши Стрешневой (Галина Яцкина). Молодой актрисе жарко. В перерыве между «дублями» гримерша пуховкой вытирает ее лицо. Я подхожу к Гале и прошу рассказать о себе.

— Рассказывать пока что нечего. Десять классов окончила в Саратове. Мечтала о театре. У нас многие мечтают о театре, стремятся к нему. Вот Олег Табаков из «Современника» тоже наш, саратовский. Сейчас я на первом курсе вахтанговского театрального училища.

— Простите, Галя, сколько вам лет?

— Когда меня пригласили сниматься, было семнадцать. А недавно я отметила свое восемнадцатилетие.

— Вам нравится ваша роль?

— Если бы не нравилась, я не согласилась бы играть в фильме. У меня был выбор. Но я предпочла этот фильм экранизации гранинского романа «После свадьбы». Почему? Да потому, что Даша — моя современница, ровесница моя. Простая, наивная. Она страстно любит труд, подвижнически предана своему делу, что и отмечено высокой наградой. Но, конечно, чисто человечески она до этой своей Звезды еще не доросла. Даша любит парня, с которым у нее много несходства. Став матерью, она даже подчиняется ему, его куцым идеалам. Только смерть председателя колхоза Прониной,

В ПАВИЛЬОНАХ МОСФИЛЬМА

(Продолжение)

Дашиной советчицы и друга, напоминает молодой женщине, что она незаметно потеряла себя. Личность Даши, не формальная, а человеческая, складывается только теперь.

На полпути к фильму

Его послали в город за дефициткой шестеренкой для канавокопателя, а он исчез на целых три дня, влюбившись в девушку. За это рабочие сурово судят своего товарища Феликса Фонякова. Звучат гневные реплики:

— А если бы он вез патроны?

Сидящий рядом человек с орденом Красной Звезды энергично кивает головой.

Но не выдерживает монтажница Варя Левчукова.

— Как же мы его судим, этого Феликса?.. Слухайте, он же влюбленный!.. В книжках за любовь люди помирают, под поезд кидаются, на другой край света едут... Мы читаем и думаем: от какие люди! А сами що делаем?.. Затюкали того Феликса, что он уже стал каяться, что полюбил! Ох ты, Феликс! Як же тебе не соромно? И вы, хлопцы... Неужели ж вам жалко было два дня лопатами покидать за ради щастя человека? То есть даже двоих людей?

Так товарищеский суд завершился танцами под радиолу. С участием Феликса Фонякова и его невесты.

Этот эпизод из фильма «Что человеку надо?» (режиссер — В. Герасимов, сценарий Зверева, Дукского и Фрида) еще не увидишь ни в съемочном павильоне, ни тем более в просмотровом зале. Мы не знаем даже, как будет выглядеть героиня Варя Левчукова. Она еще не обрела ни тембра голоса, ни особенных черт лица. В актерском отделе только подбирают фотографии возможных претенденток на главную роль. Режиссерский сценарий испещряется малопонятными для человека «с улицы» значками. Художники перерисовывают будущий фильм в кадрики. Делают макеты павильонных «объектов».

лет передавался чаще всего примитивными способами.

Целина стала обжитым краем. В стихах же она порою выглядит пустыней, от края и до края устланной литературными штампами.

Откликнувшись на событие, непоэт начинает считать себя удивительно современным. А на самом деле...

Читаешь газеты: вроде бы не пропущена ни одна тема. Но настоящих стихотворений очень мало. Часто стихи просто не соответствуют масштабам жизни, масштабам событий. А события, породившие необъятные рулоны стихов, продолжают жить, продолжают волновать людей.

Мне скажут: ну что ж, бывает... Поэт поторопился, хотел поспеть за событиями, поэтому и не получилось.

Но все дело в том, что поэт — если уж он считает себя поэтом-газетчиком — должен действительно жить жизнью страны, а не следить за ней со стороны. Тогда каждое событие в ее жизни будет его личным делом.

А если ты человек сторонний, лучше не пиши. Иначе своей холодной рукой больно заденешь людей за самое живое в их сердце. За самое дорогое.

...У каждого поэта есть стихи о Родине. Любовь к Родине может гудеть, может быть тихой и застенчивой, спрятанной глубоко в тайниках души, но она не должна (просто не может!) выражаться трескучими и равнодушными словами.

Не надо уговаривать читателя, что ты за Советскую власть. Ведь это должно само собой вытекать из всей жизни поэта, из всего его творчества. И вряд ли здесь нужны особые доказательства и клятвы — это так же естественно, как дышать воздухом, утолять жажду водой, голод — хлебом. Посмотрите:

По берегам леса расстелены,
Плотине в плечи бьет волна...
Смотри, страна: готово!
Сделано!
Любимая, возьми, страна!
Другой такой еще в природе
нет!
...Как хорошо мечту свершить,
Великий труд великой Родине
Отдать — вот это значит жить!..
Волна спешит, о берег клацая,
Стать песней, мощью и лучом,—
Шагает Электрификация,
Завещанная Ильичем...

Вот пример менее очевидной непоэзии (здесь есть даже изобретательные рифмы!). Из-за экономии места стихи В. Котова, написанные «лесенкой», я привела в таком виде. Думается, что они от этого не проиграли. Не станут они хуже, если даже мы сделаем с ними вот что:

Смотри, страна: готово!
Сделано!
Любимая, возьми, страна!
Плотине в плечи бьет волна,
По берегам леса расстелены.
Стать песней, мощью и лучом
Волна спешит, о берег клацая,
Завещанная Ильичем,
Шагает Электрификация!
И т. д.

Что изменилось? Ничего... Где же обязательность каждого слова, каждой строки? Ее нет. Теперь-то уж мы наглядно доказали, что стихотворение не рождено жаром души, а «составлено» из легко переставляющихся и распадающихся строчек. Оно строится, словно домик из детских кубиков. В таком домике можно поставить сверху синий кубик, а можно — красный. Можно весь домик сделать из зеленых кубиков, а можно — из желтых. Он от этого не проиграет.

Проигрывают стихи от другого.

Самая сложная рифма, самая яркая оркестровка стиха не могут прикрыть бедности мысли, не могут скрыть того, что стихотворение не наполнено чувством, не связано со временем.

Станиславский, воспитывая актеров, уделял огромное внимание воспитанию чувства эпохи. Однажды, готовя «Горе от ума», он дал задание режиссеру подготовить названия учреждений, где **мог бы** служить Фамусов.

А ведь можно было просто зазубрить текст и отрепетировать мизансцены. Но подлинное ис-

кусство — там, где есть глубокое чувство времени и понимание эпохи.

Если в поэзии есть эти драгоценные качества, то совершенно неважно, написаны данные стихи классическим размером или новым, с глагольными рифмами или «корневыми», — важно, что эти стихи волнуют, будят мысль. Действительность отражена сознанием поэта так, что читатель не может остаться в стороне, он воспринимает стихи как что-то свое, близкое, касающееся лично его.

Часто еще в наше время рядом на газетной полосе стоит поэзия и стихотворство (читай: непоэзия). И, увы, ненаметанный глаз не сразу сможет отделить одно от другого, ибо стихотворство стало сильным, оснащенным, опытным.

Казалось бы, что́ еще нужно, когда есть тема, причем тема прогрессивная, «правильная», есть рифмы, иногда даже свежие, короче, есть все компоненты поэзии — это ли не стихотворение?

Прежде чем ответить на это, необходимо отделить поэзию от внешних ее примет. Только приемы, пусть даже оригинальные, образы, ритмы — все это лишь техника, которой может овладеть любой усидчивый человек.

Даже не только человек...

3. СЕРЬЕЗНЫЙ СОПЕРНИК

Мы научились очень многому. Теперь можно с легкостью заменить мех синтетическим волокном, стекло — пластикатом; на Западе изготовляют даже нейлоновые торты для безработных.

Поговаривают, что кибернетические машины порой грешат поэзией.

В книге Кобринского и Пекелиса «Быстрее мысли» рассказывается такая история. Поэту В. Котову предложили познакомиться со следующими строчками:

Ночь кажется чернее кошки
этой.
Края луны расплывчатыми
стали,
Неведомая радость рвется
к свету,
О берег бьется крыльями
усталыми.
Измученный бредет один
кочевник,
И пропасть снежная его зовет
и ждет.
Забыв об осторожности,
плачевно
Над пропастью мятущийся
бредет.
Забытый страх ползет под
потолки,
Как чайка, ветер. Дремлет
дождь. Ненастье.
А свечи догорают...
Мотыльки
Вокруг огня все кружатся
в честь Бастер.

— Ну, что же, — сказал В. Котов, — стихи...

Но эти стихи, как сообщили ему авторы книги, были написаны машиной.

Робот заговорил.

Робот заработал.

И когда В. Котов осмыслил его литературную деятельность и ответил стихами, то эти стихи прозвучали настолько механически, настолько равнодушно, что показались еще более слабыми, нежели стихи робота. Даже огромное количество восклицательных знаков не изменило их к лучшему.

Нетрудно мне спорить, машина,
с тобой,
С твоей механической новью.
Мне,
человеку
с живою судьбой.

В ПАВИЛЬОНАХ МОСФИЛЬМА

(Продолжение)

Пока что есть принятый, или, как говорят на студии, «запущенный в производство», сценарий. История Вари, молоденькой монтажницы, сварщицы, бетонщицы, ушедшей от мужа, потому что у него «слишком маленькое сердце», и сурова и улыбчива. Это как бы драма, но написанная по законам комедии.

Что есть красота...

Бегут к Москве утренние электрички. Они летят по насыпи, скрываются в выемках, с грохотом проносятся под мостами кольцевой трассы. Из этих звуков постепенно рождается музыка. Так начинается фильм «Утренние поезда» (сценарий А. Зака и И. Кузнецова), съемки которого на студии подходят к концу.

Пассажиры утренних электричек, молодежь московских окраин — вот герои фильма. Это и неразлучная троица: Сева (Л. Прыгунов), Гена (В. Малышев), Толик (Реутов) — и наивная, инстинктивно стремящаяся к добру и красоте вчерашняя школьница Ася (ее играет знакомая нам по картине «Иваново детство» В. Малявина). В фильме много современных примет. Но молодежное кафе, где выступает композитор Микаэл Таривердиев, выросшие кварталы жилых домов, салон для новобрачных, цветные мотороллеры, хула-хуп и бадминтон — все эти разнокалиберные приметы нового быта преломлены в восприятии двух противостоящих друг другу групп сверстников. Потому что новый быт рождает не только романтиков-мушкетеров вроде Севы, Гены и Толика, но и новое

В ПАВИЛЬОНАХ МОСФИЛЬМА

(Окончание)

мещанство. Нет, Павел (артист А. Кузнецов) не похож на прежнего обывателя. Скажем, на скопидома-отца, от которого он сбежал тринадцати лет и который до сих пор судорожно держится за «свой дом» где-то в Юхнове. В азарте спора Павел зло бросает ему: «Вот собственник!.. Всю жизнь на деньги молится. Из-за дома этого проклятого мать загонял. Что, двести лет жить собираешься? Ну, кому, кому он к черту нужен!» Но в

этой искренней непримиримости детей и отцов нет победителя. Жизнь Павла, как и его отца, начисто лишена духовности. Если отец «вкладывал» деньги в дом, то сын тратил их на «изящную жизнь». Рестораны, такси, девочки... Была Тоня — будет Ася. Была Ася — будет... «Скучно живем»,—признается Павел приятелю, толстяку Славе.

В фильме сталкиваются два стиля жизни, два отношения к ней. Не между отцами и детьми, но внутри одного поколения двадцатилетних. «Мы работаем с ним на одном заводе, ходим через одну проходную,— думает вслух о Павле Сева.— Почему же мы так далеки друг от друга? Человек работает так же, как и я, живет, не ворует, не хулиганит, но почему мне так страшно за него? Куда он идет? Что с ним будет? Неужели и дальше он сможет жить этой пустой, бессмысленной жизнью?»

...Гаснет экран. Я выхожу из просмотрового зала. Уже глубокий вечер, но студия сверкает огнями съемочных павильонов. Рабочий день студии закончится поздно ночью.

О. ТИШИНСКИЙ

С памятью,
песней,
мечтой
и борьбой,
С ненавистью и любовью.

Забавно, что холодным перечислением абстрактных понятий (память, песня, мечта, борьба, ненависть, любовь) может быть обозначено не что иное, **как живая человеческая судьба.**

Верная мысль о том, что машина никогда до конца не заменит человека, могла быть запрограммирована той же машиной и решена ею с большим блеском.

А вот еще стихи:

Это не ива,
Это не верба,
Это наивно.
Это неверно.

И еще (из другого стихотворения):

Лютик — не лютик,
Цветик — не цветик,
Любит — не любит,
Встретит — не встретит,
Синее поле —
Розовый вереск,
Помнит — не помнит,
Верит — не верит,
Это не лютик,
Не мать-и-мачеха,
Любит — не любит:
Вся математика.

Кто автор: машина или поэт?

Это лирическо-ботанические изыскания. А вот патриотические:

Ты — песенка весеннего дрозда,
ты — запах розоватого ранета,
ты —
спутник,
ты — горящая звезда,
ты — солнце,
ты — летящая ракета!

Здорово?! Но как же однообразно, как заметно усердное старание сказать не так, как все. А живого человека за всем этим не чувствуешь. Ощущаешь только равнодушие, как известно, противопоказанное поэзии.

Так кто же автор: машина или поэт?

Приведены стихи молодого поэта Ю. Панкратова. В них нет ни грана индивидуальности, ни капли самостоятельности, а вместе с тем так называемые компоненты формы очень ярки.

В чем же дело? Чувство если совсем не атрофировано, то при-

ближается к нулю. Что происходит в душе поэта? Неизвестно. И поэтому кажется, что многие на вид вполне зрелые профессиональные стихи могла бы написать... машина.

Там, где нет человека, нет поэзии. Игра в ритмы, в рифмы, головокружительные версификационные фокусы, ей-богу, по плечу машине.

Серьезный соперник появился у поэтов! Даже не соперник, а своего рода лакмусовая бумажка. Она здорово помогает отличить истинную поэзию от даже умелой подделки.

А хорошо бы к праздникам заказывать стихи умному робо-

ту или заставлять его разбирать стихи непоэтов, наводняющих редакции своими уродливыми детищами!

Машина, сочиняющая даже блестящие стихи, равнодушна. Непоэзия и кибернетическая машина сродни друг другу. В книге Семена Сорина есть стихи «Разговор с кибернетической машиной».

Это ответ не только роботу-графоману, но и некоторым собратьям по перу:

Дьявольски ученая машина
С памятью, бессильной забывать,
Говорят, отныне ты решила
Хлеб у стихотворцев отбивать.
...Срифмовать «колхоз — совхоз» нетрудно,
Так же как — «стихов» и «петухов»,
Потому в стране ежесекундно
Тысячи рождаются стихов.
...Если ни на грош в стихах таланту,—
Напрямик никто не скажет — нет!
Платят по рублю литконсультанту
За дипломатический ответ.
Но опасность главная не в этом:
За стихом вымучивая стих,
Кое-кто считается поэтом,
А стихи — бездарнее твоих.
Вроде и метафоры, и ритмы,
А читать — задремлешь в тот же миг.
Ты хоть вычисляешь логарифмы,
Ну, а он? Он числиться привык!
Ты не обижайся, ты послушай:
Ты ведь не вольна в своей судьбе,
Ты ли виновата в том, что душу
Человечью не дали тебе?
...Ненависти нету между нами.
Умная, ученая, прощай.
Не моргай зелеными глазами.
Не губи поэзию. Считай!

4. ОТСТАЕТ ЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОЭЗИЯ?

С незапамятных времен и по сей день поэтов упрекают в том, что «стихи не идут». Верно ли это?

Спросите у самого строгого читателя, и он ответит: «Да, стихи не идут, да, поэзия отстает от жизни». А кто, кто конкретно отстает? И он ответит: «Да так... Вообще...»

Но скажите: упрекают ли в этом Твардовского? Асеева? Светлова? Мартынова?

Нет, не упрекают. Так в чем же дело?

Дело в том, что в «отставании поэзии», в том, что «стихи не идут», поэты, как это ни парадоксально, не виноваты.

Виноваты непоэты.

Есть поэзия, которая не только не отстает, но и идет впереди, идет в ногу с веком. И есть непоэзия, живущая за счет поэзии. Это о ней говорят: «Отстает». Это о ней говорят: «Плохие стихи». Это ее путают порой с поэзией.

Стихи могут нравиться и не нравиться. Но, по-моему, нет плохих стихов и хороших стихов. Могут быть стихи и нестихи.

Непоэт — явление распространенное. Он имеет свою историю, свою школу, своих последователей. У него даже есть своя биография.

Непоэт пишет в рифму, он знает порой великолепно, а чаще весьма плохо, законы стихосложения. Вначале он робко пробует писать стихи, и сердобольные литконсультанты говорят ему: «У вас неважно с рифмой».

«Ага,— соображает он,— все дело в рифме...»

И в другой раз приносит стихи с отличными свежими рифмами. Тогда ему говорят: «Плохо с образами...» И он пишет новые стихи с умопомрачительными образами. Приносит их опять. И слышит: «Нужны более разнообразные ритмы...»

Я сознательно упрощаю, но приблизительно таким путем в литературу приходит начинающий непоэт.

Он опубликовал уже два-три стихотворения. Его имя все чаще начинает появляться то тут, то там. Со временем начинающий непоэт начинает ходить в молодых непоэтах. Проходят годы. Он становится известным, потом маститым, а иногда и руководящим непоэтом.

А во времена Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока были непоэты? Конечно, были. И тогда поэзию тоже упрекали в отставании.

А отставала ли поэзия в то время?

Нет.

Отстает ли она сейчас от нашего стремительного века?

Тоже нет.

Отстает непоэзия.

Евгений Винокуров

Жажда

Прошла война. Рассказы инвалидов
Все еще по́лны до краев войны.
Казалось мне тогда — в мир не Эвклидов,
В мир странный были мы занесены.
Я думал, жизнь проста и слишком долог
Мой век. А жизнь кратка и не проста.
И я пошел в себя. Как археолог,
Я докопался до того пласта...
Я был набит по горло пережитым.
Страдания, сводившие с ума,
Меня расперли, так ломает житом
В год страшных урожаев закрома.

И шли слова. Вот так при лесосплаве
Мчат бревна.
Люди, больше я и дня
Молчать не в силах, я молю о праве
Мне — рассказать, вам — выслушать меня.
Я требую. О, будьте так любезны!
Перед толпою иль наедине.
Я изнемог. Я вам открою бездны,
В семнадцать лет открывшиеся мне.
Я не желаю ничего иного,
Сам заплачу́. Награды большей нет!..
Внутри меня тогда явилось слово
И ждало позволения — на свет.

— Так начинай же правду говорить!
Что, непривычно? Тяжело и ново?

Как это мало — просто рот открыть
И выдавить незначащее слово!

Дай правду подноготную. Добудь
Ее из недр. Одной лишь правды мало!

Все позабудь! Дай соль! Дай смысл! Дай суть!

Дай сущность нам!
Сойди во глубь подвала
С висячей лампой. Там, где много лет
Ты не бывал, а ну, согнись в поклоне,
Шарь, распрямись и вынеси на свет
Дрожащую крупицу на ладони.

Я был старателен, а все ж учился плохо.
Не мог постичь я таинства наук.
И бабушка не сдерживала вздоха
И слез при мысли, что бездарен внук.

Я ж как рыбак, что ожидает невод,
Ждал дневника, когда же отдадут?

И плакал я, коль попадался «неуд»,
И радовался тихо, если «уд».

А бабка говорила, словно с другом,
Во тьме ночей — и голосок дрожал! —
С Христом самим, с оплотом «нищих духом»,
К которым я тогда принадлежал...

Удивление

Как благодатно удивление! Как оно безумно!
Как оно благотворно! Как прекрасен удивляющийся человек, хотя несколько и нелеп.
Удивление патетично.
Способность удивляться — это дар.
Не каждый достоин его. Оно героично.
Что может быть на свете лучше, чем быть удивленным?
Оно в то же время и могуче:
Оно потрясает, как электрический разряд.
Оно обильно, как тропический ливень.
Прихотливо, как ручей.
Сколько нужно наивности для того, чтоб извлечь из удивления всю его бесконечную мудрость?

Оно в каком-то смысле и трагично,—
Оно беззащитно.
Есть недруги удивления. У них в глазах мертвая роговица.
Они подстерегают удивление, чтобы настигнуть и тут же на месте убить его.
Есть иерархия удивлений!
Кто знает, может, мы живем для некоего Великого удивления?
Я удивляюсь — значит, я жив.
Слава богу, нет слава богу, я еще способен удивляться.
О, мои удивленья! Я копил вас, как скряга,
Я собирал вас. Я дрожал над вами.
Я ведь чувствовал, что когда-нибудь,
Раздавив ваши тяжелые и обильные грозди,
Я добуду из них немного поэзии.

Сумасбродка

С трудом дотянувши до подбородка
Кашне, развеваемое сквозняком,
Я ей кричал:
— Вернись, сумасбродка,
Простудишься! —
И потрясал кулаком.
Пророк, я слова свои тратил даром,
Педант, я не смог свернуть с колеи.
Она разбивала одним ударом
Все сложные построенья мои.
И чудо! Весь мир оказался по сути
Другим совершенно. Он был иной!
Не жегся огонь, и не вел к простуде
Час, проведенный в воде ледяной.
Она неожиданно возникала
И, за руку взяв, кричала: — Бежим!
Характер, изогнутый, как лекало,
Был абсолютно непостижим.
Она всех дразнила, и кротость овечья
Моя ей тогда казалась смешна.
Лишь вечному духу противоречья
Была она, чуткая, подчинена.
И сам я поверил в ее поверья,
Что мир — это легкая кутерьма,
В которую входят звезды, деревья,
Книги, и дым, и она сама.

Привычки

Постепенно привычками я обрастаю.
Появилась вдруг этакая ленца:
Книга новая мне попадется —
листаю
Почему-то ее непременно с конца.
Стал я к целым пихать обгоревшую
спичку
В коробок.
Брови трудно поднявши к челу,
Навсегда приобрел за обедом
привычку
Хлебный мякиш ладонью водить по
столу.
Обрастаю привычками и ненавижу
Сам себя, что, усевшись, качаю ногой.
Если вдруг я задумаюсь, медленно
нижу
Скрепки в виде цепочки, одну за
другой...
Книги я расставляю в особом
порядке.
Все надежно налажено, как в
блиндаже.
Обрастаю привычками, вечные
складки
Образуются где-то глубоко — в душе.

Обы́денщина

Обыденщина, ты была всегда
Врагом моим. От самого начала,
Мне помнится, глубокая вражда
Все больше между нами назревала...
Матрасы продавали в магазине.
Несут матрасы. До такси несут!
А на матрасах, словно на трясине:
Попробуй только ляг — и засосут.
Истома тут же победит тупая,
Забудешь все, хватаясь за края,
Вдруг засыпая, точно утопая,
И ртом хватая чад небытия...
Обыденщина! Как зловеще слово?
Дремучее. Не вытащишь ноги.
Обычен суп. Обычен запах крова.
Обычна смерть. Обычны сквозняки...
Обычное, твои могучи сети!
Их не порвать. Тебя не победить!
Тот счастлив только, кто на этом свете
Умел летать, но не умел ходить.

Неудачи

Не надо говорить
О своих неудачах.
Кому это интересно?
Когда их слишком много,
Это даже стыдно.

Сегодня удивительно
Неудачный день.
Видно, что-то случилось
С машиной, отмеривающей
Неудачи.

Что-то сломалось,
Они посыпались на меня так,
Как не сыпались никогда.
— Вам завернуть? —
Спрашивает меня продавщица.
— Да,— отвечаю я,— да.
Пожалуйста. Будьте добры! —
И горло мне что-то сдавливает.
Я выхожу на улицу. Осень.
«Вот уж, как говорится,
Не повезет, так действительно
Не повезет!— думаю я.—
А все же надо бы
Кому-то рассказать.
Не жаловаться, нет!
А просто так, снять трубку
И кому-то сказать:
— Знаете, а мне что-то
Все не везет.
Да, что-то все не везет

И не везет. Не везет — и только.
Просто до смешного!»
Осень. Иду, отражаясь
В мокрой мостовой
Каким-то коротконогим,
Опрокинутым головою вниз.
«Фу ты, черт,— думаю я,—
Вот право...»
Батон под мышкою размок.
Поднимаюсь по лестнице.
Открываю дверь английским ключом.
В моей комнате
Никого нет.
Она холодная, пустая...
«Это осень, Таня,
Да, осень. И невезенье».

Женский голос

Вот живешь ты покоен, приличен,
Но случается так иногда:
Женский голос поманит, покличет —
И уйдешь, не спросивши, куда.
Будет небо безумно за кленом,
Поплывут облака наугад...
Назовут тебя люди влюбленным
За тяжелый, опущенный взгляд.
А под вечер весенний, птичий,
Лишь осядет березовый дым,
Женский голос, певучий, покличет,
Позовет — и уйдешь за ним.

Познай себя

Познай себя!
Да, хорошо советовать!

Я готов себя вывернуть так,
Чтобы для самого себя стать
объектом.
Тогда меня будет двое.
Можно даже основать целую
дисциплину,
Которая называлась бы «Я».
Можно изучать ее, как всякую
другую науку.
Можно даже сдавать по ней зачеты
С риском провалиться и остаться на
второй год.

Вот мой рентгеновский снимок:
Легкие — как серебристая вуаль,
Печень — как крепкая репа.
Вот анализы. Вот дневник.
В нем описание семейных пережи-
ваний
И разные приходившие в голову
мысли.

Люди стесняются, что они не ангелы.
Они выходят из реки, обмотавшись
махровым полотенцем.
Потом они поют на лавочке романсы
С таким видом, будто у них нет
пищеварения.

Вот мой рентгеновский снимок.
Вот анализы. Вот дневник.
Я постигну себя второго.
Но как я постигну себя первого?..

Терпимость к слабости людской

Терпимость к слабости людской
Наступит, рад не рад...
— Ты зол,— мне часто,— ты такой
Недобрый! — говорят.
За желчную недоброту
Еще держусь пока.
Ударит час — приобрету
Улыбку добряка.
Морщинки побегут, хитры,
К ушам из-под очков.
Уже не до былой игры
Жестоких желваков!
Порвется тоненькая нить
От совести к уму:
Понять — не значит ли простить?
Я все и вся пойму!
Порезы станут заживать
Со временем, и вот
Вдруг что-то доброе жевать
Мой будет добрый рот.
Умильность выдавлю из глаз.
И, не причастный к злу,
Неужто все-таки хоть раз
Не стукну по столу?!

Моими глазами

Я весь умру. Всерьез и бесповоротно.
Я умру действительно.
Я не перейду в травы, в цветы,
в жучков. От меня ничего
не останется. Я не буду участвовать
в круговороте природы.
Зачем обольщаться? Прах,
оставшийся после меня,— это не я.
Лгут все поэты! Надо быть
беспощадным. «Ничто» — вот что
будет лежать под холмиком
на Ваганькове.
Ты придешь, опираясь на зонтик,
ты постоишь над холмиком, под
которым лежит «Ничто»,
потом вытрешь слезу...
Но мальчик, прочитавший
мое стихотворение,
взглянет на мир
моими глазами.

К нашей вкладке

Виталий ГОРЯЕВ

Цветам — цвести!

Пожалуй, никогда еще Центральный выставочный зал столицы не предоставлял своих стендов для столь широкого показа произведений советских художников, как это было в конце 1962 — начале 1963 года.

Устроители выставки посвятили ее тридцатилетию Московской организации советских художников. Большинство включенных в экспозицию произведений живописи, графики, скульптуры по своей тематике охватило почти всю историю Советского государства.

Три десятилетия прошли с того момента, когда наши художники объединились, чтобы развивать советское искусство, следуя плодотворному методу социалистического реализма. Из разрозненных обществ художников пришли люди с разным пониманием традиций, представители различных школ, объединенные единой целью — служить своим искусством народу, строящему коммунизм.

Все эти годы лучшие советские художники были нераздельно связаны с народом, были летописцами его деяний и выразителями его дерзновенных мечтаний, воплощенных в решениях его передового отряда — нашей Коммунистической партии.

Но в период культа личности Сталина творческие возможности многих художников сковывались. В ходу были помпезные, лакировочные произведения. И тем сильнее оказался рывок вперед, к подлинному искусству жизненной правды после XX съезда партии, разоблачившего культ личности и его пагубные последствия. Перед нами открылись новые возможности расцвета изобразительного искусства во всем многообразии его жанров и стилей. XXII съезд КПСС конкретизировал задачи построения коммунизма, поставил новые великие цели, вдохновившие работников искусств, и обеспечил благоприятные условия для творческого подъема всех видов искусства в нашей стране.

К сожалению, мы имеем возможность показать на страницах журнала только немногое. Репродукция с картины П. Шухмина живо воскрешает романтику первых лет революции. Хорошо продумана композиция. Вы чувствуете, что изображенное на полотне — только часть большого события. Силуэты фигур на фоне белого снега создают определенное настроение. Вглядитесь в лица этих красноармейцев; вы их узнаете в пожелтевших от времени фотографиях ваших отцов и дедов.

Здесь немало картин, которые никогда не показывались на больших выставках. Если мы, взрослые люди, хорошо помним авторов многих из них, то молодежь знакомится с ними впервые. Вот, например, превосходный колорист К. Истомин. Он был несправедливо забыт в годы культа личности. Сегодня его «Вузовки» зажили новой жизнью. Картина сделана отличными живописными средствами, и здесь дело, пожалуй, не только в самих портретах. Черно-зеленый колорит комнаты подчеркивает пейзаж заснеженной Москвы за окном, и вы способны прямо-таки физически ощутить запах морозного утреннего воздуха.

Другой живописец, А. Пластов, давно известен своим умением через, казалось бы, примелькавшееся и привычное дать почувствовать зрителю большую тему. Никто, пожалуй, из художников лучше него не знает деревню и ее тружеников. На этот раз полотном «Весна» он позволил нам подсмотреть такой момент жизни, который, пожалуй, кое-кому из ханжески настроенных людей покажется малоподходящим для широкого показа. В то же время картина эта целомудренна и чиста. А. Пластов, так же как и К. Истомин, очень умело пользуется контрастами; закопченная деревенская банька как бы подчеркивает свежесть здорового тела молодой матери, а вся картина полна уважения и любви к человеку, к материнству.

Художнику А. Дейнеке больше чем кому-либо повезло на выставке. И не только потому, что в экспозицию включено много его картин, но и потому, что у него, пожалуй, наибольшее количество последователей, именно последователей, а не подражателей: все это разные художники, которые как бы заразились оптимистическим жизнеощущением А. Дейнеки. Его творчество за тридцать лет — это непрерывная пропаганда физической и духовной красоты. Глаза опытного художника не устали удивляться тому новому и необычному, что предлагает ему наша богатая событиями действительность. Картины А. Дейнеки всегда «в движении», а органически присущая им монументальность делает многие его полотна значительными произведениями.

Картины братьев А. и П. Смолиных только недавно начали появляться на наших выставках, но каждый раз привлекают своей мужественной суровостью и силой выражения. Персонажи их картин идут всегда как бы навстречу ветру. Произведения этих молодых художников тоже по-своему монументальны. Изображенные ими рыбаки вызывают чувство уважения к их суровому труду. Дело не только в образах людей, а во всем построении очень сдержанных по колориту полотен. Все детали как бы завязаны одним узлом: пейзаж, рыбы, лодка, складки на костюмах — все выполнено в едином ключе. Это то, что мы, художники, называем словом «пластика», для объяснения которого, может быть, нужна отдельная статья.

В мою задачу не входит искусствоведческий разбор произведений, представленных на выставке, но об одной стороне труда художников хотелось бы напомнить. Дело в том, что художники обладают одной профессиональной «тайной», без которой не может быть изобразительного искусства. Эта «тайна» — способность выражаться пространственно. Кое-что здесь, как говорят, «от бога», то есть от таланта, но очень многое — от умения, от знания своего ремесла. Только терпеливо освоив ремесло художника, и прежде всего владение пространством, можно передавать психологическое и поэтическое состояние изображаемого. Все это вместе и рождает подсознательную тягу к произведению истинного искусства, привлекает к нему и через наслаждение формой помогает постичь всю глубину содержания картины.

Дело тут не только в том, что картины «красивы». Красота — понятие относительное, и идеалы красивого менялись в различные эпохи. Художник — всегда открыватель красоты. Своим умением остановить внимание на проходящем и на первый взгляд малозначительном и терпеливо утверждать от картины к картине полюбившийся ему мотив художник как бы внедряет новое понимание красоты. Рождение подлинной картины — длительный процесс: вот неприглядный росток, потом бутон, в котором краешком показался еще неизвестный цветок, и, наконец, этот бутон распустился, все радуются, признавая, что он прекрасен.

Бывает и так, что на грядку заносят чертополох. Среди неприглядных, одинаково зеленых ростков его не сразу отличишь. Но, распустившись, он не приносит ничего, кроме уродливых колючек. Такой цветок не подаришь любимому человеку.

Коммунистическая партия, свято блюдя достоинство советского человека, любя его, неустанно предостерегает нас, художников, от появления такого чертополоха в произведениях искусства. Вот откуда наша общая непримиримость к каким бы то ни было проявлениям формализма и его крайнего выражения — абстракционизма в искусстве. Вот почему нашему искусству чужд и бездумный, бескрылый, ползучий натурализм.

Критические замечания, высказанные руководителями партии и правительства во время посещения выставки, принципиальный и душевный разговор с деятелями литературы и искусства при последующих встречах нацелили нашу творческую интеллигенцию на решительную борьбу против формалистических извращений, воодушевили ее на создание новых произведений, отвечающих великим целям строительства коммунизма.

Большинство художников, представленных на выставке, успешно осваивает сложный процесс создания художественного произведения, находя каждый раз свой особенный язык для выражения идеи.

Выставка убедительно показывает, как возросла потребность активного поиска новых монументальных решений, говорит о стремлении создавать искусство конструктивное, когда художник является не только иллюстратором происходящих событий, но и активным творцом, способным призывать людей к будущим героическим свершениям.

Александр Яшин

Босиком по земле

Солнце спокойно, будто луна,
С утра без всякой короны
Смотрит сквозь облачность,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.

Плывут облака,
Мельтешит река,
Я слышу ее журчание.
В ней те же луна, луга, облака,
То же мироздание.

Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног,
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.

И ягоды ем,
И траву щиплю,
К воде становлюсь на колени я —
Я небо люблю,
И землю люблю,
Как после выздоровления.

Бреду бережком,
Не с ружьем — с батожком.
Душа и глаза — настежь.
Бродить по сырой земле босиком —
Это ж большое счастье!

Лирическое беспокойство

Что-то мешает
Работать с охотой.
Все не хватает
В жизни чего-то.

Днем не сидится,
Ночью не спится.
Надо на что-то
Большое решиться!

С кем-то поссориться,
С чем-то расстаться.
На год на полюсе
Обосноваться?

Может, влюбиться?
О, если б влюбиться!
Что-то должно же
В жизни случиться.

Если б влюбиться,
Как в школе когда-то,
Как удавалось
В седьмом
И в десятом,—

До онеменья,
До ослепленья,
До поглупенья,
До вдохновенья!

Снова стоять
На морозе часами,
Снова писать
Записки стихами.

Может быть, в этих
Наивных записках
Вдруг обнаружится
Божия искра.

И превратятся
Мои откровенья
В самые лучшие
Стихотворенья.

Рябчики в снегу

Рябчики в снегу,
В сухом, пушистом.
Полем чистым,
Берегом лесистым
На лыжах бегу.

Ход замедляю,
Ружье снимаю:
Сейчас застрелю
Иль живого поймаю.

Бьюсь,
Гнусь,
Крадусь,
Вышагиваю,
А наткнусь —
Вздрагиваю.

Снег взрывается —
Рябчик взвивается
И сразу за ель,
За березу скрывается,
Просто издевается!

Ведь ничего
Нет недоступного:
Хотя б одного,
Хотя бы некрупного!

Комочек пушистый...
А небо морозное,
Закат огнистый —
Время позднее.

Уже усталость
К ногам привязалась.
К дому тянет...

Рябчики в снегу,
Совсем как в сметане,
А взять не могу.

Андрей Вознесенский

ДВЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ МЕЛОДИИ

Флорентийские факелы

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.
Я знаю их, я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске.
Спит Баптистерий — как развитие
моих проектов вытрезвителя.
Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади.
Ты калька с юности, Флоренция!
Брожу по прошлому.
Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.
Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами глазея.
А факелы над черным Арно
невыносимы —
как будто в огненных подфарниках
уходят в прошлое машины!
— Ау! — зовут мои обеты.
— Ау! — забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
— Ау! — сбегаются палаццо,
авансы юности опасны —
попался?!
И между ними мальчик странный,
еще не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой —
Здравствуй!
Он говорит: «Вас не поймешь,
преуспевающий пай-мальчик!
Вас продавщицы узнают.
Вас заграницы издают.
Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?!»
Я занят. Я его прерву.
В 10.30 — интервью...
Сажусь в машину. Дверцы мокры,
Флоренция летит назад.
И, как червонные семерки,
палаццо в факелах горят.

Итальянский гараж

Б. Ахмадулиной

Пол — мозаика,
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.
Мотоциклы — как сарацины
или спящие саранчихи.
Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».
Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.
Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?
Алебарды?
Или тираны?
Или бабы
из ресторана?..
Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.
Что он бодрствует? Завтра — святки.
Завтра он разобьется всмятку!
Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся
бессмертны!
Алый, конченый, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль.
Мы родились не выживать,
А спидометры выжимать!..
...И склонятся над мальчуганом
фрески
скорбными
жемчугами.

ПРОПАСТЬ

В прошлом году Москву посетил известный американский писатель Митчел Уилсон. Его книги «Жизнь во мгле», «Брат мой, враг мой», «Дэви Мэллори» и последний роман «Встреча на далеком меридиане», действие которого развертывается в Советском Союзе, широко известны нашим читателям.

В дни своего пребывания в Москве Митчел Уилсон посетил редакцию «Юности» и согласился написать для нашего журнала статью, поделиться своими раздумьями о молодом поколении.

И вот статья написана. Мы предлагаем ее нашим читателям вместе со статьей видного советского драматурга, члена редакционной коллегии нашего журнала Виктора Розова.

Две статьи, две точки зрения на один вопрос. Публикацией этих статей мы хотим начать на страницах нашего журнала разговор об отцах и детях, о преемственности традиций, об эстафете поколений строителей коммунизма в нашей стране.

Митчел УИЛСОН

РАЗГНЕВАННЫЕ ЛИЦА В ЗЕРКАЛЕ

В один холодный зимний день моя шестнадцатилетняя дочь попросила меня прочесть сборник рассказов, написанных ее одноклассниками. Она хотела знать, смогу ли я посоветовать им что-нибудь. Обрадовавшись предлогу остаться дома, я принялся за чтение. Оказалось, что я почерпнул из этих рассказов больше, чем мог дать их авторам.

В целом эти молодые люди не представляли особого интереса и не блистали талантами. Однако всем им была свойственна острая наблюдательность. Когда речь шла о них самих или их сверстниках, они превосходно знали материал. Даже при всей их неуклюжести и неопытности они, несомненно, передавали известную долю правды. Они знали своего сверстника, его облик и манеры, тревоги и опасения, стремления и чувства. В их рассказах не было сентиментальности. И только в тех случаях, когда на сцене появлялись взрослые — родители, учителя, наставники, соседи,— в рассказах звучали фальшивые ноты. Это объяснялось тем, что юные авторы этих рассказов не имели ни малейшего представления о том, что значит быть взрослыми. Если бы они писали о себе и своих сверстниках более условно, контраст не был бы столь разительным — все было бы фальшью. В данном же случае правда лишь оттеняла фальшь.

И только поразмыслив надо всем этим в тот серый полдень, я понял, в чем состоит мое открытие. Под-

На снимках вверху: слева Виктор Розов, справа Митчел Уилсон.

ИЛИ ЭСТАФЕТА?

водя итог, я обнаружил, что необходимые мне разъяснения я найду в своем собственном восприятии двух очень непохожих друг на друга романов. Я подумал, что роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и «Отцы и дети» Тургенева — разные стороны одной и той же медали. Оба романа написаны с противоположных точек зрения, каждая из которых исключает другую. Оба произведения отмечены глубочайшей проникновенностью, ограниченной определенными рамками авторского кругозора. Когда я впервые прочитал роман Сэлинджера, он потряс меня, потому что книга эта затронула множество струн, касавшихся моей собственной юности. Я так же постоянно попадал в ситуации, из которых не находил выхода, в положения, от меня не зависящие. Мне так же некогда казалось, что обо мне и моих поступках складываются превратные представления, которые были так далеки от истины и настолько не укладывались в моем сознании, что я в конце концов отказался от всякой надежды найти когда-нибудь общий язык с окружающим меня миром взрослых. Движимый отчаянием и стремлением к самозащите, я пришел к заключению: самое правильное, что оставалось на мою долю,— это уйти в себя и быть наедине с самим собой.

Совершенно справедливо, что все молодые люди на земле не понимают, по существу, мира взрослых, в котором они живут. Это происходит, во-первых, потому, что они по вполне ясным причинам не располагают опытом, который может прийти лишь с возрастом, и, во-вторых, это обстоятельство более трагическое, потому что мир взрослых не раскрывается перед ними в категориях понятных, последовательных или, попросту, честных в своей основе. Вторая причина проистекает не по вине молодежи, а по вине взрослых толкователей. Ибо если юные слушатели еще не располагают опытом взрослых, то взрослые уже представляют себе, что значит быть молодым, и они должны уметь передавать свои мысли и представления о ценностях в доступных молодежи формах. Причина неудачи сводится лишь к одному: взрослые располагают опытом, но они уже успели забыть, что значит быть молодым.

Мы идем по жизни, оставляя позади себя испаряющиеся следы опыта. Но следы, которые оставляют за собой реактивные самолеты, иглами пронзающие небо, не остаются на небе на протяжении всего полета. Они начинают рассеиваться и исчезать. Так же и нам предстоит пройти по жизни, оставляя за собой рассеивающиеся воспоминания, исчезающие, словно капли слез. Способность памяти ограничена. Мы можем отчетливо воссоздать лишь воспоминания, хранящиеся в белом тумане памяти. Все остающееся за ее пределами утрачено для сознания. Это одна из трагедий человеческого существования. В десятилетнем возрасте мы не помним, что значит быть трехлетним ребенком. Когда нам исполняется пятнадцать лет, мы забываем, что происходило с нами в возрасте семи лет, а в тридцать пять мы не представляем себе, что значит быть пятнадцатилетним. Нам кажется, что мы не утратили этого ощущения, но чем больше самоуверенность, с которой мы полагаемся на свою память, тем менее убедительно звучит наше обращение к пятнадцатилетнему подростку.

Я думаю, что роман «Над пропастью во ржи» останется одним из наиболее важных произведений последнего десятилетия. Я говорю это не как писатель, а как читатель, отец и взрослый, переживший в свое время свои глубоко тревожные пятнадцать лет, короче говоря, я утверждаю это как живой человек. Эта книга снискала международный успех и произвела на современников Холдена Колфилда во всем мире ошеломляющее впечатление. Это произошло потому, что Сэлинджер является одним из тех немногих людей, которые сохранили в живой, образной форме воспоминания, утраченные большинством из нас, его ровесников. Ему удалось воскресить передо мной атмосферу дикой, невыразимой внутренней муки, пережитой мной в этом возрасте. Но я окунулся в нее благодаря его искусству, а не по внутреннему побуждению своей собственной памяти. Он напомнил мне о моем собственном ощущении мучительной беспомощности, хотя в то время я представлялся окружавшему меня миру взрослых неисправимым мальчишкой, стремящимся к одним только шалостям, обузой для общества, родителей и учителей. Один из наставников сказал тогда моей матери: «Вы бы лучше забрали его из школы и отправили работать на картонажную фабрику. Может быть, тогда из него и выйдет толк. Не закрывайте глаза на правду: ваш парень — выродок».

И только один из учителей не терял в меня настоящей веры и защищал меня при каждом удобном случае. Это был мой добрый ангел-хранитель, появлявшийся, как правило, за три минуты до казни. Я не имел тогда ни малейшего представления об его отношении ко мне и о том, что он постоянно делал для меня; все происходившее раскрылось передо мной лишь двадцать лет спустя. К этому времени его уже не было в живых, и я услышал об этом от его дочерей, потому что он иногда рассказывал обо мне дома. Не забудьте, что все это происходило в школе, в которой было четыре тысячи учеников, и все же он знал меня достаточно хорошо, чтобы проявлять заботу обо мне. Когда я услышал об этом, слезы благодарности навернулись мне на глаза. Разумеется, я не забыл его, но он остался в моей памяти, как рассеянный добрый человек, едва замечавший мое присутствие. Он не поучал меня, когда я приходил к нему по какому-нибудь делу, не давал мне никаких советов, никогда не ругал и не подбадривал меня. Он попросту защищал меня, предоставляя мне возможность искать свой собственный путь.

Если не считать этого человека, я находился в полном одиночестве на вражеской территории. Независимо от своего поведения — кстати сказать, меня ни-

когда не обвиняли в хулиганстве. Я попросту сохранял личину повиновения. Это обычная маскировка молодежи перед враждебно настроенными к ней взрослыми. Говори: «да», отвечай: «конечно»; повторяй урок слово в слово, как тебя учат этому.

Потрясающий успех романа Сэлинджера — непосредственное подтверждение всеобщего характера маскировки; юному читателю этот роман доставляет чувство облегчения: наконец-то раздается голос, утверждающий, что каждый, носящий эту личину повиновения, не одинок и что вина лежит не на тех, кто маскируется и притворяется покорным, а на тех, кто вынуждает к этому!

По существу, Сэлинджер говорит, что безумна не молодежь, он убеждает молодых читателей в том, что они болезненно здравомыслящие люди, живущие в обезумевшем мире взрослых.

«Все липа» — так обобщает Холден Колфилд окружающую его жизнь взрослых. Однако он ни разу не определяет, в чем же, по существу, заключается вся эта липа и фальшь. Он и не пытается этого уточнять, потому что не способен на это. Он не знает, ему известно лишь, что существует почти совершенно отличная от него порода человеческих особей: мир взрослых — с тупым, косным, непроницаемым сознанием, полным отсутствием чувства, полным отсутствием понимания — заклейменный компромиссом лицемер.

В романе Тургенева «Отцы и дети» читателям представлена другая сторона медали. Все рациональное, разумное, спокойное и надежное здесь переместилось в мир взрослых, в мир, подвергшийся нашествию варвара-юноши, который изображен также как особь иной породы. Базаров — представитель молодежи, к которой Сэлинджер относится с таким состраданием,— представлен в этом романе как сила враждебная. Приветливые и добродушные люди, стремящиеся понять его, поражены присущей ему черствостью, непониманием, нетерпимостью к людям, которые либо не согласны с ним, либо недостаточно образованы, чтобы постичь известные ему истины. Что такое Базаров? Выражение изменяющегося политического климата в России середины века? Или символическое выражение нового для середины XIX века подхода к мировой науке: эволюции в биологии, термодинамики в физике, закона потока частиц в химии?

Сомневаюсь. Если бы все сводилось к этому, роман «Отцы и дети» не читался бы на протяжении почти целого века. Очевидно, произведение это затрагивает более глубокую струну.

Я думаю, что здесь нет никакой тайны. Базаров выражает ужас и растерянность мира взрослых, столкнувшегося с разными формами наступления последующего молодого поколения, первые представители которого стоят у порога и требуют перемен. Как следует поступать с варваром? Существует лишь два пути — либо уступить ему дорогу, либо уничтожить его. Так вот почему Базаров погибает в романе? Не знаю. Я читал эту книгу давно, и сейчас, когда я пишу эти строки, я мог бы достать ее лишь в подлиннике на недоступном мне русском языке. Может быть, Тургенев полагал, что Базаров — как символ — настолько задыхался в невыносимом для него мире, что дальнейшее существование в нем было немыслимо. А может быть, автор хотел сказать, что юный энтузиаст неизбежно должен погибнуть в засушливой атмосфере мира взрослых? Потому что смерть молодого, полного энергии человека, как правило, является событием противоестественным. Молодые должны жить, смерть — удел старых. Так почему же в романе «Отцы и дети» происходит обратное? Здесь я могу лишь задавать вопросы. Я делаю это потому, что знаю, сколь ошибочно приписывать определенные символические значения произведениям художественной литературы. Это игра, занимающая критиков, а не жизнь. По существу, меня интересует не столько намерение Тургенева, сколько мысли и чувства, которые пробуждает во мне его роман. Тургенев, подобно другим писателям, может покоиться, загадочный, как сфинкс, а его роман между тем открыт любому человеку, который, прочитав его, может строить свои предположения по поводу прочитанного. Каждый новый читатель найдет в нем то, что он сумеет найти. И поэтому вместо вопросов Тургеневу я должен спросить самого себя, что пробуждают во мне любительские рассказы, написанные соучениками моей дочери.

Впервые с позиции взрослого человека я ощутил пропасть, столь болезненно отделяющую тех, кто направляется в мир взрослых, от тех, кто уже находится в нем. Мы с удивлением обнаруживаем, что находимся уже за оградой этого мира. Удивлены, потому что еще так недавно мы направлялись к нему. Момент пересечения границы, как правило, незаметен. То, что мы ожидали встретить в этом мире, еще не свершилось, а если свершилось, то в столь неожиданной форме, что результат так и остался неощутимым. Проще говоря, на протяжении длинного пути, ведущего в мир взрослых, человек не знает, чего можно ожидать от этого мира, он не знает, что значит стать взрослым. И поскольку он не знает этого, он не может заметить, когда именно совершается эта перемена. Сложность в том, что все изменения происходят столь незримо, что человек не замечает их. Я вспоминаю одного тучного, лысеющего мужчину, который, обращаясь ко мне, тогда девятнадцатилетнему юноше, заявлял, что в свои сорок пять он чувствует себя так же, как двадцать пять лет назад, когда учился в колледже. Он утверждал это с наивным восторженным удивлением, а мне хотелось нетерпеливо крикнуть ему: «Пойди и посмотри на себя в зеркало!» Однако вместо этого я кивал головой, словно разделяя удивление свершающимся чудом. «Да что вы говорите!» — воскликнул я наконец, набросив на себя личину и маску симпатии (если это соответствовало тому, чего ожидал от меня этот человек. Честно говоря, я не знал, какая реакция ему была угодна). Этот человек раздражал меня своей глупостью: чувствовать себя двадцатилетним в сорок пять лет! Какая нелепость! А вот сейчас я, в свою очередь, повторяю поведение этого человека.

Я много говорил о непроходимой пропасти, существующей между сменяющими друг друга поколениями, что само по себе не ново. Я хотел обратить внимание на то, что пропасть эта существует благодаря природе человеческого сознания. Если человек не может предвидеть того, что он еще не переживал, он не способен также сохранять в памяти пережитое. Существуют, разумеется, блестящие исключения. Паустовский говорит, что он проверяет все на своей собственной юности: что бы он чувствовал или как бы он поступал в двадцатилетнем возрасте. Яркость его писательского мастерства доказывает, что он прав. Однако большинство людей, к сожалению, устроено иначе, и до тех пор, пока не находится хотя бы одной важной стороны в общем опыте поколений и отдельных личностей, не существует основы для осмысленного разговора. Даже преподавание — и то превращается в искаженный диалог, ибо мысли воспринимаемые далеко не всегда соответствуют мыслям высказываемым. Учителя изрекают свои истины — результат опыта всей жизни — через пропасть, а до учеников — на другом дальнем берегу — доносится

лишь ропот волн, шум ветра и обрывки банальностей.

Таков общий итог тех печальных выводов, к которым я прихожу.

В подобных случаях, как правило, возникает нижеследующий диалог: «Столь ли безнадежно положение?» — я должен риторически спросить самого себя (иными словами: «А теперь переходи от слов к существу дела»). «Разумеется, нет,— должен последовать ответ,— трудности, о которых шла речь, могут быть преодолены следующим образом», и т. д. и т. п.

Боюсь, что мне не удастся дать правильные ответы. У меня нет приятных известий, которые я мог бы противопоставить печальным выводам. На трагические истины нет ответа. Я с таким же успехом мог бы говорить об ограничениях, которые влечет за собой наличие лишь двух рук. И тогда вы стали бы спрашивать у меня, нет ли способа вырастить третью. Возможности отрастить три руки не существует. Нет способа перекинуть мост через пропасть, разделяющую два поколения, как между своим поколением и предшествовавшим ему, так и между своим и последующими поколениями.

Давайте предположим, что вся фальшь, на которую так справедливо сетует Холден Колфилд, может быть уничтожена им и его поколением и что Холдену удастся стать взрослым, вполне удовлетворенным достижениями и честностью своего поколения. Достигнем ли мы тогда Золотого века, Утопии? Боюсь, что нет. Революционное видение любого поколения весьма ограничено. Вслед за Холденом придет другое поколение, бешено раздраженное фальшью, лежащей в основе ценностей мира повзрослевших Холденов. Фальши нет конца. Война против нее будет продолжаться до тех пор, пока существует сам человек, и война эта будет выражать борьбу одного поколения, стремящегося вытеснить ценности предшествовавшего поколения, заменить их своими собственными ценностями и стремлениями.

Если и существует урок, который можно было бы извлечь из всего этого,—существует способ облегчить трагедию. Он сводится к следующему: боритесь со всем присущим вам неистовством за постижение истины, не щадите никого до тех пор, пока не найдете ответа, к которому стремитесь, а когда придет ваш черед учить других, учите постигнутой вами истине осторожно и скромно. Весьма вероятно, что на смену той правде, за постижение которой вы некогда столь упорно боролись, уже пришла на смену некая новая правда, еще более близкая к совершенной истине.

Подлинная опасность каждому обществу исходит не от молодых и не от старых, как от поколения, и не от пропасти, лежащей между ними, а лишь от тех молодых и старых людей, которые исполнены столь чудовищной самоуверенности, что они не принимают никаких доводов, никаких противоречий, ни даже подобия вызова. В своей закостенелости они являют собой живых мертвецов. Когда им принадлежит власть, общество представляет собой шагающее кладбище.

Интерес молодости к жизни обязателен для развития истории.

Основой жизни является приспособляемость. Всякое человеческое общество, разумеется, имеет своей целью достичь наибольшей приспособляемости в природе. Точно такая же цель стоит перед наукой и техникой. Каждый новый шаг в области познания материального мира означает, что человеческое общество приспособилось еще к одной грани материального мира. Цель, к которой мы стремимся,— сделать жизнь легче для всех членов общества. Однако ни одно общество не сможет сделать счастливыми живущих в нем людей до тех пор, пока каждый из членов этого общества не постигнет одной специальной грани приспособляемости — приспособляемости одного человеческого существа к другому. Существуют очень простые слова для выражения этого весьма сложного социального процесса: доброта и терпимость.

Итак, если не может быть прочного моста между поколениями, можно обойтись, по крайней мере, без жестоких сражений, когда одно поколение сталкивается с другим, испытывая при этом отчаянную безмолвную ярость над пропастью разделяющего их опыта. Может существовать если не искренний обмен мнениями, то, по крайней мере, отсутствие горечи в завязанной беседе. Может существовать содружество двух людей, которые не понимают друг друга, но не сомневаются во взаимных добрых намерениях. Именно это даст возможность человеческому обществу достичь полного расцвета во всем его богатстве—многообразии человеческих характеров, мыслей, взглядов.

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ.

Виктор РОЗОВ

ДИСТАНЦИЯ ПРОБЕГА

Американский романист Митчел Уилсон написал для нашего журнала статью «Разгневанные лица в зеркале». Статья сильная, драматическая. Я читал ее с волнением: все, что относится к проблемам молодежи, представляет для меня большой интерес, а размышления над этой темой автора «Брат мой, враг мой» — особенный.

Молодые и взрослые... Идущие в жизнь и уже вошедшие в нее.. Идеальное представление о жизни и компромиссе. «Над пропастью во ржи» и «Отцы и дети». Эти вопросы волнуют многих. Меня тоже. На многое в этих вопросах я смотрю иначе, чем Митчел Уилсон. Может быть, потому, что я живу в иной стране и мой личный опыт, мои наблюдения были иными. Попытаюсь их высказать, хотя некоторые из ощущений еще не могу завязать в слова, «около носа вьется, а в руки не дается». Погружаюсь в детство. Как будто опускаюсь на дно океана, где лежат затонувшие корабли. Таинственно, сказочно... Вспоминаю мир взрослых, окружавший меня: мать, отца, родных, друзей дома, учителей, случайные встречи. Светлые воспоминания, сердечные, добрые... Я засыпаю в сво-

ей кровати, а у стола взрослые вполголоса говорят о каких-то неведомых мне делах... Хорошо! Хорошо, что они тут, рядом... А когда их нет в комнате,— тревожно, засыпается не так сладко. Я вижу, как отец, дядя и еще двое взрослых забрасывают в ночную Волгу с лодки бредень. А мы, подростки, бегаем по песку, стараясь не шуметь, тянем береговую веревку, которая нам доверена, и слушаем их, взрослых, команды: «Медленнее!», «Выбирай быстрей!», «Топи нижнюю!» Ловко работают взрослые! Мы так еще не умеем! Когда-то еще тебе доверят самое интересное — забрасывать бредень в воду, да так, чтоб мотня ловко взвилась в воздухе и расстелилась на воде. Очень хочется. Но не доверяют. Не так бросишь— погубишь рыбалку. Ничего не поймаешь. Надо подрасти. Терпим. Сладко и крепко терпим. Школа: что поделаешь, учителей надо слушать и слушаться! Конечно, каждого наделили прозвищем. Как теперь понимаешь, иногда жестоким. Детство жестоко. Жестоко безобидно, по незнанию жизни. Убегали с уроков. Дрались. Дружили. Враждовали. Влюблялись. Носили в себе тайны. Свои и чужие. Ждали каникул. И приходили в школу задолго до занятий. Любили ее. А кругом—двадцатые годы! В которых и взрослые-то разобраться могли не все. Разве уж те, которые этими годами заведовали... Жили бедно. Сколько помню мать — всегда она жаловалась: «Стряпать люблю, только надоело голову ломать, из чего. Ну ладно, скомбинирую». «Скомбинирую» — это означало, на гроши сделаю и завтрак, и обед, и ужин. Только в нэп покупали тянучки и раковые шейки. На ярмарки дядюшка дарил по полтиннику. Гуляли! Разгружали баржи с зерном, пилили дрова, собирали мешкотару, железный лом. Из дома отпускали на целый день. Редко спрашивали: «Где бегал?» Доверяли. Глаз за нами был и, видимо, зоркий. Но деликатный, не залезающий туда, куда не надо, от которого делалось бы больно, коверкалась бы душа.

Была ли отчужденность от взрослых? Безусловно, была. Странно было бы нам, подросткам, жить интересами взрослых, меряя жизнь их меркой. Это было бы попросту противоестественно. Мне и сейчас, когда я вижу подростка — мальчика или девочку,— вращающегося в кругу взрослых, интересующегося взрослыми вопросами, говорящего по-взрослому и манерничающего под взрослых, становится неприятно, скучно.

Но лежала ли между мной и взрослыми та трагическая пропасть, о которой пишет Митчел Уилсон? Нет, не лежала. Могу ли я это сказать и от лица своих товарищей, друзей моего отрочества? Могу. Знаю, что могу. Редкие случаи драматической отчужденности бывали. Помню, как будто ножом, полоснула меня однажды фраза приятельницы-сверстницы: «А я ненавижу своего отца». Ей, как и мне тогда, было 14—15 лет. Отец ушел к другой, оставив Галю с матерью.

Существует ли вообще непереходимый разрыв между поколениями? Да, существует. Таков закон жизни. Шестнадцатилетние не могут во всей полноте понять мира пятидесятилетних, пятидесятилетние во многом забыли свои ощущения и мысли пятнадцатилетнего возраста. Я, как и, вероятно, большинство людей, помню контуры своих прожитых лет. Иногда всплывают детали. И в своей работе я часто пользуюсь ими. Они попадают в цель безошибочно, если их употребишь к месту. В определенную пору молодости хочется скорей быть взрослым, а от взрослых часто можно слышать фразу: «Ох, как бы мне хотелось быть снова молодым!» И то и другое — только сладкие мечты. Должен признаться, что у меня нет желания быть снова молодым. Мне кажется, что чем ты дольше живешь, тем интереснее, содержательнее становится твоя жизнь, тем больше точек соприкосновения у тебя с жизнью. Каждый возраст несет свои изумительные дары. Каждый новый год жизни раскрывает передо мной все новое и новое, и я не устаю поражаться неисчерпаемости и вечной новизне жизни. Очень бы хотел прожить до тысячи лет! Можно ли строить драматическую ситуацию на том, что человек, состарившись, безумно хочет стать снова юношей? Можно. Гете даже возвращает Фаусту молодость. Но представьте на мгновение, что на ваших глазах какой-то конкретный Петр Петрович, убеленный сединами человек, трагически обхватив голову руками, убивается по поводу того, что он не может вернуть себе молодость. Мы смело можем заподозрить Петра Петровича в каком-то душевном заболевании. Сочувствовать ему по поводу его «горя» мы не можем. Если бы какой-нибудь Петя, Вася или Коля рыдал над тем, что он еще не взрослый,— такая картина выглядела бы комично. Когда я читал статью Митчела Уилсона, меня все время не покидал вопрос: какая конкретная причина для таких грустных размышлений лежит в основе его статьи? Ведь у каждого из нас бывают минуты, когда жизнь кажется то бессмысленной, то печальной, то ужасной. Может быть, это навеял «серый полдень», в который Митчел Уилсон прочел рассказы школьных друзей дочери? Может быть, была какая-либо ссора с детьми? Может быть, жизнь, протекающая перед глазами, дала повод для такой горечи и скорби? Может быть, все это навеял роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? Когда эта книга в прекрасном переводе Р. Райт попала мне в руки, она тоже произвела на меня поразительное впечатление. С первых страниц, с первых строчек. Очень хорошо помню, как, прочтя начальный абзац, я закричал жене, находящейся в другой комнате: «Надя, Надя, какой замечательный роман напечатан в «Иностранной литературе»!..» Читал роман медленно, боялся прочитать его сразу. По-детски растягивал удовольствие! Журнал и сейчас лежит у меня в ящике стола, чтоб не потерялся. Все жду, когда этот роман выйдет отдельной книжкой. Пора бы! Роман произвел на меня самое светлое впечатление. И меньше всего трагическое. Юность Холдена не совпала с моей юностью, но от этого герой романа не стал для меня менее дорог и любим. У меня даже есть подозрение, что наибольшее удовольствие от чтения романа получили взрослые. Хотя я знаю, что и у нас, в Советском Союзе, молодежь встретила роман приветливо! Для меня, как и для многих, вероятно, сила художественного произведения измеряется той степенью совершенства, с каким оно сделано. Именно от этого получаешь наиболее сильное впечатление, именно это доставляет самую большую радость, возвышает тебя. Помню, как в юности, читая романы Достоевского, я смеялся и прыгал по комнате: такой восторг, такую радость они вызывали у меня! Восторг соприкосновения с гением! И я до сих пор не понимаю, как можно всерьез говорить о мрачности, безысходности, «достоевщине» Достоевского. Для меня одинаковая радость — и «Братья Карамазовы», и «Война и мир», и «Я помню чудное мгновенье...».

Первая истинность художественного произведения— открытие. Сэлинджер в романе «Над пропастью во ржи» открыл, родил Холдена Колфилда, поставил его в ряд тех дивных подростков, которых создала мировая литература всех веков. Печальных или радостных. Каждый образ нес свою главную черту, которую автор как бы выставлял на первый план. И каждая черта была истинно подростковая или юношеская. Сэлинджер показал крупным планом еще одну чер-

ту, свойственную пятнадцатилетним. Его Холден нов главным образом по этой черте, но сверх того он еще поразительно современен. В нем играют противоречия наших дней. Холден рожден в новый мир. Мир запутанный, обостренный. Многие, читая историю Колфилда, скажут: это я. И произойдет это по двум причинам: первая — та, что Холден несет в себе эту черту неприкаянности подростка в мире взрослых. Каждый ребенок бывал обижен взрослым и непонимаем им; вторая — художественная сила, убедительность и впечатляемость образа. Когда-то давно, впервые читая «Страдания молодого Вертера» или «Жана Кристофа», помню, как я ощущал себя и Вертером, и Жаном Кристофом, и Оливье. Все они жили во мне, как в человеке, которому «ничто человеческое не чуждо». Авторы прикасались оголенными проводами к контактам, находящимся во мне. Загорался огонь. Но шло время, и выяснилось, что я не Вертер, не Кристоф, не Оливье. Я другой. Сам по себе. Это великое счастье человека — быть самим собой. И в то же время похожим на всех. Я и взрослый ношу в себе колфилдские черты, иначе я не мог бы остро его почувствовать. Эта художественная сила «заразительности образом» часто отмечается любым читателем — сознательно или бессознательно. Сэлинджер обогатил наши понятия о подростке, дал молодежи определенного рода очищение, обнародовав своего Холдена.

Но было бы несправедливо приписывать всем подросткам мира холденовское одиночество, отчужденность и трагизм существования. Митчел Уилсон все время говорит о пропасти, разделяющей молодых и взрослых, о трагическом их взаимонепонимании. Меня глубоко потрясло признание Митчела Уилсона, что и сам он в юности «...находился в ПОЛНОМ одиночестве на ВРАЖЕСКОЙ (подчеркнуто мной) территории». Естественное развитие жизни скорее говорит о преемственности поколений.

По Митчелу Уилсону, мир, созданный взрослыми, ужасен, сами взрослые чудовищны. Допустим на мгновение, что это правда. Давайте начнем все сначала. Пусть придет на землю сразу новое поколение, не унаследовавшее ничего, не имеющее предшественников. Что произойдет? Наступит полоса дикости. Нет, мне решительно не кажется, что основной чертой взаимоотношений взрослых и молодежи является пропасть взаимонепонимания. Молодежь не начинает все с начала. И слава богу! Она получает в свои руки бесценные дары, добытые трудами, подвигами поколений. Отрицать это, право, грешно! Не чувствовать признательности за колыбельные песни, за букварь, за физическую защиту в минуты опасности, за доброе слово — противоестественно. И большинство подростков, юношей и девушек, подавляющее их большинство глубоко любит своих родителей и уважает взрослых. Не всех, разумеется, но по своему выбору и вкусу. По своим склонностям и мечтам. Мир взрослых — интереснейший мир, где немало и чистоты, и высокого подвига, и любви, и благородства. К чему же все это отдавать только юным? А куда же деть их наивность и элементарное незнание? Святость и чистота животного, что ли? Митчел Уилсон пишет: Холдену известно, «что существует почти совершенно отличная от него порода человеческих особей: мир взрослых с тупым, косным, непроницаемым сознанием, полным отсутствием чувства, полным отсутствием понимания,— заклейменный компромиссом лицемер». Это даже не точка зрения Холдена, это точка зрения, видимо, Сэлинджера и Митчела Уилсона.

Я очень люблю молодежь. Жду от нее многого. Надеюсь на нее. Но, право, в таких случаях мне вспоминается знаменитое обращение Золя к молодежи. И я рад, что в жизни у меня были взрослые кумиры. Есть и сейчас. И если бывали случаи разочарования в каком-либе кумире, то это не означало убийства веры во мне вообще, а даже, напротив, усиливало привязанность к другим. Взаимоотношения взрослых и молодежи — явление сложное, не только биологическое, но всегда и исторически конкретное, есть в этих взаимоотношениях и элемент взаимонепонимания, но делать его основой этих взаимоотношений, возводить его в превосходную степень, делать доминантой можно только в часы глубокого уныния и личного горя. Радость, что на твоих глазах растет новое поколение, радость, что ты для них можешь что-то сделать, что-то им дать, не меньшая, чем радость чувствовать рядом доброго взрослого, в которого веришь, похожим на которого хочешь стать. Мы оставляем молодежи дома и мосты, книги и картины, города и вспаханные поля. Она входит в наш миропорядок, внося свою долю нового, которая видоизменяет его. Эта доля нового и есть вклад поколения. Да, мы, взрослые, порой, в быту пользуемся еще полуистинами, даже четвертьистинами, притираемся к ним, вживаемся и в непорядок: что ж делать, когда, к счастью, не все еще истины открыты человечеством. Приходит молодежь. Ей не нравятся наши полуистины и четвертьистины. Она великолепным образом нарушает наш «покой» и «удобства». Некоторые из нас ворчат, но большинство приветствует ее поиск и ликует вместе с нею, когда истина приоткрывает еще хотя бы кончик своего носа. Воспринимать поступательное движение жизни таковым, как оно устроено для человека, только трагически, не ощущать в смене поколений радости нового света истины, как сказали бы старые люди,— грех!

Митчел Уилсон считает, что пропасть, разделяющая поколения, «существует благодаря природе человеческого сознания». По-моему, ответить так — это значит оправдать все безобразия, которые творятся на земле, и расписаться в своем бессилии. В осложненных взаимоотношениях взрослых и молодежи нашего времени лежат вполне реальные и вполне устранимые причины. И главной из них является атомная бомба, подвешенная над головой, готовая сорваться в любое мгновение. Молодежь ждет от нас, взрослых, решения этой проблемы. Ей нестерпимо жить под гнетом страха небытия. Приоритет грубой физической силы деморализует людей. Если раньше истиной было: «Сила — не право» (этому учили, да учат и сейчас с первого класса школы),— то реальная действительность капиталистического мира говорит обратное: «Единственное право — сила». Отсюда идет ущемленность всех добродетелей: любви, дружбы, материнства, семьи, созидания, сыновнего и дочернего долга. Бомба не упала, но психологическая радиация ее уже сеет духовную смерть. Наше старшее поколение борется с атомной опасностью, активно втягивая в это великое дело молодежь. Уже в самой этой борьбе заложена оптимистическая вера в победу разума над атомным безумием. На Западе атомный психоз бессовестно раздувается своекорыстными людьми и потому последствия этой психологической радиации особенно пагубны для юных душ.

Смена поколений идет всегда, но в определенные исторические моменты эта смена происходит резко, болезненно. Тому бывают конкретные причины. И, мне думается, надо устранять их, а не успокаивать себя умозрительно найденными формулировками. Разрыв поколений — это дистанция пробега, и я, передав эстафету нетерпеливо ожидающему меня бегуну, с надеждой и радостью смотрю, как мчится мой преемник, который вручит палочку следующему. И так бесконечно. Куда бегут поколения? Мне ясна

и понятна наша ближайшая цель — построение нового, коммунистического общества. Но следующие поколения ведь пойдут дальше! Куда? Я еще не знаю. Но, как человек социалистического строя, стоя на позициях революционного марксизма, я убежден, что и новые наши цели будут столь же величественными и вдохновляющими. И я радуюсь этому нашему стремительному движению вперед. Мне могут сказать: а не бессмыслен ли этот вечный бег? Я отвечу: неизвестность не есть бессмысленность.

Я попробую сейчас на примере трех поколений нашей советской молодежи проиллюстрировать это динамическое движение.

Под первым поколением я подразумеваю юношей и девушек времен Октябрьской революции и гражданской войны. Совершая Октябрьский переворот и защищая юную республику, образ которой еще был только в мечтах, парни и девушки тех времен в большинстве своем были мало или совсем необразованные люди из бедных рабочих или крестьянских семей. Но идеал их стремлений был самый высокий. Ради него они голодали, стреляли из винтовок, шли на смерть. Они приняли трудные и тяжелые роды нового общества.

Гражданская война кончилась. Прошло двадцать лет. Сменилось поколение. Парни и девушки конца тридцатых — начала сороковых годов совсем не походили на оборванных парней и девушек в сапогах и красных косынках — не походили на своих отцов и матерей. Большинство училось. В вузах, техникумах, дневных, вечерних и заочных. Если для отцов в их молодости ношение галстуков, белых сорочек, употребление одеколона было равносильно измене идеалам, то мы — а я как раз принадлежал к молодым второго поколения — не только носили галстуки, но и шляпы, танцевали фокстрот и танго, слушали джаз и норовили со стипендией зайти в ресторан. Все это давало повод для беспокойства взрослым. Наши менторы сокрушенно покачивали головами и грозили многозначительно пальцем. Укоряли и ставили в пример себя: «В наше время разве мы себя вели так...», «Странная теперь пошла молодежь...» И так далее.

И разразилась Великая Отечественная война. Молодежь второго поколения, оставив учение и работу, повела танки, самолеты, стала у дальнобойных и зенитных орудий, взяла в руки старые винтовки и новые автоматы. Весь мир поразился ее подвигам! Именами многих молодых названы улицы, площади, школы страны. Второе молодое поколение не хуже первого выполнило великий долг — отстояло наше государство от фашистского нашествия. А ведь носили галстуки, любили джаз, в спорах допускали «крамольные» мысли!

Родилось третье поколение. Оно живет сейчас. У него свои привычки, вкусы, мысли. Но оно покорило целину и изучает ядерную физику. Взлетело в космос и пишет прекрасные стихи и прозу. А если (не дай боже!) придет испытание, то именами их будут названы города. Молодежь третьего поколения несет в себе идеалы своих дедов и отцов, но несет, обновляя их, обогащая.

Мне очень дороги мысли Митчела Уилсона, высказанные в последних абзацах его статьи: мысли о закостенелости и самоуверенности как старых, так и молодых, о приспособляемости одного человеческого существа к другому, о доброте и терпимости. Если взрослые без терпимости и доброты выглядят людьми и жестокими и глупыми, то и молодежь без этих качеств вызывает чувство неприязни и беспокойства за то, что когда она повзрослеет, то сделается хуже тех, против кого восстает.

Молодость без уважительности к взрослым полна наглости. Она опасна не столько для взрослых, сколько для самой молодежи.

И еще мне хотелось бы сказать несколько слов о Базарове — так сказать, дедушке Холдена Колфилда. В памяти Митчела Уилсона молодой Базаров — герой известного романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» — сохранился как сила, враждебная миру взрослых. «Все рациональное, разумное, спокойное и надежное здесь (то есть в романе И. Тургенева.— В. Р.) переместилось в мир взрослых...»

Откровенно говоря, я тоже давно читал «Отцы и дети», но помню, что Базаров стал сразу же самым дорогим моему сердцу персонажем этого романа. Он старше Холдена и сильнее его. И объемнее. Сэлинджер, желая поддержать Холдена, в определенной степени идеализировал его, сгустил краски вокруг маленького героя, что вполне допустимо как художественный прием. Однако Тургенев как истинно великий писатель не позволил своим личным симпатиям взять верх над объективностью художника и нарисовал Базарова со всеми его светлыми и теневыми сторонами. Таким, как он был. Так же он поступил и со старшим поколением в романе. Отчего и спросила меня однажды школьная учительница: «Виктор Сергеевич, мы говорим школьникам, что Базаров положительный, а он не любил природу. Как же это увязать?» Помню, как я и сам всплакнул вместе со старичками Базаровыми над могилкой их сына. И мне почудилось, что высшая правда в их простых и добрых сердцах, а не в холодном разуме Евгения. А потом я вспомнил его любовь к Одинцовой, его жертвенность, его гордый и стремящийся вперед к истинам ум, и я... задумался. Тургенев дал мне пищу для размышления над жизнью, а не готовые ответы, которые часто бывают неточными, даже если автор искренне убежден в их правоте. Мне вспомнились слова — кажется, они принадлежат Чехову: «Художник показывает, а не доказывает».

Прочтя роман Сэлинджера и приняв его за объективную и полную картину всеобщей действительности, можно воскликнуть: «Взрослые ужасны! Юные существа — ангелы!» Прочтя «Отцы и дети», задумываешься.

Больше я не хочу писать о романе «Отцы и дети»: каждый читатель журнала знаком с этим романом и берет из него то, что ему нужно. Однако непременно перечту роман; интересно, каким он мне откроется сегодня.

В этой статье я коснулся только некоторых сторон взаимоотношений взрослых и молодых, как они представляются мне на основе моего опыта и наблюдений.

Не пропасть лежит между молодыми и взрослыми, а дистанция пробега. Роднит их и объединяет та палочка, которую они передают друг другу из рук в руки. Без нее нет движения, нет жизни.

Владимир Павлинов

Следы

Л. Мартынову

В пыли,
под вихрями густыми
Мне довелось хлебнуть беды.
Ты на моем лице,
пустыня,
Оставила свои следы.
Июльский зной в твоих аулах
Того и жди загонит в гроб.
Морщины залегли на скулах
Пунктиром караванных троп.
Они еще свежи доныне,
И в том не вижу я беды.
Но ты и на душе,
пустыня,
Оставила свои следы!
Сжигаешь ты тела
и души —
Не только травы и цветы.
Я сердцем стал черствей
и суше,
И в том повинна только ты.

Но верю:
не были пустыми
Мои заботы и труды —
И на твоем лице,
пустыня,
Останутся мои следы!
Еще с тобою счеты сводим:
Рванут фонтаном в облака
И газ,
который мы находим,
И нефть, которой нет пока.
Предвижу скептиков угрюмых,
Способных лишь нагнать тоску.
Но верю:
нефти в Каракумах
Гораздо больше, чем в Баку!..
Мы не отступим в этой схватке,
И после нас
на много лет
Останется шуршащий, гладкий,
Сверкающий, как лента, след..

Ода спальному мешку

Кто конструктор ватного мешка —
Спутника походных звездных спален?
Он талантлив,
даже гениален —
Утверждаю это без смешка.
Не страшны мешку ни холод гор,
Ни туман, ни мокрая погода...
Кто рискнет вступить со мною в
спор?
Я в своем проспал четыре года.
Личность — что ж,
она не без грешка,
Культ ее, конечно, против правил.

Все ж
изобретателю мешка
Я б, пожалуй, памятник поставил!
Если воду сковывает льдом,
Если ветер в поле дик и злобен —
Ты войди в мешок,
как входят в дом:
Диво, до чего же он удобен!
Нет огня и крыши —
ничего:
Лезь в мешок
и грейся понемногу..
Видно, тот, кто изобрел его,
Знал дорогу
и любил дорогу.

Домой

Солнцем высушен,
ливнями вымыт,
Буду гостем в родимом краю.
Белоснежные руки
обнимут
Загорелую шею мою.
Вспыхнет солнце за тучкою хмурой,
Озарится сырое жнивье...
Вся Россия
косой белокурой
Ляжет прямо на сердце мое!
Без нее мои руки устали.
Синий воздух летуч и шатуч.
Синий дождик
большими кустами
Сверху вниз прорастает из туч.
Не могу на нее наглядеться,
Бьется сердце, как птица в руке:

Белым парусом
белое детство
Проплывает по синей реке.
Белый пух на деревьях зеленых,
Белый-белый туман на заре.
Белый город,
как белый теленок,
Прижимается к рыжей горе.
Березняк в ослепительных рамах
Зашуршит у речной полосы.
Лес оплачет меня спозаранок
Голубыми слезами росы.
В эти сосны,
в утиные крики,
В это солнце
и в это жнивье
Голубыми гвоздями гвоздики
Вбито намертво сердце мое.

Наталья КАСАТКИНА,
Владимир ВАСИЛЕВ

Разговор о балете

Наталия Касаткина и Владимир Василев — молодые артисты балета Государственного Академического Большого театра. Они известны как исполнители сольных партий в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое озеро» и других. Параллельно уже несколько лет они пробуют свои силы в качестве балетмейстеров. Ими подготовлено несколько концертных номеров, где исполнителями выступали они сами и молодые артисты балета.

В 1959 году они начали работу над созданием либретто балета «Ванина Ванини» по одноименной новелле Стендаля. Музыку к этому балету писал молодой композитор Н. Каретников. На тех же началах — во внеурочное время — шла работа с исполнителями: молодежью театра, комсомольцами. В главных ролях выступили Е. Рябинкина и В. Тихонов.

В 1962 году балет был выпущен на сцену Большого театра и хорошо встречен зрителями.

ГАБТ принял у Н. Касаткиной и В. Василева заявку на новый балет о людях наших дней.

На снимке вверху: Н. Касаткина и В. Василев на репетиции.

Рисунки Ю. Черепанова.
Фото Е. Умнова.

Мы не знали, как начать эту статью, сидели, думали и машинально рисовали танцующих человечков. Ведь все, что мы хотели сказать, нам представлялось зрительно. Танцующий человечек кружился перед нами, делал разные движения... Нас осенило! Да пусть он сам и расскажет...

Я танцующий человечек. Меня спросили: за что я люблю балет?

— Как за что? — ответил я, а сам подумал: «За что же я его люблю? Почему я, как и сотни других танцующих человечков, готов сутками не вылезать из репетиционных залов, часто забывая об отдыхе и обеде? Почему, с головой уйдя в работу и совсем не принадлежа себе, я все-таки чувствую себя свободным и счастливым и, жертвуя развлечениями, не ощущаю этой жертвы?»

Почему? Да потому, что лучше балета для меня ничего на свете нет. Ужасно люблю «Лебединое озеро», «Спящую красавицу», «Дон-Кихота», «Жизель». Какие это прекрасные балеты! Сколько в них замечательных танцев, красоты, поэзии, романтики! Какое счастье — участвовать в них, учиться на них!

И я горько плачу, когда вижу, как переделывают эти балеты: переставляют танцы, изменяют мизансцены, «переосмысливают» образы. И все это как бы во имя того, чтобы приблизить эти спектакли к современности. А ведь хореография в балете — это все равно, что текст в пьесе. Всякое изменение в хореографии равносильно «отсебятине» в тексте пьесы.

И зачем переделывать эти балеты? Ведь они имеют ценность как раз в том виде, как они были созданы авторами. Почему Пикассо не стал исправлять Рембрандта? Почему Стравинский, Прокофьев, Шостакович не стали переделывать Бетховена и Моцарта?

Так зачем же переделывать то, что уже давно стало классикой в балете?! Не лучше ли создавать новое, свое, которого так не хватает сегодня?

Мне не повезло. Я участвовал в таких балетах, как «Красный мак», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Пламя Парижа». Но и эти спектакли уже превратились в классику с многолетним стажем. Правда, они дали возможность подойти к решению современной темы. Я очень обрадовался, когда наконец на

меня надели современный костюм, в руки дали гармошку. Моя партнерша появилась в комбинезоне трактористки. Наш номер назвали «Свидание». Я долго ходил по сцене, делая вид, что играю на гармошке. Затем появилась она. Некоторое время мы разговаривали друг с другом жестами, взглядами и вздохами — это было совсем как в жизни. Но без танца нам было очень трудно. Потом я ее поцеловал. Она в ответ стала в красивую позу, и у нас началось лирическое адажио. Мы облегченно вздохнули. Все, что нам пришлось делать дальше, было совсем как в старых, добрых классических балетах. Мы старались вовсю, а номер не получился. Почему? Мне кажется, потому, что выразительные средства, удачно найденные балетмейстерами прошлого для романтических и сказочных спектаклей, нельзя механически переносить в современные балеты. Герои сегодняшнего дня не могут говорить языком принцев и волшебников. Новое содержание, пришедшее в балет, неизбежно вступает в конфликт со старой формой.

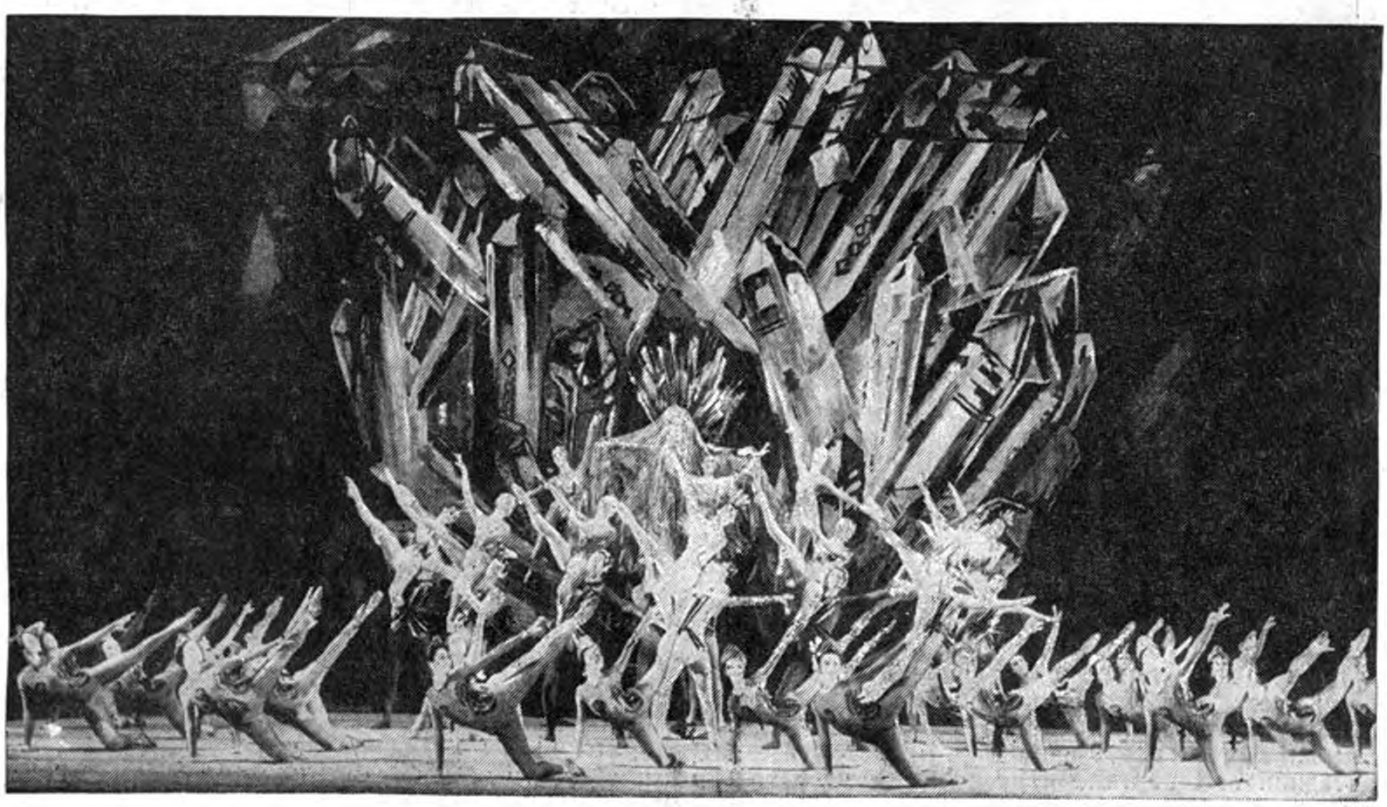
Я попадал в переплеты и похуже. Мы, танцующие человечки, существуем на сцене для танца, и только для танца. Между тем было время, когда нам разрешалось танцевать в балете только по какому-нибудь **поводу.** А без повода нельзя. Вот если на сцене свадьба, тогда можно: ведь и в жизни на свадьбе танцуют. Можно и 1 Мая или когда почтальон приносит письмо и заставляет вас сплясать, прежде чем его получите. Помню концертный номер, в котором я изображал стахановца. Балетмейстер, чтобы дать повод для танцев, вынес на сцену доску почета с моим портретом. Я принимал поздравления сослуживцев, а потом мы все радостно танцевали.

Наконец, стало ясно, что так дальше продолжаться не может, и балетмейстеры начали поиски новых хореографических решений.

Молодой балетмейстер Ю. Григорович поставил балет Прокофьева «Каменный цветок». Этот спектакль не о наших днях, но сделан он по-новому. Давно я не работал с таким воодушевлением. И вот постановка закончена. Мою радость вместе со мной разделил восторженный зритель.

Но тут-то все и началось. На Всесоюзном совещании по вопросам хореографии нам начали внушать, что мы всё не так поняли. То, что нам казалось замечательным, на самом деле, дескать, никуда не годится. И так как эта критика исходила от ведущих, опытных мастеров балета, она оказала громадное влияние на молодых балетмейстеров и артистов балета, которые съехались на совещание со всего Советского Союза.

Посмотрите на эту фотографию. Это подземное царство Хозяйки Медной горы. Мне очень нравится эта сцена. Видите, как органически сливаются кристаллы, нарисованные художником, и кристаллы, изображенные артистами! Большая удача балетмейстера в том, что это единство во время танца камней не только не разрушается, а, наоборот, подчеркивается. Очень хорошо и то, что в хореографию камней удачно введены тщательно отобранные элементы уральского танца. С помощью сложного, но четкого рисунка угловатых поз и движений балетмейстеру Ю. Григоровичу удалось создать образ острого, холодного кристалла. Я очень радовался удаче



балетмейстера, индивидуальности его художественного мышления, его свежим приемам выразительности. Но нам стали доказывать, что все это схематизм, модернизм и формализм.

Вот еще две фотографии из «Каменного цветка». Молодой, очень талантливый солист балета В. Васильев в роли Данилы (внизу) и великолепный исполнитель роли Северьяна, заслуженный артист РСФСР В. Левашов (справа). Первый — молодой уральский умелец Данила-мастер. Другой — необузданный, разгулявшийся приказчик. Разве не видно по этим фотографиям, что оба эти образа, непохожие друг на друга, носят народный, национальный характер? И мне было странно слышать, что этот балет, оказывается, вне социальной среды, вне народности, вне времени и пространства.

В том, что балетмейстер отказался от стандартного танцевального языка, искал для каждого образа свои особые выразительные средства, я вижу влияние времени, а ведь на Всесоюзном совещании высказывалось и такое мнение, что это — влияние Запада. Кое-кто был озадачен тем, что балет «Каменный цветок» отличается от балетов, признанных и действительно образцовых для своего времени. В этом усмотрели попытку разрушить славные традиции. В общем, эту работу заклеили ярлыками так, что на ней не осталось живого места. Я очень растерялся! Может быть,

я ничего не понимаю? Но нет! Ведь не случайно три балетные труппы — Ленинградская, Московская, Новосибирская — приняли этот балет с огромным энтузиазмом, так как почувствовали в нем ту свежесть и новизну, по которой изголодались и актеры и зрители.

Чего мне, танцующему человечку, очень хочется, так это выжать из балета все, на что он способен, и очистить его от всего чужого, небалетного. Вот, например, балет «Медный всадник». В картине «Наводнение» чего только нет! На сцене течет вода совсем как настоящая, плывут лодки, бочки, будка, летят газеты, хлещет дождь, а на возвышении возле каменного льва примостился человек. Это Евгений. Эта сцена, как правило, вызывает бурю аплодисментов. И действительно, художнику и режиссеру удалось сделать все совсем как на самом деле. А что же делает Евгений — главный герой балета? На несколько минут он становится статистом, драматическим актером, кем угодно, только не артистом балета, потому что во время этой сцены балет прекращается, уступая свое место художнику-оформителю. В современном спектакле подобную сцену можно было бы решить чисто балетными средствами с тем, чтобы художник помогал решению балетмейстера, а не подменял его.

А вот посмотрите на три фотографии из балета Шостаковича в постановке И. Бельского «Ленинградская симфония». Этот балет об Отечественной войне уже решен совсем по-другому. Я снова в современном костюме. Но на этот раз уже не танцую традиционных па-де-де, не проделываю трюков, специально рассчитанных на аплодисменты зрителей, не исполняю и эффектных номеров.

Все в этом балете слито с музыкой, и танец предстает в новом качестве. Его как будто нет. Он весь перешел в действие или, наоборот, впитал действие в себя, образуя сплошную действенную музыкально-танцевальную ткань.

Художник не забивает балетмейстера, а помогает более полному раскрытию танцевальных образов.

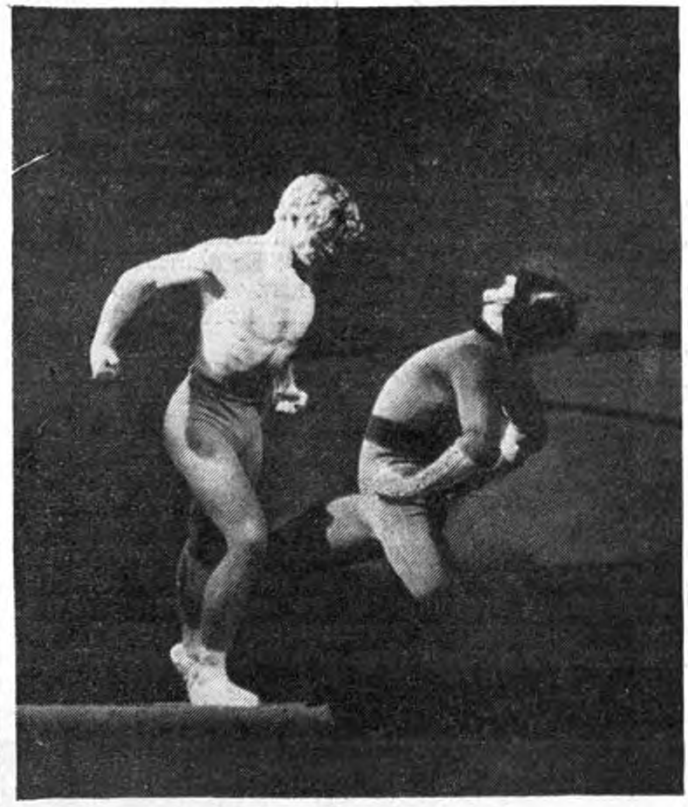
Мне приходилось исполнять партии как в старых, так и в современных балетах. И я не согласен с теми, кто говорит, что новые балеты менее танцевальны. Ведь в них есть все элементы классического. Только они иначе расставлены, видоизменены, обогащены иной пластикой и по-иному слиты с действием.

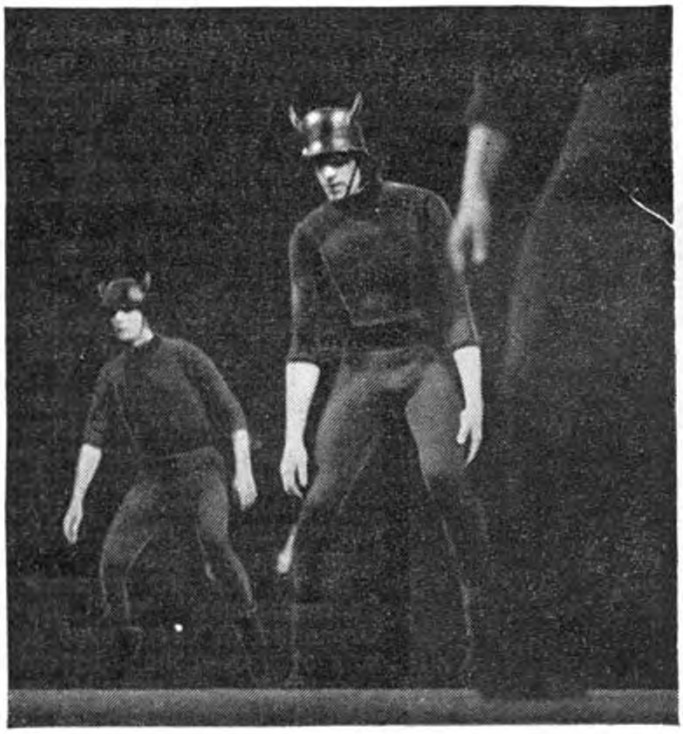
На этих фотографиях вы не увидите привычных красивых положений. У И. Бельского свое понимание эстетики движения. Он ищет крайнюю выразительность движений и поз, подчиняя их образу и действию, а удачно найденные выразительные положения всегда по-своему красивы.

Вот фашисты с сутулыми спинами и повисшими руками, с которых как будто бы капает кровь (внизу).

Вот девушки, в молчаливом горе провожающие на фронт своих любимых (вверху). А вот юноша, грудью своей остановивший фашиста (справа).

Здесь нет ни автоматов, ни штыков, никакой другой натуралистической бутафории, но зато чувствуется самое главное — сила духа. Балетмейстер нашел условное, балетное, очень точное и убедительное решение боя.





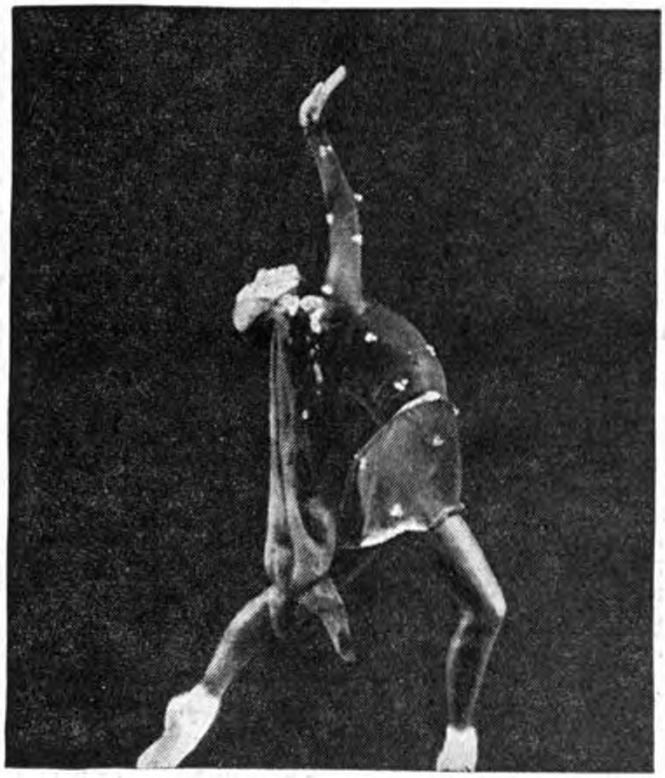
Так вот, возвращаюсь к своей мысли, что балет может, а вернее, должен существовать в чистом виде.

Во многих балетах мне приходилось передавать смысл роли **между** эффектными вариациями, играя словно актер драматического театра, только без слов.

А вот в балете И. Бельского «Ленинградская симфония» я танцую все время. И этот танец вмещает в себя и действие и пантомиму. Это требует от меня иной, более полной выразительности и безупречного владения техникой, которая позволяет, выполняя виртуозные движения, не выключаться из образа и не уходить от постав-

ленной балетмейстером задачи.

Я не знаю, как будет развиваться в дальнейшем современный балет. Возможно, что принципы, найденные в «Ленинградской симфонии», не подойдут для других, еще не созданных работ, но сегодня балет Бельского лично мне, **танцующему человечку**, очень нравится. В нем я вижу смелость, молодость, современность и бесспорный яркий талант.



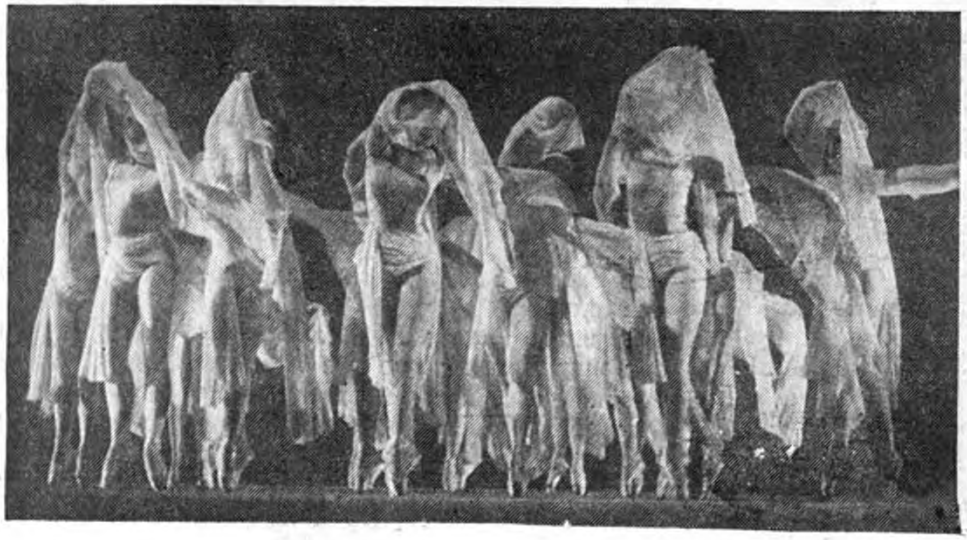
А вот посмотрите еще на фотографии. Это балет Ю. Григоровича на музыку А. Меликова «Легенда о любви», великолепно оформленный художником С. Вирсаладзе. Фото дают очень бледное представление об оригинальности спектакля и особенно о работе художника.

Вот вы видите артисток, изображающих воду. Удлиненные рукава восточных костюмов создают впечатление медленно текущей воды (внизу).

А вот и сама Мехмене Бану. Ее костюмы решены художником в черно-красных тонах, соответственно с мрачными страстями, которые ею владеют (справа).

Работая вместе, художник и балетмейстер как бы единой рукой направляли и перемещали цветовые пятна, постоянно изменяющиеся, но никогда не теряющие образа и гармонии. Если прибавить к этому необычайно удачно найденную форму костюмов, которые смотрятся и на каждом актере в отдельности, и в сочетании, и в пространстве сцены, оформленной скупо, но со вкусом, — можно себе представить, какое это изысканное эстетическое зрелище! И не надо бояться этих слов — «изысканное эстетическое», — потому что тонкость и хороший вкус завоевывают себе прочное место в современном искусстве и становятся одной из его отличительных черт. Это не значит, что балет превращается в искусство, понятное только кучке снобов. Напротив, аудитория его поклонников непрерывно увеличивается.

Танцующий человечек родился вместе с балетом и вместе с ним развивался. Ему пришлось видеть, как почти всегда все новое, выходящее за рамки привычного, принималось в штыки. В особенности это касается музыки. Критиковали даже Чайковского: в свое время было новаторством то, что он привнес в балет симфоническую музыку. Эта музыка давно уже звучала в концертных залах, но обходила стороной балетную сцену. Музыкальная реформа Чайковского заставила пересмотреть и сам балет, благодаря чему он сделал громадный скачок, заговорив на одном языке с музыкой своего времени.



Я считаю, что в наши дни обращение балета к лучшим образцам современной музыки выводит его в ряды передового современного искусства. Новая музыка с ее сложными ритмами и интонациями исключает **привычную** танцевальность, зато дает более полные возможности для многогранного раскрытия образа человека средствами хореографии.

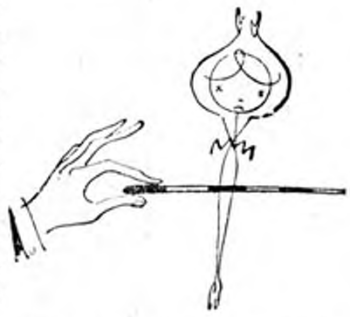
Но не все это понимают. Рассказывают, что Игорь Стравинский через окно сбежал от разъяренной публики после премьеры своего балета «Весна священная». А те-

перь уже никто не сомневается, что это — одно из лучших его произведений.

Еще больше досталось С. Прокофьеву с его «Ромео и Джульеттой». Музыканты просто-напросто отказывались играть это прекрасное произведение. А многие артисты балета говорили, что это вообще не музыка.

Необычно звучит музыка Бела Бэртока в балете «Ночной город». И несмотря на то, что она уже давно обошла многие зарубежные сцены, у нас она вызвала активное сопротивление оркестра.

Еще труднее пробиваться молодому композитору. Музыка Н. Каретникова к балету «Ванина Ванини» просто ошеломила музыкантов. На заседаниях они требовали немедленно прекратить репетиции. И только вмешательство авторитетной комиссии во главе с Д. Шостаковичем спасло музыку.



Премьера состоялась. Зрителей музыка не напугала, а завоевала себе поклонников и противников столько же, сколько и любая другая.

Мне кажется, что некоторая настороженность, непонимание балетной музыки, балета, его специфики и возможностей объясняются еще и тем, что у нас очень мало пишут о балетной жизни. Есть журналы, посвященные музыке, драматическому театру, цирку, изобразительному искусству, и только балет не имеет своего журнала. А ему необходима трибуна, с которой могли бы вестись споры, решаться проблемы и обсуждаться спектакли как наших, так и зарубежных балетных театров. Такой журнал принес бы неоценимую пользу, пропагандируя советский балет.

На гастролях в Париже нас порадовали программки, разложенные на креслах в зрительном зале. В них уделялось место и разбору спектакля и изучению отдельных движений в разных фазах, с пояснениями и фотографиями. По этим программкам мы почувствовали желание театра приблизить к себе зрителя, посвятить его в святая святых своего дела, воспитать из него строгого ценителя, умеющего отличить эффектное дилетантство от подлинного, высокого искусства. На Западе балет имеет большое количество прекрасно изданных журналов, ежегодников и книг, которые пользуются огромной популярностью у читателей. Мне хочется верить, что скоро и наш, советский зритель получит свой собственный «балетный журнал», который расскажет ему о нашем замечательном искусстве. Ведь это единственный вид искусства, в котором органически сливается творчество композитора, дирижера, драматурга, балетмейстера-режиссера, художника, скульптора, архитектора, механика сцены...

А венчает это сочетание актер-танцовщик, тело которого, послушное творческой мысли и чувству, превращается в совершенный инструмент и дает жизнь сложному, многогранному произведению.

Не удивительно, что искусство, не требующее перевода и гуманистическое по самой своей природе, превратилось в средство общения между людьми разных стран. Сегодня язык хореографии стал международным, и понятна та теплота, с которой к нам, артистам, относились во всех странах, где побывал советский балет. Мне хочется особо отметить два случая внимания: они не совсем обычны.

В Токио каждое утро, выходя из отеля, мы получали на весь день заряд хорошего настроения, встречаясь с одним мусорщиком-рикшей, который ночевал поблизости под мостом в своей тележке. Он неизменно приветствовал нас дружеской, искренней улыбкой. Этот человек собирал вырезки из газет с нашими фотографиями и рецензиями на концерты, с гордостью показывал их нам и просил оставить на память автограф. Провожая нас, он сказал, что долго не забудет московский балет, и потряс над головой толстым альбомом, до отказа наполненным автографами и открытками с видом Красной площади.

А в Лондоне с его строгими порядками произошел такой случай: кто-то из нас, опаздывая на прощальный концерт, поставил машину, на которой приехал, под запрещающим знаком, понимая, что идет на верный штраф. Неподалеку маячила фигура полисмена — он не раз видел нас подъезжающими сюда. Вернувшись после концерта к машине, наш танцор нашел приклеенную к стеклу записку: «Дорогой сэр! Когда вы приедете в Лондон в следующий раз, пожалуйста, не ставьте машину на этом месте». И подпись — «Полисмен».

Проявления дружбы и симпатии постоянно сопровождали нас в наших многочисленных гастрольных поездках.

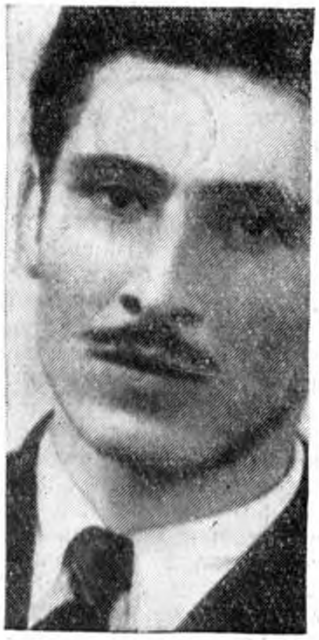
О балете можно говорить без конца, но, пожалуй, мне пора остановиться. Итак, последнее. Как мне кажется, балет переживает переломный момент. В чем-то он утверждается, что-то отбрасывает. Многое уже найдено, но предстоит еще тяжелая борьба с косностью и многочисленные эксперименты при создании балетов, которые целиком отвечали бы растущим требованиям времени.

Дорогие читатели «Юности», борьба за новый, современный балет только началась, и я прошу вас принять в ней участие. Обсуждайте нас, ругайте нас, помогайте нам. Будьте нашим другом, требовательным и пристрастным.

Искренне ваш

Танцующий человечек.

Наби Джусойты



На безымянном перевале

На безымянном перевале
Стою,
пригубив вышину.
Не здесь ли стрелы пировали
В воинственную старину?
И хоть остер мой взгляд потомка,
Не вижу башен крепостных,
Нет даже черного обломка,
Оставшегося от них.
В себя впитавшая кровинки,
Печалью сердце опаля,
Рождает буйные травинки
Высокогорная земля.
Безмолвно облака пасутся,
Где обрывается тропа,
И от дыхания Пакундзы
Чуть пригибается трава.
Травинки маются немало,
Бегут, нагнувшись, словно в бой,
И выпрямляются устало,
И шепчутся между собой.
Смотрю на воинство простое,
О, если б мне узнать,
о чем
Травинки речь заводят,
стоя
К плечу зеленому плечом?
Травы бесчисленное племя
Ведет, быть может, разговор
О тех,
кто пал в былое время,
Но не забыт и до сих пор.
Как прежде, гребень перевала
Увенчан облачным кольцом.
Сослáн, что родом из Нузала,
Стоял здесь к Грузии лицом.
На рубеже утра и ночи
Заглядывал издалека
Тамаре в царственные очи,
Как в два бездонных родника.
Внимая голосу травинок,
Сюда взбирался неспроста,
Столетие на поединок
Мятежно вызвавший Коста.
Здесь плакала над сыном мать ли,
Над мужем плакала ль вдова,
Где вьюги не страшится мятлик —
Выносливая трава?
Охвачен чувством я не странным,
Отрадно поклониться мне
На перевале безымянном
Своей родимой стороне.

✲

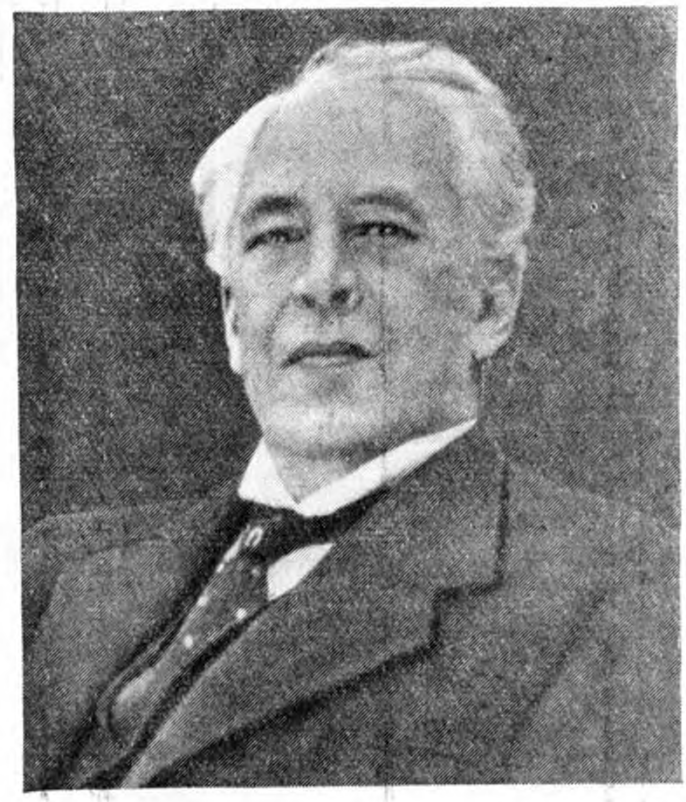
Смеяться когда-то умевших,
Горевших,
сходивших с ума,
Погибших потом иль умерших
Земля приютила сама.
Они на возвышенном месте
Навытяжку молча лежат,
С землей единственной вместе,
Как мы, вокруг солнца летят.
И сны неземные им снятся,
В горах над могилами их
Петь песни, стрелять иль смеяться
Не смеет никто из живых.
Ушли навсегда. Без возврата,
Но с нами, живыми, не зря
Осталась винтовка солдата,
Осталась коса косаря.
Осталась и слава ушедших,
Другие пришли времена,
Но те же сегодня у женщин
И у мужчин имена.
То стелются белые зимы,
То слышится крик лебедей,
Издревле на кладбище зримы
Привычки немертвых людей.
Под камнем и синею бездной,
Иной,
от других в стороне,
Лежит за оградой железной:
Так было угодно родне.
Другой, от соседа в отличье,
Овеянный властной судьбой,
В суровом гранитном обличье
Вздымается сам над собой.
А третьи, как на поле боя,
На полах шинели одной,
Молчанье хранят гробовое:
Над ними лишь холм земляной.
Шагавшему в поле за плугом
И кровью полившим поля
В печальнейшей вечности пухом
Да будет родная земля.
И с тем после смерти бок о́ бок
В могиле лежать я хочу,
Кто прост был душой и неробок,
Кому была жизнь по плечу.
Умельцем кто был и кормильцем,
Кто шутку умел оценить,
Чье сердце к отстрелянным гильзам
Сумела лишь смерть приобщить.

Перевел Яков КОЗЛОВСКИЙ.

Сосетинского

«...ЧТОБЫ ИДТИ ДАЛЬШЕ»

К 100-летию со дня рождения К. С. Станиславского



«Станиславский и молодежь»... На эту тему можно написать не одну книгу, и они, эти книги, будут написаны, потому что воспитание артистической смены было одним из главных дел жизни великого режиссера. И самая последняя, предсмертная статья Станиславского была написана о молодежи и предназначена для сборника, посвященного двадцатилетию комсомола.

То, что именно эта статья оказалась последней,— случайность. И все-таки хочется видеть в этом особый смысл. Ведь статья эта — в прямом смысле слова завещание. В ней гениальный мастер передавал юным мастерам свое дело и не скрывал, что именно на них надеется больше всего:

«Надо крепко понять, что наше искусство коллективное, в котором все друг от друга зависят...

...Сценическая молодежь должна жертвовать своими личными мелкими интересами во имя общего любимого дела, она должна быть скромной в оценке своего дарования. Только в атмосфере любви и дружбы, товарищеской справедливой критики и самокритики могут расти таланты.

Коллектив из нескольких сотен человек не может сплотиться, держаться и крепнуть только на основе личной взаимной любви и симпатии всех членов. Для этого люди слишком различны, а чувство симпатии неустойчиво и изменчиво. Чтобы спаять людей, нужны более ясные и крепкие основы, как-то: идеи, общественность, политика. Эти основы — идеи, общественность, политику — должны приносить в театр комсомольцы и молодежь».

В некоторых местах статьи голос семидесятипятилетнего Станиславского звучит особенно задушевно — это тогда, когда он говорит о самом дорогом и важном:

«Вы, мои молодые друзья, должны вносить в храм искусства все лучшие человеческие мысли и побуждения, отряхивая на пороге мелкую пыль и грязь жизни. В этом случае ваша работа станет вечным праздником, возвышающим, облагораживающим души людей; но если вы поступитесь этим высоким чувством и понесете в храм искусства все актерские мелкие зависти, сплетни и людские пороки,— храм превратится в свалку всех отбросов и гнили человеческой души. И вместо вечного праздника получится вечный мрак и омерзение.

Как предупредить это зло? Прежде всего научиться любить искусство в себе, а не себя в искусстве».

Станиславский не зря подчеркнул последнюю фразу. Это был его любимый афоризм, который он часто повторял в статьях, письмах и на репетициях. Это было его, личное выражение того, что мы несколько скучновато называем «служением искусству».

В иных воспоминаниях Станиславский и предстает перед нами этаким седовласым благостным «служителем». А на самом деле он был таким, как на этом портрете: молодым и неуспокоенным. Он искал и искал: мучил себя и других на репетициях, в репертуарных поисках обращался то к Горькому, то к Андрееву, то к Чехову, то к Метерлинку, сам играл гибнущего мечтателя Астрова и застенчивого бунтаря Штокмана, горько-ироничного Сатина и пламенного Брута.

Нет, невозможно представить себе Станиславского величавым олимпийцем, только лишь охранителем традиций. Невозможно канонизировать того, кто был прежде всего великим реформатором. Не позволяет нам этого сам Станиславский:

«Охранять традиции — значит давать им развитие, так как то, что гениально, требует движения, а не академической неподвижности».

И, продолжая эту мысль, вновь говоря об артистической молодежи, напоминает ей вечно молодой искатель Станиславский:

«Им нужно понять важность той миссии, которая выпадает на них, и приготовиться не просто к обычной актерской карьере, а к значительно более важной задаче — поддержанию прежних вековых традиций, завещанных им для того, чтобы идти дальше: развивать и применять их к новым запросам жизни...»

Этот завет необходимо помнить всем молодым деятелям нашего искусства. Помнить — «для того, чтобы идти дальше».

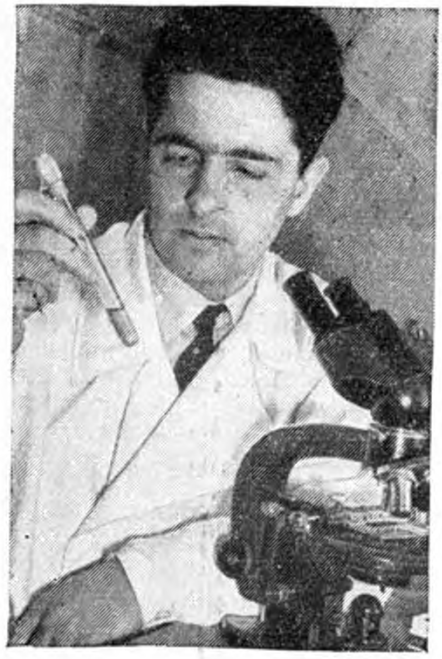
Очерк

О СЕРДЦЕ ВРАЧА И ОБ ОДНОМ ОТКРЫТИИ

А. ЛОЖЕЧКО

Фото С. Басина.

1. РАЗГОВОР С ПРОФЕССОРОМ



После окончания института молодой врач получил назначение в город Йошкар-Олу. Быть может, все сложилось бы по-другому, если бы не беседа со старым профессором Александром Сергеевичем Савваитовым.

Анатолий изложил профессору свои сомнения. Да, он понимает, что в небольшой, отдаленной от центра больнице вчерашний студент может получить настоящую практику. И ему не жаль покидать Москву.

— Все дело в моей специальности,— сказал Анатолий Шаткин.— Я окулист. А ведь глазник может совершенствоваться далеко не везде. Может быть, все-таки в каком-нибудь крупном лечебном учреждении, под руководством видных специалистов я приобрету более основательную подготовку?

Профессор внимательно выслушал Шаткина. Выдающийся офтальмолог, в прошлом главный окулист Советского Союза, он был человеком опытным и доброжелательным. Ему понятны были сомнения этого высокого смуглого юноши, который уже показал себя как вдумчивый студент.

Но прежде чем давать Шаткину прямой ответ, профессор обратился к дням своей молодости.

Он вспомнил далекие первые годы Советской власти. Трахома, считавшаяся до революции народным бедствием, пустила глубокие корни в селах, в глухих углах — ведь прежде на миллион деревенских жителей приходилось только два окулиста.

Вместе с одним из сформированных передвижных отрядов врачей для борьбы с трахомой Александр Сергеевич выехал в Поволжье.

В беседе с Анатолием профессор меньше всего касался научной стороны вопроса. Он рассказал о тех условиях, в которых работали врачи. Им пришлось встретиться с почти непотревоженным, темным бытом, потому что именно в таких местах для трахомы сохранилась особенно благоприятная почва.

— Что могли сделать несколько врачей,— сказал профессор,— когда трахомой в районе работы нашего отряда болело почти поголовно все население, а лечение требовалось систематическое и длительное? Но мы не опустили рук. Лечили теми средствами, которые были нам тогда доступны. Оперировали, проводили беседы, читали лекции. Привлекли к борьбе с трахомой грамотных людей из местных жителей.

С тех пор прошло более тридцати лет,— продолжал Александр Сергеевич.— Трахома побеждена в нашей стране. Но именно в те годы, когда мне пришлось близко столкнуться с этой болезнью, я сумел глубже изучить ее, чтобы вести с ней неослабную борьбу. Зачем я говорю вам все это? Да потому, что, если хотите стать хорошим глазником, не ищите спокойных

На снимке: врач Анатолий Шаткин.

и чистых мест. Учитесь у жизни. Не бойтесь черной работы.

Беседа с профессором помогла Анатолию определить свой выбор.

2. ПЕРЕД НЕРАЗГАДАННОЙ ТАЙНОЙ ДРЕВНИХ ПАПИРУСОВ

Йошкар-Ола, центр Марийской Автономной Республики, лет десять назад еще мало походил на республиканскую столицу. Со старых времен тут еще сохранились дощатые тротуары, приземистые деревянные дома со ставнями.

На этом фоне особенно было заметно вторжение нового — прочерки антенн над крышами, шеренги трехэтажных каменных домов невдалеке от площади, современная архитектура просторных и светлых зданий театра, библиотеки, двух институтов, Дома Советов.

Перед Анатолием новое лицо города раскрылось по-настоящему, когда он переступил порог больницы. Она была прекрасно оборудована, располагала первоклассной аппаратурой и медикаментами. Шаткина встретил дружный коллектив врачей.

Среди многочисленных пациентов Анатолия изредка бывали и пораженные трахомой. Болезнь вставала перед ним во всей тяжести длительного течения, со всеми ее роковыми последствиями, когда на слизистой оболочке появляются рубцы, которые стягивают и заворачивают веки. Иногда болезнь распространялась еще дальше, переходила на роговицу, разливалась на ней мутными бельмами; закрыв зрачок, эти бельма приводили к слепоте. Впрочем, слепота наступала и оттого, что рубцы закрывали протоки слезных желез, и глаза высыхали.

Говорят, что врач привыкает к страданиям больных. Шаткин не мог сказать этого о себе. Он остро переживал мучения своих пациентов, лечил их, не гнушаясь самой черной работой. Ездил в села Медведовского района, которые входили в его участок, обследовал население, выявлял больных. Старался оказывать помощь деревенским жителям прямо на месте: выдавливал пинцетом трахоматозные зерна, массировал слизистую оболочку глаза, делал операции для восстановления правильного положения век и ресниц, сам вводил лекарственные препараты.

Это был будничный, однообразный и утомительный труд. Обычные операции, которые приходилось выполнять, и методы лечения, которые Анатолий тогда применял, не открывали новых перспектив. Но эта однообразная работа не тяготила Шаткина. Он был счастлив, если мог хоть как-то облегчить страдания больного.

Мы привыкли говорить о врачебном подвиге, имея в виду исключительные случаи, которые требуют от медика высокого профессионального мастерства, немалого риска, самообладания, самоотверженности. Но сплошь и рядом поистине героичен и скромный труд рядовых деятелей медицины, когда он проникнут гуманностью и сочувствием больному. Часто подвиг рождается в будничной обстановке, в кабинете районной поликлиники, в палате сельской больницы...

В то время Анатолий Шаткин был далек от мысли о подвиге. Его тревожили вопросы повседневной практики.

Шаткина затрудняла постановка диагноза при начальной стадии заболевания. Наблюдая даже типичную клиническую картину, он нередко испытывал неуверенность, потому что существуют другие глазные болезни, почти неотличимые от первой стадии трахомы.

У окулистов еще не было в руках точного и объективного метода определения характера инфекции; до сих пор никому не удавалось выделить из пораженной клетки возбудителя трахомы, следовательно, нельзя было подтвердить диагноз путем лабораторного исследования. Поэтому в тех случаях, когда врач испытывает сомнения, он все равно проводит длительное и сложное лечение, которое назначается трахоматозным больным. Шаткин отлично сознавал, что поступает так в интересах самого пациента, и все-таки испытывал внутренний протест, досаду на несовершенство методов борьбы с болезнью и способов ее диагностики.

К тому же ни один из лечебных препаратов не был радикальным. Даже синтомицин, предложенный известным вирусологом профессором М. П. Чумаковым для лечения трахомы, давал надежный результат только в начальных стадиях болезни и не гарантировал от рецидивов.

До сих пор медицина не обладала верным и быстродействующим средством для победы над этим заболеванием. Между тем трахомой болеют только люди. Ни одно животное на земном шаре — даже человекообразные обезьяны — не поддается заражению трахомой. Это осложняло эмпирические поиски лекарственных препаратов.

Столкнувшись с несколькими тяжелыми и затяжными случаями, Шаткин стал искать свои пути для лечения болезни.

Одно из грозных последствий трахомы — помутнение роговицы. Оно связано с нарушением кислородного питания тканей. Это навело Анатолия на мысль применить кислородную терапию глаза. Он использовал обыкновенную кислородную подушку, подводя к роговице с помощью иглы струю живительного газа.

Кислородная терапия приносила больным заметное облегчение, приостанавливала течение болезни.

Этот успех вызвал у Шаткина противоречивые чувства. С одной стороны, понятную каждому радость хоть небольшой победы, веру в свои силы. И наряду с этим горькое сознание того, что найденное им средство помогает лечению только одного из последствий трахомы, а не самого заболевания. Впрочем, подобные чувства Анатолий испытывал теперь, наблюдая работу и других окулистов.

Он искренне привязался к одному из своих коллег — врачу Георгию Ивановичу Григорьеву. Это был опытный, серьезный медик, уже лет девять проработавший в Йошкар-Оле, главный окулист Марийской республики.

Как-то Григорьеву пришлось оперировать больного с запущенной формой трахомы: рубцы поразили протоки слезной железы. Чтобы предотвратить неминуемую слепоту из-за высыхания глаза, хирург в конъюнктивальный мешок ввел проток околоушной слюнной железы. Однако вскоре Шаткин убедился в несовершенстве и этого хирургического вмешательства. Больной, перенесший эту операцию, неудержимо плакал при виде пищи. У него начала активнее работать околоушная железа, которая теперь омывала слюной поверхность глаза. Этот человек был спасен от слепоты, но обречен на новые страдания.

Опыт: заражение куриных эмбрионов вирусом трахомы. А. Шаткин и старшая лаборантка В. Мартынова.

И опять с непреложной ясностью Анатолий понял: до тех пор, пока не будет выделен вирус, вызывающий трахому, пока не найдено мощное и радикальное средство против этой болезни, борьба с ней будет затяжной.

Правда, в Советском Союзе трахома практически искоренена. Но она еще гнездится в других странах, особенно в таких, как Иран, Турция, где от трахомы продолжают слепнуть десятки тысяч людей в расцвете сил.

...Жизнь шла своим чередом — приемы больных, работа в стационаре, операции, выезды в район, совещания, организация помощи на местах. Время было насыщено до предела. Но вечерами Анатолий стал чаще задерживаться в больнице. Часами он сидел над микроскопом, изучая соскобы со слизистой оболочки век трахоматозных больных. В этих клетках гнездились никем еще не распознанные до конца возбудители трахомы.

О том, что трахома заразна, люди знали много веков назад. Упоминания о ней встречаются в египетских папирусах четырехтысячелетней давности. На протяжении столетий трахома расползалась по земному шару, почти не встречая препятствий,— она проникла в Европу с участниками крестовых походов, а спустя пять столетий — с солдатами армии Наполеона, возвратившейся из Египта. Но еще полчища кочевников, предводительствуемые Чингисханом и Батыем, занесли трахому в Россию. И несмотря на все попытки ученых еще с древних времен найти и выделить возбудителя трахомы, эти поиски были, в сущности, бесплодными.

Правда, начиная с прошлого столетия стали появляться работы, авторы которых громогласно оповещали об открытии ими неуловимого микроба, вызывающего трахому. Но, опровергая друг друга, все эти исследователи — Заттлер и Михель, Гиршберг и Краузе, даже знаменитый Кох — были далеки от истины.

Все теории и гипотезы оказывались несостоятельными, все открытия — фикцией. Однако при этом было почти забыто одно открытие чешского зоолога Провачека. В 1907 году он обнаружил в протоплазме клеток слизистой оболочки век трахоматозных больных мельчайшие тельца в виде зерен; определил их как паразитов клетки и приписал им роль возбудителя трахомы. С тех пор эти зерновидные включения в трахоматозных клетках стали называть тельцами Провачека. Впрочем, они обнаруживались не всегда.

Спустя много лет было высказано предположение, что тельца Провачека отнюдь не паразиты, а фильтрующиеся вирусы, которые вызывают трахому. Но подтверждение этой гипотезы упиралось в то же непреодолимое препятствие — невозможность выделить лабораторную культуру, так как вирусы не развиваются в обычных питательных средах, а животные не заражаются трахомой. Ведь и изучение гриппа, также вызываемого вирусом, задерживалось до тех пор, пока не было найдено единственное животное, на котором оказалось возможным производить эксперименты. Хорек помог выделить гриппозный вирус и исследовать его.

Но к изучению телец Провачека такого ключа тогда еще не было.

И вот теперь скромный молодой врач периферийной больницы решил этот ключ найти.

Иногда самому Шаткину это намерение казалось дерзким. Куда ему было тягаться с мировыми именами, отступившими перед неразгаданной тайной болезни! Анатолий испытывал особенно горячую благодарность к профессору Савваитову, который посоветовал ему не гнушаться будничной работы «провинциального» врача.

Здесь, в Йошкар-Оле и в селах Медведовского района, куда ему особенно часто приходилось выезжать, он получил материал для наблюдений, получил толчок к тому, чтобы взяться за решение большой научной задачи. И кто знает, если бы не годы, проведенные в этой больнице, вступил ли бы Анатолий Шаткин на путь, который оказался его призванием?

Вскоре ему пришлось уехать из Марийской республики: он был отозван в Москву. С сожалением расставался Шаткин с больницей, к которой успел привыкнуть, с коллективом врачей, с медперсоналом — бок о бок с ними он вел нелегкую работу в течение двух с лишним лет.

3. ЖИВОЙ МОЗГ ВМЕСТО КОЛБЫ С БУЛЬОНОМ

Итак, опять Москва. Анатолий вернулся сюда в 1954 году и стал работать в трахомном отделении института имени Гельмгольца. Это было большой удачей для молодого врача. Но институт имени Гельмгольца имеет клиническое направление, а Шаткина не оставляло дерзкое намерение отдаться задуманным поискам.

Он попал в свою стихию, когда перешел в институт имени

Ивановского: этому научному коллективу были поручены исследования по вирусологии трахомы. Анатолий с увлечением занялся наконец делом, о котором мечтал еще в Йошкар-Оле.

Он начал с заведомо безнадежных опытов. Пытался заражать трахомой кошек, мышей, морских свинок. Как и следовало ожидать, животные не обнаруживали никаких признаков заболевания.

Казалось, неудачи следовали одна за другой, но они не разочаровали Анатолия — он предвидел бесплодность попыток выделить возбудителя трахомы обычным методом. И делал эти попытки лишь для того, чтобы отвергнуть их на основании собственных исследований и искать другие пути.

Теперь он уже знал, в каком направлении следует вести поиски. В одном из журналов Анатолий встретил краткое сообщение японских ученых Аракава и Китамура, которые сумели заразить белых мышей трахомой обходным способом, введя им инфекцию в головной мозг. Эти ученые получили штамм — чистую культуру вируса. Однако по биологическим свойствам он отличался от вируса естественного.

Японские ученые не раскрывали полностью методики своих опытов, поэтому трудно было уяснить причины биологического перерождения вируса. Вскоре в литературе появились новые сообщения. Китайские вирусологи безрезультатно пытались воспроизвести опыт японских коллег. Зато китайскому ученому Тай Фи-фаню удалось впервые в истории получить культуру вируса трахомы путем заражения куриного эмбриона. Но другие исследователи не могли повторить этого эксперимента.

Сообщения о новых неудачах вирусологов с мировыми именами не вызвали в Шаткине сомнений и неуверенности; наоборот, в каждом опыте он искал крупицы истины, которые можно было использовать для дальнейших исследований.

Шаткин решил продолжить неудавшиеся опыты Аракава и Китамура сделать попытку заразить трахомой белых мышей путем инъекции в головной мозг. Впрочем, эта мысль имела предшественников. Еще Луи Пастер, занимаясь научными изысканиями, предложил ввести микроб бешенства в мозг собаки: он хотел воспользоваться мозгом живого существа «в качестве колбы с бульоном».

Вакцинация морских свинок. Слева: лаборант В. Носова и старший лаборант В. Мартынова.

Теперь такой колбой с питательной средой для вируса должен был стать мозг белой мыши.

Даже подготовительный этап работы был сопряжен с длительными разведками. Перед Шаткиным встали, казалось, мелкие вопросы почти технического характера: куда поместить материал с глаза больного, в какую среду? Как очистить этот материал от микрофлоры? Ведь, помимо вируса трахомы, в глазах больного имеется масса микробов; попав вместе с трахоматозным вирусом в мозг белой мыши, эти бактерии могут вызвать побочные заболевания у животного. Следовательно, нужно было найти средство, убивающее всех микробов, находящихся в материале, кроме трахоматозного вируса.

Наконец методика получения вирусосодержащей жидкости была закончена.

Для выделения вируса он поставил опыт в многочисленных вариантах. Воспользовался соскобами, взятыми от двадцати четырех больных и обработанными разными способами; иногда вводил материал в одно полушарие головного мозга, в других случаях — в два полушария одновременно.

Опыт разветвлялся в десятках направлений, и это осложняло работу исследователя.

Но самое удивительное заключалось в том, что после введения вируса все мыши остались совершенно здоровыми. Казалось, они вовсе не реагировали на инфекцию и весело шныряли по клеткам, проявляя и отличный аппетит и завидную резвость.

Анатолий не отчаивался. Выждав определенный срок, он забивал внешне совершенно здоровых животных, используя их мозговое вещество для инъекции новой партии мышей. В науке это называется слепым пассажем. Анатолий надеялся на то, что иногда действие инфекций выявляется после ряда слепых пассажей.

Действительно, некоторые мыши начали менять поведение — становились вялыми, малоподвижными, шерстка у них взъерошивалась. Но эти симптомы были кратковременны и быстро исчезали; трудно было решить, какая причина вызвала легкое недомогание подопытных животных.

В семи исходных опытах Шаткин до двадцати четырех раз повторял эти слепые пассажи. Более ста шестидесяти раз он вводил белым мышам взвесь, полученную из мозгового вещества ранее зараженных и забитых животных. Вирус оказался коварным; он или потерял свои злокачественные свойства, или они притаились до времени.

Шаткин проявил настойчивость и хладнокровие. Большой поддержкой для него была помощь со стороны его научного руководителя доктора медицинских наук И. И. Терских.

И наконец тяжелое заболевание и гибель четырех мышей. Вирус, мирно пройдя через мозговые клетки нескольких десятков животных, неожиданно проявил свою скрытую губительную сущность.

Так были выделены четыре штамма, вызывающие у белых мышей через трое-четверо суток после инъекции неизбежное заболевание со смертельным исходом.

Но была ли это все-таки трахома? Косвенный ответ на такой вопрос дало исследование мазков — отпечатков мозга погибших животных.

Да, несомненно, в полученных штаммах находились фильтрующиеся вирусы, по внешнему виду очень похожие на тельца Провачека. Но Шаткин знал, что и до него десятки ученых,

занимавшихся поисками этого возбудителя, слишком рано торжествовали победу. Анатолий произвел и другие контрольные опыты, которые подтвердили, что он действительно достиг цели. Но наука не терпит приблизительности. Анатолий помнил знаменитую триаду Коха, который считал, что каждый исследователь, занимающийся изучением причины возникновения инфекционного заболевания, должен ответить на три вопроса.

Прежде всего выделить от больного возбудитель и получить его лабораторную культуру. Затем привить эту культуру на восприимчивый организм, чтобы воспроизвести типичную картину заболевания. И, наконец, вновь выделить у зараженного объекта агент для сопоставления с первоначальным возбудителем.

Первая задача была решена дважды. Исследуя культуру, полученную из мозга белых мышей, Шаткин параллельно вел успешные опыты по выделению вируса трахомы на желточных мешках куриных эмбрионов.

Живые зародыши, развивающиеся в инкубаторах, стали своего рода маленькими лабораториями для выращивания миллионной армии возбудителя трахомы. Пробив толщу скорлупы, игла исследователя проникала в желток, впрыскивая вирусосодержащую жидкость. В отличие от опытов с белыми мышами уже на втором пассаже вирус начал оказывать свое действие, убивая эмбрионов. Вскрыв яйцо с павшими эмбрионами, Шаткин делал мазки — отпечатки желточных мешков — и тоже находил в них элементарные тельца, по виду похожие на образования, заполняющие тельца Провачека.

Этот способ выделения лабораторной культуры вируса давал почти полную гарантию ее стерильности. И для ответа на две последующие задачи из триады Коха Шаткин решил пользоваться вирусной культурой, выделенной на куриных эмбрионах.

Но решение этих задач было возможно только путем заражения человека полученными лабораторными штаммами, потому что типичная картина трахомы бывает только у людей. Однако не всякий энтузиаст согласится первым привить себе тяжкую болезнь.

4. ИТАК, ТРИАДА РЕШЕНА!

Впрочем, это не совсем так. Когда Шаткин докладывал о своих исследованиях на заседании офтальмологического общества в Башкирии, десятки присутствующих заявили о том, что ради победы над этой болезнью они согласились бы добровольно привить себе трахому.

Да, готовность к подвигу является типичной чертой советских людей. Сколько врачей, спасая во время эпидемии тысячи жизней, сами падают, сраженные болезнями!

Не многим известно скромное имя русского врача И. А. Деминского, который погиб, занимаясь выделением чумного микроба от суслика. Советский вирусолог М. П. Чумаков чуть не поплатился жизнью, заболев энцефалитом во время поисков возбудителя этой болезни. Таких примеров очень много.

Но бывают случаи, когда во имя интересов науки медики идут на риск более прямой и опасный. Речь идет о прививке себе возбудителя инфекции или нового средства для ее подавления.

Еще великий Пастер, открывший вакцину против бешенства, писал: «У меня большой соблазн начать с самого себя: привить себе бешенство, а затем задержать его последствия».

Случай помешал Пастеру поставить на себе этот опасный эксперимент. Но его близкий соратник, создатель теории иммунитета Илья Мечников, решился на подобный рискованный опыт, чуть не стоивший ему жизни. Занимаясь изучением свойств холерного микроба, разрабатывая меры борьбы с этим заболеванием, он прибегнул к самозаражению.

Советский врач М. П. Покровская заразила себя чумой, чтобы проверить действие созданной ею противочумной вакцины.

Эти факты известны. Но мало кто знает о том, что каждый новый препарат или медикамент, прежде чем он поступает в клинику для лечения людей, проверяется на добровольцах, и такими добровольцами являются большей частью создатели этих лечебных средств.

Нет ничего удивительного в том, что Анатолий Шаткин решил проверить природу выделенного им возбудителя трахомы, привив его самому себе.

Несмотря на то, что зрение у Шаткина стало падать, это не мешало ему регулярно приходить на работу и наряду с другими опытами тщательно записывать наблюдения над своим состоянием...

Когда у него появились трахоматозные зерна и началось помутнение роговицы, товарищи по работе стали настаивать, чтобы он скорее начал курс лечения: ведь известные пока средства против трахомы надежно действуют только в начальной стадии болезни. Однако Шаткин приступил к лечению после того, как из эпителия, снятого со слизистой его век, вновь был выделен вирус. Он оказался абсолютно идентичным первоначальной культуре вируса.

Итак, триада Коха была решена!

Уже прошло два года после того, как Шаткин привил себе трахому. В течение шестимесячного усиленного лечения активное развитие процесса было приостановлено. Зрение полностью вернулось.

Теперь уже не приходится сомневаться в успешном исходе опыта: благодаря тому, что выделена лабораторная культура трахоматозного вируса, создаются препараты для ранней диагностики и радикального лечения этой болезни.

А Шаткин, защитив диссертацию на звание кандидата наук, продолжает свои исследования.

В прошлом году он вместе со старшим научным сотрудником Института глазных болезней имени Гельмгольца А. З. Гольденберг сумел выделить штамм еще одного вируса — возбудителя трахомоподобного вирусного конъюнктивита. Для этой болезни характерны некоторые симптомы трахомы, но протекает она легче и излечивается быстрее. До сих пор не было специальных средств против этого заболевания. Теперь получена реальная основа для их разработки.

Анатолий ведет и другие интересные опыты, о которых говорить пока преждевременно. Но ведь подлинного ученого можно уподобить альпинисту: когда он берет трудную высоту, перед ним открываются новые горизонты, встают новые вершины, и, чтобы взять их, требуется много сил, упорства и мужества.

Разговор по душам

А. ЛЕСНОВ,
Н. ШАШКИН

Чтобы людям жилось лучше

— Нет, вы уж лучше блокнотик свой спрячьте. Разговор у нас по душам, и записывать тут нечего.

Я не спорю. Послушно закрываю блокнот. Мои собеседники твердо убеждены, что разговор разговором, а газете или там журналу нужно совсем другое — официальное, общепринятое. Прощаясь со мной, они долго просили извинения:

— Совсем заговорили мы вас, бедную. А по делу вроде ничего не сказали. И о чем только писать будете?

А я не буду. Зачем? То, что они мне рассказали, настолько интересно, что не нуждается в комментариях. И я охотно возьму на себя роль стенографистки.

Их двое — Саша Леснов, председатель колхоза, и его заместитель Коля Шашкин. У каждого за плечами — двадцать пять и биография, гладкая, как беговая дорожка. Школа. Техникум. Армия. И, наконец, комсомольская работа.

Есть такой город во Владимирской области — Муром. 1 100 лет ему от роду. Город с колокольным звоном и большим радиозаводом, с рынком на центральной площади и драматическим театром, «совсем, как в Москве». Вот в Муромском горкоме комсомола они и познакомились. Два комсомольца. Два человека — по-моему, очень хороших человека. Саша — второй секретарь, Коля — инструктор. Работали, не ссорились, помогая друг другу чем могли. А потом (как это пишут в газетах) «по призыву партии и велению сердца поехали на работу в село...».

Вы скажете: очень интересно, только все это уже было, было!.. Да и формулу «по призыву» и прочее наизусть помним, как пример простого предложения из школьного учебника.

Простое, говорите? Нет, дорогой читатель, не так это просто, как иногда кажется. Совсем не просто, когда семья, привычная городская жизнь, дом... Ну да, личная собственность, по камешку выложенная собственными руками. Это легко сбрасывается со счета в плохих статьях, а в жизни над этим мучаются, до одурения думают, выкуривая за ночь не одну пачку «Беломора». А наутро (не первое, скорее, десятое) идут в райком партии и далеко не всегда с улыбкой говорят: «Еду».

И едут. А встречают их молча, настороженно. Кто такие? Откуда взялись? Все кладут на весы колхозники: и годы (больно молоды), и костюм (ишь, вырядились!), и разговор (небось, по-нашему, по-простому, не умеют). Нет, не сразу, не вдруг, а постепенно, нехотя привыкнет деревня к «чужим» несельским парням. К тому же не рядовые они, начальники. А начальников поначалу всегда не очень-то любят.

Только через год признают колхозники, что «ребята они ничего, работящие. Дело свое знают — про то и говорить нечего».

А еще через год: «Наши-то вона какой коровник отгрохали, и телятник, и конюшню. А техника у нас теперь, как на заводе. Опять же, трудодни увеличили, деньжат побольше дали и хлеб... Наши-то...» Наши!

Они очень разные, хотя в колхозе всегда говорят о н и, даже если речь идет об одном.

На снимке вверху: председатель колхоза «XIII лет Октября» А. Леснов (справа) и его заместитель — Н. Шашкин.

Фото А. Хлавна.

Саша — это человек на роликах. Он все время в движении, ни минуты не может усидеть на месте. А если сидит, то каруселью ходят его руки. Если молчит, то выразительно шевелятся губы и подпрыгивает кверху и без того курносый нос. Он почти как Юлий Цезарь: делает одновременно кучу дел. Закуривает, подписывает бумаги, говорит и даже в самые острые минуты спора умудряется таращить один глаз в окно, чтобы не упустить какого-то Сидорыча, который вот-вот подъедет с последней машиной капусты, спросить проходящую мимо тетю Дашу, удались ли нынче маринованные грибки, отчитать киномеханика: повадился, чтоб его... фильмы крутить в нетрезвом состоянии. И все это напористо, резко, страстно. Он напоминает оратора, который умеет так захватить аудиторию, что та незаметно подчиняется лихорадочному темпу его мыслей.

Коля—тот совсем другой. Леснов называет его своим ЦК, так сказать, руководящей и направляющей... Коля — парторг и одновременно заместитель председателя. Он застенчив, молчалив. Его большое, грузное тело точно приросло к стулу. Мы разговаривали пять часов, и за это время он ни разу не встал, не прошелся по комнате. Лицо его тоже неподвижно, словно застывшее. Иногда кажется, что он спит. Самое живое на этом лице—очки. Вероятно, они велики и потому все время съезжают с переносицы. И тогда вдруг открываются глаза — маленькие, но всевидящие, с каким-то точным прицелом, который заставляет думать, что человек этот давно все про тебя знает. Но уже через секунду глаза прячутся за стеклянной броней, и снова перед вами сонный, равнодушный Коля с чуть заметной снисходительной усмешкой. Сначала меня раздражала эта безучастная монументальность, но очень скоро я поняла, какая за ней скрывается напряженная работа мозга, где каждое слово тщательно продумывается, прежде чем произносится вслух.

Пожалуй, все. Остальное вы поймете сами. Итак, с чего же начался наш разговор?

Алла ГЕРБЕР

САША. Вы спрашиваете, какие нас сейчас волнуют проблемы? Пожалуйста, вот она, наша главная проблема,— идет, пританцовывает. Пелагеей называется. Приехала из города подышать в родном селе свежим воздухом. Здешняя она, здешняя. Здесь родилась, отсюда бежала. Замуж вышла за городского, чтобы к цивилизации приобщиться. Ну и приобщилась. Три дня пожили и разошлись — по несходству характеров. Мы ей: Пелагеюшка, голуба ты наша, возвращайся обратно в деревню. Ведь лучшей дояркой была. 140 целковых как одну копейку получала. А в городе за тридцатку нянькой в детском саду работает. Думаете, вернулась? Как бы не так. Нашли, говорит, дурочку. Хватит, по горло сыта вашей деревенской жизнью. В городе кино, клуб, парк. Сама оденешься и на людей посмотришь. А у вас с тоски зачахнешь и не заметишь, как старухой станешь...

Вот вам и ответ. Попробуйте ее убедить. В чем-то она, конечно, права: действительно, куда у нас в селе пойти?.. Некуда. Клуб, говорите? Да, клуб у нас есть. Не то хлев, не то сарай. Коровник — и тот поприличней нашего клуба.

КОЛЯ. Точно, Саша, дело говоришь. Беда у нас с клубом, товарищ корреспондент. Видите, вон там, на горке, церковь стоит, дряхлая, заколоченная, а все красивая. В прежние-то времена люди в церковь, как на праздник, ходили — принарядятся, причешутся. Идут такие торжественные, важные. А в нашем клубе не то что в платье, а в шубе сидеть холодно. Вот люди и говорят: храм божий закрыт, а взамен что? Чулан? Как хотите, товарищ корреспондент, а вы уж передайте там, кому следует: клуб нам позарез нужен. Не храм, не дворец, а простой бревенчатый дом, только побольше да попросторней. Мы бы своими руками построили, да смету не спускают. Не положено, говорят, сейчас культурные учреждения строить. Что-то я такого постановления нигде не читал. Дворцы со всякими там украшениями — те, правда, народу ни к чему. А клуб — это же не дворец. Без клуба нам теперь никак нельзя. Народ к культуре тянется. Хорошо, что на пленуме Никита Сергеевич об этом сказал: «Бюрократы перестали строить клубы и культурно-бытовые учреждения даже там, где они крайне необходимы». Наверное, теперь и у нас клуб будет.

САША. Ну, брат, ты такой длинной речи еще никогда не выдавал. Во всем я с тобой согласен, только правда твоя неполная, половину правды сказал. Ну, построим клуб. А работать там кто будет? Я, да ты, да мы с тобой? Или тетя Глаша с трехклассным образованием?! За гроши сейчас никто работать не хочет. У меня бухгалтер... Да что там бухгалтер, уборщица больше получает. На этом нельзя экономить. Чем умнее и опытнее будет наш культурник, тем больше знаний он людям даст. Ум развивать надо, как мускулы. И тренер к нему должен быть приставлен опытный, умелый. Я вот часто думаю, сколько у нас в стране школ культпросветработы, сколько людей там учится. А где они? Кое-кто в городе газировкой торгует или подвязками. Что же, за подвязки платят больше, чем за культуру?

КОЛЯ. Ты погоди, Саша. Не спеши с выводами. Не в одних деньгах тут дело. Мы бы с тобой в лепешку разбились, но знающему человеку заплатили б сколько надо. А вот не едут. Надо своих, местных, учиться посылать. И в школы и в сельскохозяйственные институты. Да заранее планировать, сколько нам специалистов на ближайшие годы потребуется. Пусть бы их даже без экзаменов принимали, толку все равно больше, чем от городских. Они деревню лучше знают, привыкли к ней и обратно обязательно вернутся. А не вернутся — обяжем. И зарплата — это, конечно, тоже важно.

САША. И еще: надо что-то сделать с нашими торгашами!

КОЛЯ. Да погоди ты, Саша. Какие торгаши? Где ты в деревне торгашей видел? Ну, продают излишки, но разве это торгаши?

САША. Ты мне рот не закрывай, я правильно говорю. Разговор у нас задушевный. Можно все начистоту выкладывать. Находятся такие «старички» (это для колхоза они старички, а для себя сутками работают, не устают). Так вот, со своего участка они тройные урожаи снимают, а потом на базар мешки возят. Деньги в кубышку откладывают. Моя бы воля — срезал бы я им землю. Да не могу: прав не имею. Между прочим, работают они на своих участках культурно, по-научному. Школу хорошую прошли, колхозную. И теперь здорово ту культуру на свой карман используют. Эх, гнал бы я их отсюда!

КОЛЯ. Опять спешишь, Саша. Все у тебя крайности. Не гнать надо, а воспитывать.

САША. Ты мне передовицы не цитируй, я их и без тебя читаю. Такого уж не перевоспитаешь. Один выход — резать участки. Лучше другому отдать, кто действительно в участке нуждается. Не по ду́шам сотки раздавать, а по людям. На человека смотреть — какой он, как в колхозе работает, зачем ему участок нужен — для себя или для барыша. А то всех на один аршин мерим.

То же и с молодежью: подают заявление — отпустите из колхоза. Я не отпускаю. Они на общее собрание. А там все добрые. Кто-то вспомнит, как Колька гусей гонял, как он без штанов бегал. Умилятся, всплакнут: иди себе, Коленька, своей дорогой; посмотри, как люди живут, а мы и без тебя обойдемся. Да не обойдемся же, черт возьми! Людей не хватает. То студентов приглашаем, то рабочих. Все нам помощники нужны. В городе двести человек из нашей деревни работает: своих отпускаем, у городских помощь клянчим. Нельзя так больше, нельзя людей отпускать.

КОЛЯ. Запретить легко. Раз запретишь, другой, а он все равно уйдет. В городе завод, большая жизнь. Нет, брать тут нужно не запретами, а сознанием.

САША. Золотая голова у тебя. Будто я и сам не знаю, что такое сознательность. Мы когда с тобой в горкоме работали, все лозунгами говорили: «На комсомол опираться надо, комсомольцы — это люди с переднего края». А возьми-ка наших комсомольцев. Много они нам помогают? Да какие они комсомольцы — только взносы платят, да и то нерегулярно.

КОЛЯ. Мастер ты, Саша, факты констатировать, а вот о причинах не задумываешься. Как, по-твоему, случайно, что ли, они такие несознательные? Может, мы с тобой, бывшие комсомольские работники, сами в этом виноваты. Мы и виноваты, что они живут по инерции, не задумываясь. И не потому, что не хотят, а потому что этого с них не требуют, не учат думать. А главное, им кажется, что они в комсомоле, как большая, бесформенная масса — все на одно лицо. Райком чем интересуется? Планами, производством. Давай, давай. Верно, производством надо заниматься, ну, а души... Нет, ты мне скажи, кто о душах их позаботится? Не к богу же обращаться!

САША. Все точно, Коля. Я и сам так полагаю. Человек и работать будет лучше, если почувствует, что о нем, о человеке, больше думают. Вот недавно приезжал к нам в колхоз один инструктор из райкома. Подошел к доярке. «Как,— говорит,— Глафира, твоя Буренка кушает, как спит, как доится, не болит ли у ней чего?» А Глафира возьми да расплачься. Он растерялся: «Чего ревешь, обидел я тебя, что ли?» А она навзрыд, еще пуще заливается. Так ничего и не сказала. Мне после призналась: «И чего он меня все про корову спрашивал, а я что — не человек? Может, у меня самой какие обиды есть, может, я чем недовольна, и жить мне трудно, и из дома бежать хочу: с родителями все не лажу? Кому до этого дело? Он знай себе требует, а мы требования его выполняй!»

Я тогда ночь не спал, все думал: что же такое комсомол? Разве мало у нас хозяйственных организаций, которые за производство отвечают, за урожай, за поголовье, за удой? Конечно, комсомольцы в производстве — первые люди. Но нельзя же всю комсомольскую работу сводить к требованиям — выполняй, перевыполняй... Забываем мы порою, что комсомолец — это не только производственная единица и взносоплательщик. Он прежде всего человек, который страдает, радуется, к чему-то стремится, о чем-то мечтает. Но для нашего райкома нет Глафиры, а есть доярка; нет Пети, а есть тракторист; нет Саши Леснова, а есть председатель колхоза. Вот бухгалтерией и занимаются, хвосты подсчитывают: кто сколько дал, а кто недодал, кто выполнил, а кто недовыполнил. В колхозе пятнадцать комсомольцев, все разбросаны по разным участкам, а райкому подавай сведения, сколько комсомольцы посеяли и сколько сняли. Для чего? Да только для отчетности, чтобы в обком было что́ послать. Мол, так и так, комсомольцы приняли активное участие в севе. Я понимаю, были бы у нас молодежные бригады или молодежные фермы. Но ведь нет этого, комсомольцев — раз-два и обчелся.

КОЛЯ. Винить тут некого, виновники мы сами. Я только вот о чем думаю. Поздно, правда, понял это, но хорошо, что понял. Прежде чем на руководящую и комсомольскую работу человека брать, надо заставить его с людьми поработать, душу их узнать. Сейчас новая крайность появилась: главное, чтобы в райкомах все были с высшим образованием. Диплом — это еще не все. Сердце нужно, глаз и ухо чуткое, чтобы все видеть и понимать, чтобы с людьми, а не с бумажками работать. А в райкомах иной раз как за железным забором сидят. Даже формула есть такая: «Я на комсомоле работаю». «На комсомоле» — что это такое? Учреждение или департамент какой! Комсомол не учреждение, комсомол — это люди. Вы пойдите на наше комсомольское собрание, послушайте, о чем там говорить будут. Два слова о кукурузе, а потом на три часа пойдет житейский разговор. Жить людям хочется хорошо, весело. Вот они и жалуются, что музыки нету, и клуба, и артисты не приезжают, и лекторы плохие: на лекциях от скуки мухи мрут. Сельский человек — труженик, работяга, от работы он никогда не отказывался. Но хочет, чтобы и о нем, о человеке, подумали. Потому я и не удивился, когда на последнем собрании все как один говорили: давай нам, Шашкин, клуб хороший, артистов приглашай. Надоело вслепую жить, хотим все знать, все видеть.

САША. Ну вот, Коля, выходит, снова мы вернулись к тому, с чего начали наш разговор. А начали мы его с Пелагеи, которая хочет хорошо одеваться, гулять в парке и ходить в кино. И потому живет наша Пелагея в городе, а сюда приезжает свежим воздухом дышать. Что ж, будем бороться, докажем ей, что и у нас не хуже, чем в городе. Сегодня коровник построили, а завтра, глядишь, и клуб появится, и кафе, и ателье мод — все будет, только бы нам не мешали.

КОЛЯ. Только бы не мешали... Помнишь, как трудно нам было в этом году поднять людей на сбор урожая? Дожди поля затопили. Колхозники говорили: чего работать, все равно план не выполнить, на трудодни ни черта не получим. Во всех окрестных колхозах уныние. Ждут указаний от райкома. А райком не торопится: раздумывает. Мы тогда со стариками посоветовались и решили: лозунгами и призывами тут ничего не сделаешь. Собрали людей и говорим: «Что бы ни случилось, снижать оплату по трудодням не будем. И даем аванс не 50, а 70 копеек на трудодень. Но и с вас требуем — хватит панику разводить. Будем работать, спасем урожай...» И работали в три смены, побригадно, не загоняя людей, давая им отдохнуть. В райкоме удивились. Говорили: не имели права обещать, а вдруг бы план не выполнили. А мы первыми в области урожай сдали. И все потому, что люди поняли: мы не об одном плане, о них, людях, тоже думаем.

САША. Вот вам и наши цели, и планы, и задачи — в одном предложении уместить можно. Делать все, чтобы людям жилось лучше. Или нет: не просто лучше, а хорошо, очень хорошо.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОНУМЕНТ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

Двадцать с лишним лет простоял на одной из центральных площадей Москвы монумент «Свобода», воздвигнутый по личному указанию Владимира Ильича Ленина. Он был сооружен в 1918 году, к годовщине Великой Октябрьской революции. Перед зданием Московского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов вознесся трехгранный обелиск из серого камня, а у его подножия застыла в торжествующем приветствии сама Свобода, воплощенная в образе сильной и бесстрашной женщины. Авторами монумента был знаменитый советский скульптор Н. В. Андреев и архитектор Д. Осипов.

Позже у основания памятника были укреплены бронзовые доски с текстом первой Советской Конституции. А изображение монумента вошло в первый советский герб города Москвы — столицы нашего государства. В 1940 году монумент «Свобода» был разрушен. Забыт был и герб города Москвы.

Сейчас правительством принято решение о восстановлении исторического монумента, воздвигнутого по ленинскому плану монументальной пропаганды. А находящийся на этом месте памятник Юрию Долгорукому будет перенесен на другую площадь.

В связи с этим хочется вспомнить и о гербе Москвы. Созданный при жизни Ленина герб взамен старого с изображением Георгия Победоносца дожил до наших дней лишь в орнаменте перил Большого Каменного моста.

Столица каждого государства имеет свой герб. И в связи с реставрацией монумента «Свобода» нам кажется целесообразным обсудить вопрос и о восстановлении герба Москвы.

В ПОХОД ПРОТИВ ГНУСА

Строителям новых городов, промышленных комбинатов, электростанций в Сибири, геологам и геодезистам большие неприятности доставляет гнус — бесчисленное множество летающих, кровососущих насекомых.

Для борьбы с гнусом предлагались различные средства — мази, жидкости, густые сетки. Но все они только на короткий срок спасали человека от мошки и комаров.

Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук СССР успешно решил проблему борьбы с гнусом. На плавающем гусеничном транспортере, которому не страшны бездорожье, болота и озера, установлен турбореактивный двигатель с самолета. Включенный двигатель создает облако из ядохимикатов, убивающих гнуса, но безвредных для растений, животных, человека.

Мощный аэрозольный генератор способен за один час уничтожить гнус на площади около десяти тысяч гектаров. Стоимость обработки одного гектара — 12 копеек.

ГЕРОЙ-ПАРАШЮТИСТ—ЧИТАТЕЛЯМ «ЮНОСТИ»

Высота — 25 с половиной километров!

Здесь температура минус 60 градусов, а воздух так разрежен, что кровь в жилах закипает. На этой высоте еще ни один человек не осмелился покинуть герметическую кабину летательного аппарата. Но 1 ноября 1962 года нашлись два смельчака — советские парашютисты Е. Н. Андреев и П. И. Долгов. На высоте 25 458 метров кабину аэростата «Волга» первым покинул Е. Андреев. Вслед за ним прыгнул П. Долгов.

Двадцать четыре километра свободно падал на землю Е. Андреев. Он летел, не раскрывая парашюта, со скоростью 900 километров в час, и лишь за полторы тысячи метров от земли спортсмен дернул за кольцо и благополучно приземлился. К сожалению, на пути к земле, во время прыжка, оборвалась жизнь П. И. Долгова. Парашют бережно опустил его тело.

Отважным парашютистам Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.

Мы публикуем портрет Евгения Андреева работы молодого художника В. Недзвецкого и обращение героя-парашютиста к читателям нашего журнала.

Дорогие читатели „Юности"
будьте готовы к подвигам во имя науки
Начинайте со школьной скамьи
и делайте всю жизнь
Будьте готовы к труду всегда
И в какой бы отрасли человеческой
деятельности вы не совершенствовались,
всегда будьте честными и принципиальными,
до конца выполняйте свой долг Родине

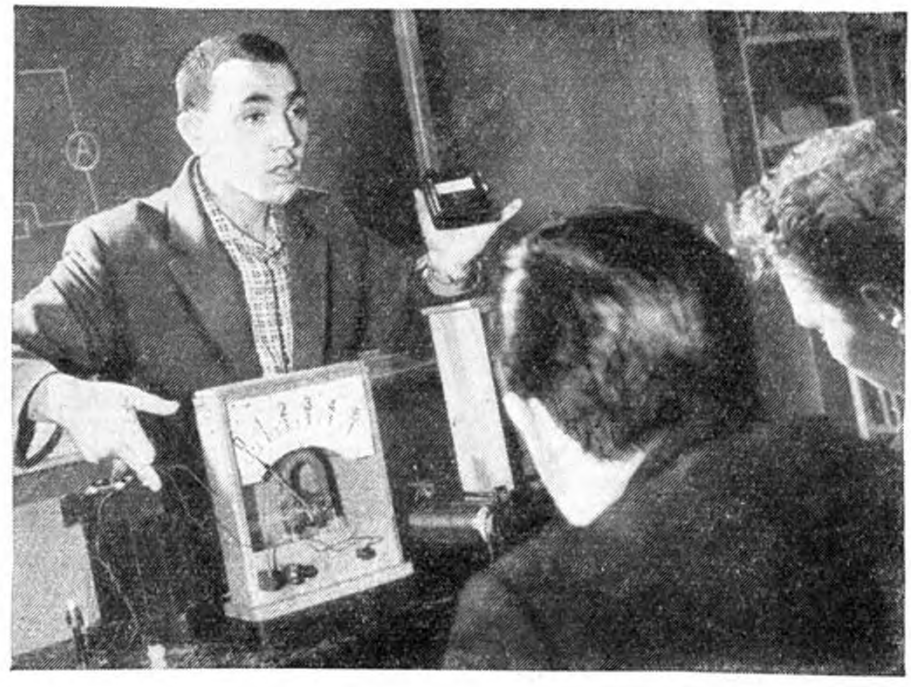
Е. Андреев

ДОБРОЕ ДЕЛО СТУДЕНТОВ КАЗАНИ

Открытием новой школы рабочей молодежи никого у нас не удивишь. Тысячи таких школ созданы в нашей стране. Но об этой все же стоит рассказать.

Новая вечерняя школа для юношей и девушек Казани, работающих на предприятиях, резко отличается от всех остальных. Она создана по инициативе комсомольцев и работает на общественных началах. Все предметы здесь преподают в свободное от учебы время студенты городского педагогического института. В этой необычной школе около ста учащихся.

На нашем снимке — урок физики в восьмом классе проводит студент четвертого курса Роберт Каримов.



И. МЕТТЕР

Унылый АВТОРИТЕТ

Мне не хотелось бы сейчас называть номер этого училища и район, о котором пойдет речь, ибо люди нынче в училище уже новые, а района и в помине нет: больше года назад он был ликвидирован, земли его отошли к двум соседним районам. Не хотелось бы мне упоминать ни настоящие названия, ни действительные фамилии; в моей памяти застряли кое-какие впечатления, они тяготят меня...

С Валей Кузнецовой, комсоргом сельскохозяйственного ремесленного училища на Карельском перешейке, я познакомился еще до того, как приехал в ее поселок. Встретились мы с ней в райкоме комсомола, где проходил семинар секретарей первичных организаций.

Мне запомнилась Валя Кузнецова, во-первых, потому, что она была красивой девушкой, и, во-вторых, своей угрюмостью. Может, это ее свойство следовало обозначить как-нибудь помягче, ну, скажем, грустью, однако угрюмость будет точнее.

Валя не задавала никаких вопросов, а их на семинаре было великое множество: и откуда писатели берут своих героев — из головы или из жизни, и что такое вдохновение, и скоро ли появится хорошая, правдивая книга о сельских комсомольцах, и почему покончил с собой Маяковский? Инструктор райкома даже спросил у меня, не могу ли я помочь создать гимн молодежи данного района. На последний вопрос я ответил, что стихов вообще не пишу, а если бы и писал, то оснований для сочинения особого гимна данного района не вижу.

Валя Кузнецова ни о чем не спрашивала. Она украдкой посматривала на часы, что, признаюсь, расстраивало меня.

После этого мимолетного знакомства я в течение года несколько раз бывал в том училище, где Валя работала комсоргом. Честно говоря, она не производила на меня яркого впечатления.

Есть такой тип, я бы сказал, пожилых комсомольских работников, «огрузневших» для комсомола; они уже тяготятся своим пребыванием в молодежной организации, и, вероятно, поэтому считается, что они могут занимать в ней только командные должности. Почему-то порой положено думать, что на этих должностях надлежит сидеть наиболее «солидным» людям. Первое, что они усваивают, так сказать, с лету, с ходу,— это терминологию. Не методы работы, не стиль поведения, а именно терминологию.

Я присутствовал как-то (чуть было не написал «мне довелось присутствовать»; это очень нынче в моде — писать «мне довелось»; звучит вроде скромнее — дескать, не я сам, а мне довелось!), так вот, я присутствовал как-то на комсомольском собрании педагогического института. И меня еще тогда, несколько лет назад, поразило, что докладчик, сделавший один из самых унылых докладов, какие мне когда-либо довелось слышать, употреблял терминологию, совершенно не соответствующую ни его докладу, ни его дородной фигуре. Раз десять на протяжении часа он говорил, что в комсомоле надо работать «с огоньком, с живинкой в деле». Эти симпатичные когда-то слова, сказанные кем-то впервые горячо, от души, постепенно были измордованы частым и неуместным употреблением. Комсомольский докладчик пединститута подсчитывал с трибуны, сколько процентов ребят работают с огоньком, а сколько — без огонька, сколько — с живинкой, а сколько — без живинки.

Кстати, как бы это нам научиться, ну, что ли, душевной бережливости? Мы поразительно легко, с бессмысленным расточительством мота и транжира швыряемся пламенными словами, отчего они гаснут буквально на лету. Это ведь не так маловажно, как может показаться с первого взгляда. При помощи слов, как известно, принято выражать свои суждения. А линялые слова порой дискредитируют важные и нужные людям мысли. И это особенно необходимо помнить при общении с молодежью. Молодые люди чрезвычайно остро реагируют на захватанные словосочетания: это их до такой степени раздражает,

что они перестают понимать разницу между ценной мыслью и ее плоским выражением. Кое-кто из них готов шарахнуться в сторону только потому, что лишний раз наткнулся на тоскливую банальность. И если не следует преувеличивать вред этих треклятых банальностей, пошлостей, то не следует и преуменьшать его. Осточертевшие пошлости въедливы, как клещи, их надо уничтожать повседневной скромной опрятностью речи.

Вернемся, однако же, к тому типу комсомольских работников, с которых я начал свое длинное отступление. Характерно для них еще и то, что рядовые комсомольцы обращаются к ним почтительно, по имени-отчеству и на «вы», а солидные эти комсорги говорят ребятам из своей организации «ты» и обращаются к ним, как правило, по фамилии. Обычно такой комсорг «привозной»: он не был членом того коллектива, где сейчас работает. Его «привезли» прямо на отчетно-выборное комсомольское собрание; привез представитель райкома комсомола и рекомендовал собранию в секретари.

Рекомендованный секретарь рассказывает собранию свою биографию (а какая такая у него биография? Такая же примерно, как и у тех, кто сидит в зале), и его, за чрезвычайно редким исключением, выбирают.

Я хочу быть правильно понятым. Сплошь и рядом случается, что такие комсорги и секретари оказываются вполне дельными и толковыми людьми (чуть было не написал «ребятами», но вовремя спохватился: язык не поворачивается обзывать этих солидных руководителей веселым словом «ребята»). Повторяю, зачастую они оказываются хорошими, толковыми работниками. Однако при прочих равных условиях несравненно лучше, если секретарь комитета не «привозной», а свой, из своей организации. Он отлично знает ребят, его прекрасно знают ребята, ему дороги их интересы, он ценит доверие старых друзей, комсомольская работа не является для него «службой». Да и вообще, черт возьми, почему, собственно, здоровый коллектив молодых людей не может выдвинуть секретаря из своей среды? В этом есть даже какое-то оскорбительное недоверие.

Что касается Вали Кузнецовой, то она работала в ремесленном училище немногим более года. По профессии совхозный овцевод, она лет пять назад, еще у себя в совхозе, была выбрана секретарем комсомольского комитета. Дело у нее спорилось, и поскольку она вела комсомольскую работу с «огоньком», с «живинкой», ее решили повысить — забрали из совхоза в райком ВЛКСМ и назначили инструктором.

В инструкторской должности особых талантов Валя не проявила, да и пришла пора повысить кого-нибудь еще из района, поэтому ее повезли в училище и рекомендовали в комсорги.

К тому времени Валя Кузнецова была уже замужем. Муж — моряк, служил действительную в Кронштадте. Ребенок воспитывался в совхозе у бабки. Душа Вали разрывалась, как говорится, натрое.

Ничто не связывало Кузнецову с училищем, она отлично знала, что после возвращения мужа с флота они здесь не останутся.

А покуда она служила комсоргом.

Когда я расспрашивал ее о девушках-ученицах, она отвечала тем ровным, спокойным тоном, за которым угадывается не столько покой, сколько равнодушие. Главное же, что сквозило в ее манере и словах,— это твердое убеждение, что она намного старше и мудрее их, она **над** ними, она за них отвечает. Именно и только так: она за них несет ответственность. Не то чтобы они вместе с ней отвечали за общее, интересное дело, а вот именно только так: она за них.

Вероятно, вследствие этого в Вале Кузнецовой ощущалась известная утомленность от сознания той роли, которую она призвана играть в жизни училища. Когда она говорила о девушках, то невольно получалось, что имеются в виду не какие-нибудь конкретные Тоси, Кати, Лиды: имеются в виду советские девушки вообще, так сказать, в их алгебраическом, общем виде. При этом взгляде на вещи и самому комсоргу было нелегко, ибо конкретные Тоси и Кати по своим характерам зачастую не совпадали с алгеброй секретаря комитета.

Только, пожалуйста, не подумайте, что все эти мои умозаключения пришли мне в голову тотчас же, как мы познакомились с Валей. Они накапливались постепенно.

Когда мы ходили с Валей по комнатам общежития, я отчетливо видел, что «ремесленницы» (среди них были девятнадцати-, двадцатилетние девушки) относились к своему комсоргу как к одной из разновидностей начальства; или, может, мягче говоря, как к «старшему товарищу»: ведь это понятие — «старший товарищ» — у нас на редкость емкое.

Отвечая на мои расспросы, кое-кто украдкой поглядывал на комсорга, словно проверяя, нет ли в их ответах чего-нибудь слишком вольного или ошибочного.

И действительно, Валя иногда поправляла их. Я видел, что ей хотелось превратить наш ничем не примечательный разговор в «беседу». Слово это, хорошее, старинное русское слово, под нажимом казенщины изменило свой ясный первоначальный смысл. Под беседой часто понимается нечто весьма одностороннее: пришел докладчик и провел беседу; то есть он-то лично «беседовал», а остальные слушали и молчали. В крайнем случае отвечали на его загодя приготовленные «наводящие» вопросы. Так же, кстати сказать, у нас сильно изменилось понятие «диспут». Удачным диспутом многие считают только такой, где все выступающие повторяют одну и ту же точку зрения.

Так вот, Валю, видимо, не устраивал наш беспорядочный разговор. Она хотела «тематической беседы». Что-нибудь вроде «Любовь к своей профессии» или «Моральный облик советской девушки».

Тематической беседы у нас не получалось. Может быть, я был виноват в этом, но и я спрашивал и меня спрашивали о совершенно различных вещах, из которых девушкам, вероятно, становилось понятным, как я смотрю на жизнь, а мне — как они представляют себе жизнь. Думаю даже, что в результате такого внешне бестолкового разговора становится порой гораздо яснее и моральный облик собеседников и даже их любовь к своей профессии. Яснее, нежели в процессе «тематической беседы» с раз навсегда согласованным планом и раз навсегда подобранными общеизвестными примерами.

И все-таки, несмотря на мою уверенность, что и мне и девуш-

кам разговаривать друг с другом интересно, меня не оставляло какое-то чувство грызущей неловкости перед Кузнецовой. Она сидела с угрюмым, строгим лицом, украдкой поглядывая на часы. Валя отвечала сейчас за то мероприятие, которое проводил приезжий литератор, но само это мероприятие ее-то лично не интересовало.

Перед отъездом из училища я попытался поговорить с нею. Мне хотелось понять, откуда у этого юного руководителя молодежи берется столько старческого безразличия и унылости.

Из вежливости Валя пошла проводить меня к поезду.

— Вам нравится ваша работа? — спросил я, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Ничего, — ответила Валя.

— А не скучно?

— Кому?

— Вам лично?

Она удивленно посмотрела на меня.

— Особо веселиться не приходится. Работы с народом много.

— Это вы ваших девушек называете народом?

— Конечно. А кто ж они? Ясно, народ.

— В общем-то, — помялся я, — все мы народ. Ну, а сама-то работа у вас веселая, интересная?

— Очень ответственная, — пояснила Валя. — С ними, знаете, как? Чуть почувствуют какую-нибудь слабинку — и все! Возраст у них такой.

— По-моему, большинство из них ненамного моложе вас.

— Вот это и трудно, — сказала Валя. — Была б я постарше, легче было бы.

— Чем же?

— Авторитета больше. Самое главное — авторитет. Очень его трудно поддерживать.

— Вы так говорите, Валя, как будто человек существует отдельно от его авторитета.

— Как это отдельно? — не поняла она.

— Ну, как будто авторитет — это вроде шляпы: можно его надеть, а можно снять.

— Без него нельзя, — упрямо сказала Валя и, подумав, добавила: — Дома еще можно, а на работе никак нельзя.

Нам становилось все труднее и труднее разговаривать. Я сорвал с придорожного куста ветку сирени и подал ее Вале.

Мы подошли к станции и с нетерпеливым облегчением смотрели на приближающийся поезд.

— Значит, скучно вам в училище? — спросил я.

— Почему скучно? — пожала плечами Валя. — Я не для себя работаю.

— Для народа? — улыбнулся я.

— Для народа, — без улыбки ответила Валя.

И я подумал, что она говорит правду, но только работает из рук вон плохо.

Когда поезд тронулся с места, я, стоя в дверях тамбура, видел ее, удаляющуюся по лесной тропинке. Валя быстро шла, похлестывая по деревьям веткой сирени.

И выглядел сейчас комсорг совершенно неавторитетно.

Александр Балин

Баллада о головных уборах

Нам не надели кивера
На всенародном карнавале,—
Коленом острым в клевера
Упав,
мы знамя целовали
Гвардейское.
Безусый строй
Был строг.
Волненье сушит глотки...
Наш строй устраивал покрой
На бровь надвинутой пилотки.
И если в ней
в конце концов
Приметы времени и боли,—
Не мы ль донашивали в школе
Буденовки своих отцов?
И научились надевать
Испанку —
наш прицел был дальним:
Вдруг позовут нас воевать
В строю интернациональном?
...По нашим стриженым башкам
Эпоха шла на полном вздохе.
Примерившись к ее шагам,
И мы шагали по эпохе.
И кровью пахли клевера.
Ломало нас,
но не сгибало...
А каски — чем не кивера?
Их тоже пуля пробивала.

Наши интервью

Л. ХВАТ

Снова на материк ТАЙН

Ученые различных специальностей внимательно изучают таинственный материк. На снимке: специальные камеры регистрируют и фотографируют полярные сияния.

К берегам Антарктиды в ноябре прошлого года ушла восьмая южнополярная экспедиция. Ее начальник Михаил Михайлович Сомов перед отплытием рассказывал мне об одной из увлекательных проблем современности — загадках великого белого материка.

...Впервые я встретился с Сомовым двадцать четыре года назад на борту ледокола, шедшего Северным морским путем из Мурманска в Тихий океан и обратно. К 30-летнему гидрологу стекались донесения с десятков научных полярных станций, транспортных судов, самолетов ледовой разведки. Сомов составлял прогнозы обстановки на трассе водной магистрали Арктики и часами пропадал в крохотной лаборатории судна.

Сложилось так, что после этого двойного сквозного плавания через пять полярных морей мы не виделись много лет. Имя молодого ученого временами появлялось в прессе. Он сроднился с Арктикой, ледовыми просторами, пробыл там долгие годы. Сомова назначили начальником дрейфующей станции «Северный полюс-2»; ее ученым выпало использовать и обогатить опыт Папанина, Ширшова, Кренкеля и Федорова, которые в 1937 году первыми применили новый метод изучения Центральной Арктики. Тринадцать месяцев работал Михаил Михайлович на «СП-2», уносимой ветрами и течениями в районе полюса относительной недоступности. Сомову присвоили звание Героя Советского Союза, он превосходно защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

Мы встретились снова осенью 1955 года. Михаил Михайлович, начальник первой советской антарктической экспедиции, готовился к походу на загадочный материк, открытый в 1820 году русскими моряками-исследователями; они свершили бессмертный подвиг, пробившись в неведомый мир гибельных айсбергов, штормов, бесконечной пурги на небольших парусниках «Восток» и «Мирный». Сомов рассказал читателям «Юности» о зимовках, которые предстояло создать у побережья и в глубинных областях замерзшего мира, где не ступала нога человека. Пожалуй, никому, кроме «викинга XX века» Руала Амундсена, не приходилось длительное время путешествовать в высоких широтах Арктики и проникнуть в глубь шестого континента, думалось тогда.

Сомов и его товарищи вернулись с «земли тайн» в начале 1957 года; на антарктических станциях их сменили новые зимовщики. Михаил Михайлович занялся обобщением первых научных работ на ледниковом материке, помогал снаряжать очередные экспедиции, во главе которых стояли А. Ф. Трешников, Е. И. Толстиков и другие выдающиеся полярные исследователи. За эти годы он неоднократно побывал за рубежом. Где? Ответить легко: на всех шести континентах. Научные общества Великобритании и Швеции, членами которых были в свое время Роберт Скотт и Руал Амундсен, наградили Сомова почетными золотыми медалями.

И вот теперь Михаил Михайлович листает стра-

ницы «Юности» за 1955 год и, перечитывая то, о чем некогда рассказывал, улыбается:

— Как малы и неточны были познания об Антарктиде семь лет назад! Ученые шли туда, имея лишь общие представления о «стране Южного полюса» — так именовали шестой континент во времена русских первооткрывателей.

— Вероятно, сведения о нем очень расширились?

— Можно уверенно сказать, что за последние шесть-семь лет человечество узнало об этом материке больше, чем за всю предшествующую историю его исследований, и это достигнуто благодаря плодотворному сотрудничеству ученых разных стран,— продолжает Сомов.— Мы основали поселок и обсерваторию Мирный в начале 1956 года. Исследователи из двенадцати государств—Советского Союза, США, Великобритании, Франции, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины, Чили, Бельгии, Японии и Южно-Африканского Союза — подняли над шестой частью света знамя науки, повели изучение материка, островов и южнополярных морей по обширной программе Международного геофизического года. Строились станции и городки. Ученые Польши, Чехословакии, Мексики и других стран, не имевших своих баз в Антарктиде, сотрудничали с иностранными коллегами на их станциях. Начался обмен кадрами: советские исследователи работали на американских и австралийских станциях, откуда прибывали ученые на советские; бельгийцы трудились на французских...

Все эти события, о которых вспоминал мой собеседник, происходили еще до того, как международный договор определил будущее Антарктиды. Судьбу ее не столь давно решал выбор: быть этой «земле тайн» зоной мира и широкого сотрудничества ученых разных стран или превратиться в базу подготовки войны?

В середине тридцатых годов организатор американских антарктических экспедиций адмирал Бэрд писал, что шестой континент, коммерчески бесплодный, не играющий никакой роли для практических целей, то есть бизнеса, спокойно вошел в царство географии общим владением, как особая сфера влияния мировой науки. Но через десяток лет из США послышались другие песни: агрессивные адмиралы и генералы готовились сделать Антарктику полигоном для испытания различных видов оружия и снаряжения в суровых климатических условиях и тренировки личного состава. Командование военно-морского флота США известило о таких намерениях официально. Американские атомщики хотели испытывать в высоких широтах Антарктики ядерное оружие.

Хотя и не скоро, благоразумие и здравый смысл победили. Осенью 1959 года делегаты двенадцати стран собрались в Вашингтоне на первую международную конференцию, посвященную Антарктике. Сомов был одним из советских делегатов.

— Все участники конференции подписали договор,— рассказывает Михаил Михайлович.— Его первая, важнейшая статья говорит, что Антарктика будет использована только в мирных целях. Там запрещаются всякие милитаристские действия: сооружение военных баз и укреплений, проведение маневров, испытание любых видов оружия, в том числе атомные взрывы. Не допускается использование Антарктики в качестве «кладбища» каких-либо радиоактивных отходов. Свобода научных исследований не ограничивается... Ко времени конференции не оставалось никаких сомнений в успехах Международного геофизического года, и в договоре отмечено: совместные усилия многих государств и сотрудничество ученых разных стран дают возможность эффективно изучать огромные пространства материка при наибольшей экономии средств. Необходимо продолжать обмен учеными между экспедициями и станциями, планами и результатами исследований.

Антарктику официально признали зоной мира. И в этом, с точки зрения всех людей доброй воли, главнейшее достижение международной конференции...

— Читателям «Юности» интересно будет ознакомиться с современными представлениями о «земле тайн».

— Сто тридцать пять лет этот континент слыл необитаемым. Лишь изредка туда прибывали люди — несколько десятков — и в течение года, иногда двух лет работали на построенных ими зимовках. Нельзя же было считать их населением. Ныне в Антарктиде всегда находятся сотни людей, а во время геофизического года было больше тысячи. Однако необходима существенная оговорка: ежегодно население материка меняется целиком — на место прежних приезжают новые исследователи. Другая особенность в том, что Антарктида «оккупирована» только одной половиной человеческого рода, это единственный «мужской континент»...

Сомов рассказывает об успехах советских экспедиций. Им принадлежит честь открытия первых научных станций в глубине ледникового материка: раньше зимовки строили на побережье или островах.

— Наш санно-тракторный поезд вышел из Мирного на юг в апреле 1956 года,— вспоминает Михаил Михайлович.— Первую глубинную станцию мы основали в 375 километрах от главной базы и назвали «Пионерской». Метеоролог и альпинист профессор Гусев с тремя товарищами остался зимовать на высоте трех тысяч метров. Работы для всех оказалось с избытком. У них были продукты девяноста пяти наименований, увлекательные книги, шахматы и другие игры. За долгие месяцы четыре зимовщика ни разу не испытали гнетущего чувства одиночества, преследовавшего путешественников прошлых времен, даже когда в походах участвовали сотни людей. У исследователей «Пионерской» было могучее орудие — уверенная радиосвязь. Они ежедневно переговаривались с Мирным. А какую радость ощущали зимовщики, слушая Москву и Ленинград, голоса своих близких! Гусев и его товарищи знали: если потребуется, к ним из Мирного примчится самолет, доставит все необходимое, увезет в научный городок. Тепло встречали на главной базе глубинных зимовщиков «Пионерской»... Из Мирного мы часто беседовали с зарубежными коллегами, работавшими по соседству. Впрочем, представления о соседстве в Антарктиде своеобразные: за тысячу-полторы километров располагались ближайшие иностранные станции. Мы обменивались радиоконцертами, затевали шахматные турниры...

Двенадцать научных станций построили советские люди на материке за минувшие годы: «Оазис», «Восток-1», «Комсомольская», «Восток», «Советская», «Полюс недоступности», «Новолазаревская»... Больше двух тысяч человек уча-

ствовало в советских экспедициях. Добрая треть личного состава ранее работала на арктических зимовках, дрейфующих станциях. Морские группы ежегодно изучали южнополярные воды.

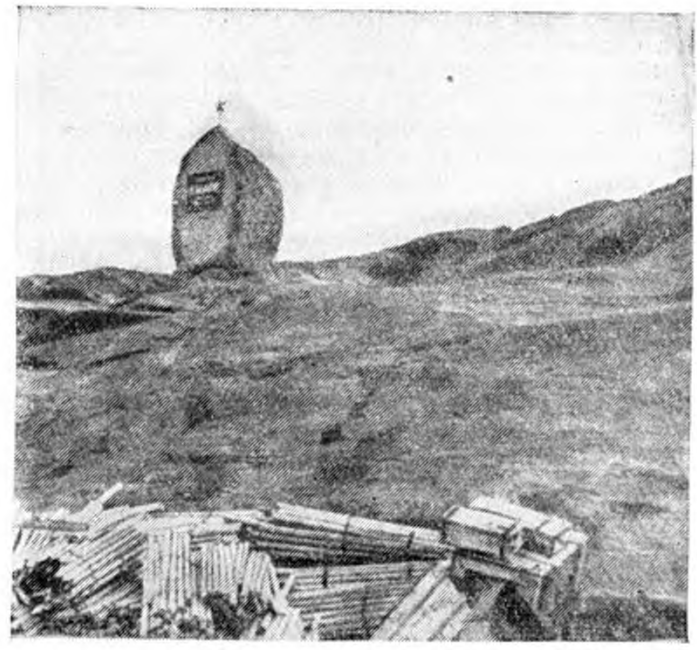
— Наши исследователи владеют первоклассной техникой — самолетами, вертолетами, мощными тягачами, надежной радиосвязью,— продолжал Сомов.— Но природа Антарктиды не изменилась. Даже отлично вооруженным для борьбы со стихией людям очень трудно, а подчас невозможно устоять против леденящих ураганов, многосуточной пурги, переносить морозы, каких никогда еще не испытывал человек. Первой экспедиции пришлось выдержать в Мирном за год двадцать три урагана, главным образом в зимние месяцы. На поселок обрушивался ветер скоростью более тридцати метров в секунду, но, бывало, приборы отмечали вдвое большую силу ветра: он мчался с быстротой свыше двухсот километров в час! Представьте себе человека, вскочившего на крыло самолета, который несется с такой скоростью, хотя... вряд ли кто удержится там хотя бы секунду... Несравнимо труднее приходилось нашим товарищам, основавшим глубинные станции на высоте около 3 500 метров: «Восток», построенный в 1 400 километрах от главной базы, «Советская» и «Комсомольская». Ураганы здесь — частые гости, а люди жили и трудились при самой низкой температуре на всем земном шаре. До того в Антарктиде ниже 61,1 градуса мороза никогда не отмечали...

— Вот что, Михаил Михайлович, вы рассказывали в ноябрьском номере «Юности» за 1955 год: «Возможно, это еще не «рекорд» для Антарктиды и там есть районы, близкие по температуре к Полюсу холода»...

— Это предположение подтвердилось, можно сказать, с лихвой... Долгое время Полюсом холода считали сибирские районы — Верхоянск и Оймекон, в верхнем течении реки Индигирки, где термометр иногда показывал 70 градусов мороза. Но выяснилось, что самые холодные места нашей планеты — в Антарктиде: на станциях «Восток», «Советская» и «Комсомольская» морозы достигали 80 градусов. Ученые станции «Восток» зарегистрировали абсолютно минимальные температуры поверхности Земли: 87,4 и 88,3 градуса ниже нуля! В такие морозы горючее, смазочные масла, металлы, резина теряют обычные свойства, бензин не загорается, сталь делается хрупкой, как стекло. Трудно передать ощущения человека на 80-градусном морозе, если к тому же непрестанно дует ветер, несущий мириады колючих ледяных кристалликов... Конечно, находиться при такой температуре на воздухе, даже в самой теплой одежде, разрешалось лишь минуты, но иные закаленные зимовщики пользовались «моционом» подольше. На прибрежные станции налетали ураганы скоростью до 250 километров в час. Могу с гордостью сказать, что наши полярные исследователи достойно выдержали все удары стихии.

— Как решился научный спор о строении Антарктиды: единый это материк или архипелаг?

— Некоторые ученые допускали, что она состоит из двух или даже большего числа крупных островов, но тщательные исследования убеждают: Антарктида — единый континент. Изменились представления и о ледниковом панцире, которым она скована. Семь лет назад я говорил вам, что толщина его превышает два километра. Наши исследователи обнаружили места, где толща ледникового щита больше четырех километров! Такие исполинские напластования нашли и американские ученые. Разведка показала, что кое-где четырехкилометровые белые гиганты покоятся на скальном основании, лежащем ниже уровня моря. Ледяной панцирь Антарктиды занимает бо́льшую площадь, нежели вся Европа, объем льда континента — около 30 миллионов кубических километров. Если бы эта масса растаяла, уровень Мирового океана поднялся бы на десятки метров, затопив портовые города и многие прибрежные равнины. Но такая опасность человечеству не угрожает...



Не легко и не сразу раскрывает суровый континент свои тайны, но героические советские исследователи расшифровывают одну его загадку за другой. Борьба с грозной природой не обходится и без жертв. На снимке — памятник советскому трактористу Ивану Хмаре, погибшему при освоении Антарктиды.

Все это ученые разведали не только на станциях, но и во время санно-тракторных походов, воздушных рейсов.

— Почти двадцать тысяч километров прошли по ледникам наши гусеничные поезда,— рассказывает Михаил Михайлович.— В 1958 году они одолели путь от Мирного до Полюса недоступности, а следующим летом — до Южного полюса. Исследователи располагают могучими тягачами-лабораториями — снегоходами «Харьковчанка» с 500-сильным двигателем. Ширина гусениц этой машины — около метра. В кузове восемь спальных мест. Отсек водителей оборудован радионавигационными приборами. Смотровые стекла снабжены обогревателями. На снегоходе смонтированы радиостанции ближнего и дальнего действия, пеленгатор, есть помещение для научных работ, электрокухня, шкаф, где сушится одежда,— словом, все удобства. Двигатель можно ремонтировать, не выходя из помещения и получая энергию от вспомогательного. Однако рыхлый снег — злой враг антарктических путешественников прошлого — мешает и нашим тягачам: в среднем они проходили не больше пятидесяти километров за день. С теплым сочувствием вспоминали наши полярники молодого инженера Бернарда Дэя,

столько трудов положившего в экспедиции Роберта Скотта полвека назад, чтобы исправно работали мотосани на гусеницах — предки современных тягачей. Пятьдесят тысяч килограммов буксирует «Харьковчанка», заменяющая полтораста собачьих упряжек.

Сомов с восхищением рассказывает о работе авиации:

— Много дальних рейсов совершили наши летчики в сложнейших условиях. С их помощью геологи проникли в глубь Земли королевы Мод и обследовали около трети расположенной там горной страны. Советские ученые открыли больше 300 крупных горных хребтов, плато и долин, заливов и островов, нанесли их на карты. Без авиации такие успехи были бы немыслимы. Наши исследователи опубликовали сотни научных работ, десятки новых карт; на них показана почти треть побережья материка.

Я попросил Михаила Михайловича рассказать о его прошлогодней поездке в Лондон.

— Туда я прибыл по приглашению Британского королевского географического общества, где в торжественной обстановке мне вручили медаль. На мемориальной доске в здании общества я увидел имена великих русских путешественников, среди них — Николая Михайловича Пржевальского и Петра Кузьмича Козлова. Члены общества избрали нового президента: известного исследователя Антарктиды, геолога экспедиций Скотта и Шеклтона — сэра Рэймонда Пристли. Снова я встретился с ним на вечере в Антарктическом клубе, где по традиции раз в год собираются исследователи шестой части света. Председатель говорил о заслугах ученых в познании Антарктиды и, провозглашая тосты за выдающиеся походы, просил их участников встать. «За первую экспедицию Роберта Фалькона Скотта 1901—1904 годов!» Поднялся глубокий старец, его горячо приветствовали. «За участников экспедиции Эрнста Шеклтона!» Встали двое, один из них был Рэймонд Пристли. «За вторую экспедицию Роберта Скотта!» Поднимаются трое, в числе их опять же Пристли. «За объединенную англо-шведско-норвежскую экспедицию!» Тут встают многие: работала она лишь десять лет назад. Председатель провозглашает новый тост: «За первую советскую антарктическую экспедицию!» В зале я был единственным из ее участников. Поднялся с чувством благодарности за высокую оценку деятельности советских исследователей.

— Теперь последнее: о восьмой советской экспедиции.

— Многие из наших зимовщиков уже работали на шестом континенте, около десяти отправляются туда третий раз, а начальник станции «Восток» Василий Семенович Сидоров — в четвертый,— сказал Михаил Михайлович. — Мы возобновим работу глубинной станции «Восток», «Комсомольской», а также «Молодежной», созданной в заливе Алашеева,— из сезонной она станет постоянной. Поведем исследования и на «Новолазаревской» — это отличная зимовка, там есть все необходимые бытовые удобства, водопровод...

— Откуда же берется вода?

— Из пресных озер, их много и в этом оазисе Антарктиды... Программа научных работ обширна. Надо подготовиться к наблюдениям Международного года спокойного Солнца. Для десятков научных дисциплин важны антарктические исследования.

— Не рискуете ли вы в свои, к сожалению, далеко не юные годы, уходя в Антарктиду и намереваясь зимовать там?

— Американский исследователь Ричард Бэрд в более солидном возрасте не убоялся лютых морозов и пурги. Правда, Роберт Скотт говорил, что неимоверные тяготы походов по ледникам шестого континента лучше всего переносят люди тридцати — сорока лет. Когда же ему напоминали об американце Пири, который в пятьдесят три года достиг по дрейфующим льдам Северного полюса, знаменитый английский исследователь невесело отшучивался: «Утешительное воспоминание для тех, кому уже больше сорока...» Кстати, основная сила наших экспедиций — это молодежь, смелая, преданная делу, жадная к новому. Что же касается меня лично, я отправляюсь в знакомые места без каких-либо сомнений, с отрадным чувством. Вспоминается обстановка дружной взаимопомощи ученых разных стран. Какой прекрасный пример для международной договоренности по многим проблемам, волнующим человечество!..

Расставаясь, я повторил слова, произнесенные семь лет назад:

— Счастливого плавания и зимовки, Михаил Михайлович! Наилучших успехов всему советскому коллективу, вашим зарубежным коллегам!..

На стендах «Юности»

ВЫСТАВКА РАБОТ ИГОРЯ ОБРОСОВА

В августе прошлого года редакция журнала «Юность» совместно с секцией графиков Московского отделения Союза художников открыла цикл персональных выставок молодых художников. Первым показал свои рисунки и гравюры художник-график Илларион Голицын.

Недавно на наших стендах экспонировались эстампы и рисунки Игоря Обросова. В дальнейшем мы предполагаем показать гравюры и литографии молодого литовского художника С. Красаускаса, работы И. Бруни и М. Митурича, сатирические рисунки Е. Щеглова и других.

Семь лет назад к нам в редакцию пришел светловолосый коренастый юноша. И вскоре на страницах журнала стали появляться интересные рисунки, подписанные «И. Обросов». Правда, эти первые работы еще были несколько схематичны, но они привлекали внимание смелым штрихом и хорошей обобщенностью композиции. Постепенно приобреталось мастерство. Созданные И. Обросовым рисунки для обложек отдельных номеров «Юности» свидетельствовали о наступающей зрелости художника.

Нам захотелось познакомить читателей «Юности» с новыми работами И. Обросова, проследить его творческий путь — так возникла мысль об открытии выставки его рисунков и гравюр.

☆

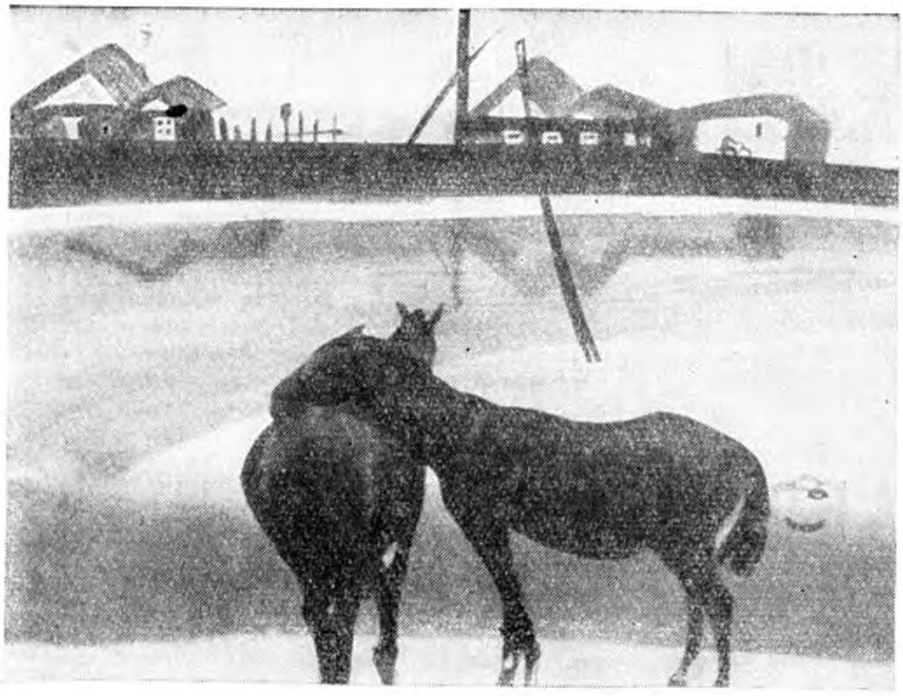
Игорь родился в Москве в 1930 году. Учился в Московском высшем художественном училище (бывшем Строгановском). С большой благодарностью вспоминает он всегда своих учителей М. Маркова и Е. Тейса. Это они привили Игорю любовь к рисунку и постоянное стремление к новому. Формированию его художественного вкуса и мировоззрения помогли работы А. Дейнеки, А. Гончарова, Л. Митурича.

Несмотря на то, что Обросов окончил институт по отделению художественной обработки дерева, сердце свое он отдал графике. Да и его друзья — бывшие однокурсники по институту И. Голицын и В. Захаров — поддерживали молодого художника в новом увлечении. А навыки работы с резцом пригодились для резания гравюр на линолеуме.

Три товарища, помогая друг другу, начали вместе работать в эстампной мастерской Союза художников. А очень скоро трое молодых вышли в первые ряды мастеров советского эстампа.

Игорь не замыкается в стенах своей мастерской. Он жадно изу-

В детсад, на работу, в школу... Эскиз к линогравюре. 1962.



Пейзаж с лошадьми. Акварель. 1960.

чает жизнь, нашу советскую действительность. Молодой художник побывал у рыбаков Севера, в Иркутской области, на Байкале. Его работы еще не свободны от подражания советским мастерам первых послереволюционных лет, но в них уже проглядывает самостоятельное лицо зрелого художника, стоящего на твердых позициях социалистического реализма.

С 1956 года И. Обросов участвует на московских и всесоюзных выставках. В 1959 году его серия эстампов «Военные годы» экспонировалась на выставке «Советская Россия». Работы Игоря были показаны также на ряде зарубежных выставок: в Австралии, в Бразилии, в Мексике, на Цейлоне, в Индонезии.

В 1962 году работы Игоря Обросова были отмечены почетным дипломом на Всесоюзной выставке молодых художников.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ

Около пятидесяти человек собралось в редакции «Юности» на обсуждение выставки молодого графика. Пришли художники, искусствоведы, любители искусства. Обсуждение открыл художественный редактор журнала Ю. Цишевский.

Первым взял слово критик **А. Каменский.** «Я считаю,— сказал он,— что Игорь Обросов — представитель того молодого поколения, которое сформировалось после XX съезда партии... Он один из тех художников, которые чувствуют дыхание нашего времени, его значительность, которые ищут в нем большие образы, черпают большие, интересные мысли. Это сразу ощущаешь, пройдясь по выставке».

О мастерстве И. Обросова говорили его товарищи по работе. Но вместе с тем они предостерегали молодого графика от возможных ошибок. «Больше требовательности к себе, к своему творчеству» — с таким пожеланием обратился к И. Обросову график **И. Гопицын.** Художник **А. Могилевский** справедливо заметил: «Хотелось бы, чтобы наша молодежь избежала в своем творчестве некоторой подражательности друг другу».

Подвергая конкретному разбору выставленные работы, художник **В. Каменский** сказал, что, по его мнению, гравюра «Современный пейзаж» предельно упрощена. Но на выставке есть вещи

Уходит парень в море. Литография. 1961.

очень сильные по форме и цвету, отмеченные хорошим вкусом художника.

«Для И. Обросова,— сказал в своем выступлении художник и критик **В. Костин,**— как и для других близких ему художников, очень характерна напряженная четкость, энергичная форма, которые помогают раскрытию содержания. Эта форма дает возможность Обросову выразить свое миропонимание и революционную настроенность, свою любовь ко всему тому новому, что каждый день рождается в нашей жизни. При этом И. Обросов предпочитает брать для своих работ некоторые суровые стороны жизни. Но в этой суровости — большая поэзия».

О творческом методе И. Обросова, о его работах много и подробно говорили **Ю. Могилевский, И. Бруни, Ю. Захаров, А. Васнецов** и другие.

«Мне очень нравится И. Обросов,— начал свое выступление **Л. Сойфертис.**— Это один из наиболее талантливых молодых художников. Мне нравится его композиционное отношение к листу, временами, может быть, чересчур фрагментарное, но я не вижу пустот в его композициях».

Потом выступил **И. Обросов.** Он поделился своими мыслями о форме и содержании уже созданных работ. Рассказал и о своих задумках на будущее.

Ник. НИКОЛЬСКИЙ

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

(Из записок об Отечественной войне)

В конце лета 1959 года Герой Советского Союза полковник Николай Сергеевич Никольский приехал в одно из соединений войск Белорусского военного округа. Здесь он узнал, что в июне 1944 года при освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков танковый экипаж, возглавляемый гвардии лейтенантом Павлом Николаевичем Раком, совершил выдающийся подвиг. По заминированным мостам через реки Сха и Березина танк П. Рака прорвался в город Борисов и в течение шестнадцати часов в одиночку вел маневренный бой на городских улицах.

Коммунисту гвардии лейтенанту Раку и комсомольцам гвардии сержантам Александру Акимовичу Петряеву и Алексею Ильичу Данилову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Из сохранившихся документов было известно, что экипаж разгромил крупный штаб противника, обстрелял фашистскую комендатуру и спас от верной гибели большую группу наших военнопленных. Но как вели себя советские танкисты в укрепленном врагом городе — это оставалось неизвестным.

И вот полковник Н. С. Никольский разыскал до пятидесяти свидетелей и восстановил в деталях этот беспримерный подвиг, совершенный советскими людьми в годы Великой Отечественной войны.

Гвардейцы действовали умно, дерзко и решительно. Они стремились нанести возможно больший урон врагу, оказать помощь советским людям, которым угрожала смерть, содействовать Советской Армии, готовящейся к формированию Березины и штурму города Борисова.

Экипаж танка «Т-34» уничтожил фашистский броневик, «Тигр», «Пантеру», зенитную батарею, две колонны автомашин, противотанковое орудие, несколько мотоциклов, подбил много техники противника, освободил большую группу молодежи, которую гитлеровцы пытались угнать в Германию.

Факты, установленные и собранные Н. С. Никольским, положены в основу подготовленной им документальной повести.

Об одном из этих фактов Н. С. Никольский рассказывает ниже.

Узнав, что на территории фанерно-мебельного комбината в гитлеровском лагере томится много советских граждан, танкисты направились туда, чтобы освободить их. Но было поздно. Два дня назад фашисты расстреляли девятьсот ни в чем не повинных советских людей.

В этой горе трупов Павел Рак и Алексей Данилов заметили убитую молодую женщину с толстой русой косой, в окровавленном зеленом пальто, из-под которого виднелся медицинский халат. Фашисты вместе с узниками убили молодого советского врача.

В трясине за бараками гвардейцы обнаружили случайно спасшегося узника лагеря — Петровича. На танке они вывезли его отсюда и передали на попечение одной старушки в городе.

В доме этой женщины лейтенант Павел Рак расспросил Петровича о том, что происходило в городе Борисове.

— Значит, схватили вас в Орше и сюда привезли? — кивком головы указал Павел Рак в сторону лагеря.

— Сюда не сразу. На месте вдоволь поиздевались. Не знаю, как и выжил. Просто удивляюсь, насколько живуч человек! Видите, вот на всю жизнь меченым сделали.

Петрович протянул Павлу обе руки с черными, изуродованными ногтями.

— Иголками истыкали,— пояснил он.

Во время пребывания в лагере он непрерывно находился в изоляторе. За ним, как и за многими другими, чуть живыми узниками, ухаживала наш врач — молодая женщина. Он обрисовал ее внешность, и Павел теперь нисколько не сомневался, что это была именно та расстрелянная женщина с русой толстой косой.

— Чудным человеком была Татьяна Николаевна,— негромко рассказывал Петрович.— Сколько сил, сколько души вкладывала она в спасение каждого из нас! Без нее я бы никогда не поднялся на ноги. Она и от новых пыток меня не раз спасала. Придут, бывало, за мною, а она тут как тут. Встанет между мной и ими и говорит: «Что же вы умереть человеку не дадите спокойно?! Вы не видите, что у него агония начинается?» Да

как взглянет на них своими большими бархатными глазами!.. Как начнет наступать на полицаев и фашистов! Смелая такая. Идет прямо на них. Словно ребенка своего защищала. И не меня одного. Многих так! Памятник ей народ со временем поставит.

Петрович рассказал, что гитлеровцы и полицаи последние дни чувствовали себя, как на горячей сковороде: приближение Советской Армии бросало их в дрожь.

— Всю ночь на 28 июня советские самолеты бомбили берег недалеко от лагеря. Утром охрана бегала как очумелая.

Татьяна Николаевна, видно, что-то подсмотрела. Взволнованная, она пришла к лежачим узникам. Петровичу и некоторым другим шепнула, что фашисты затевают расстрел. В случае чего посоветовала разбегаться. Узники просили ее быстрее уходить. Она покачала головой и решительно сказала: «Нет, мои дорогие. От вас я никуда не пойду! И если эти звери решили учинить расправу с больными, я умру вместе с вами!»

— Около двенадцати нас стали выталкивать на улицу,— продолжал Петрович.— Татьяна Николаевна попробовала не впускать охранников. «У больных вам делать нечего! Прошу в изолятор не входить!» — твердо заявила она, встала в дверях и руками загородила им дорогу. Но ее грубо оттолкнули. Она попробовала оказать сопротивление, но ее сбили с ног, и она свалилась на нары. Приказали всем встать. Один наш лазаретный наотрез отказался подняться. Но фашист набросился на него зверем, ударил его.

«Не троньте! Не позволю вам так обращаться с больным! Он вот-вот умрет!» — встала на его защиту Татьяна Николаевна. Но фашист грубо, наотмашь ударил ее по лицу. Позади гитлеровца стоял один из пленных по имени Василий. Его, избитого до полусмерти, всего неделю назад привезли из тюрьмы. Три часа билась над ним Татьяна Николаевна, вернула ему сознание, перевязала. Он только два дня назад начал подниматься с нар. И когда фашист ударил по лицу Татьяну Николаевну, он не выдержал, схватил стоявшую возле увесистую табуретку и на месте пригвоздил ею гитлеровца. Тот и не пикнул. Другой тут же застрелил Василия. Тремя выстрелами прикончил на нарах и того, который отказался вставать...

Когда вышли, во дворе была тьма-тьмущая людей. Их как раз в этот момент строили в ряды. Фашисты спешили. Кто отставал, прикладом подталкивали. Как унесли того, которого Василий табуретом по голове накрыл, они совсем озверели. Вдруг сзади послышался шум...

Гвардии лейтенант Павел Рак.

Я оглянулся и увидел: полицай спорит с нашим доктором. «Уходи, тебе говорят! Аль не понимаешь?! Их теперича другие лечить будут»,— донеслись до меня слова полицая. «Я лечила их и до конца лечить буду! Не оставлю я их в беде!» — крикнула Татьяна Николаевна и мигом оказалась около нас. Мы ее пытались уговорить уйти от нас... Где там! «Если обидеть не хотите, не уговаривайте меня!» — сказала она. Я понял, что просить бесполезно.

И только я отвернулся,— продолжал Петрович,— смотрю: пулемет выкатили. Все очень быстро произошло. Не успел подумать — заискрилась пулеметная очередь. И какая-то дьявольская сила меня толкнула. Несколькими прыжками я оказался у болота.

Я услышал автоматную очередь и почувствовал сильные толчки в ногах. Сгоряча я несколько шагов еще пробежал и рухнул в трясину. Смутно слышал треск автомата, потом пулемет. Крики, стоны, призывы о помощи. А потом стрельба и крики все удалялись и удалялись — и больше ничего не помню.

— Может, все-таки они не всех расстреляли? Может, в других бараках еще томятся? — спросил Павел.

Петрович покачал головой.

— В этом лагере живых нет. Ведь изоляторных — и тех... Когда стемнело, вернулась ко мне память. Попробовал подняться. Ну, где там! Мои ноги словно гвоздями были прибиты к земле. Голова кружилась. Силы мои улетучились. С большим трудом оторвал от земли спину. Вдруг услышал стон со стороны бараков. С того места, где учинили побоище, стонали два или три человека. Потом услышал призывы о помощи с болота, где-то в стороне, шагах в сорока — пятидесяти от меня. Я вскоре снова свалился и впал в беспамятство. Утром разбудила меня автоматная очередь. Она прогремела в том месте, откуда я слышал стоны. Сразу понял, что эти ироды добили раненых...

Петрович кончил говорить. Его глаза задержались на лице Павла.

— Ну, благодарю, Петрович, за рассказ. Жаль, что мы не пришли двумя днями раньше. Что поделаешь! Скоро придут наши, вы будете жить. Но вот,— Павел посмотрел на его ноги,— помощь вам требуется срочная. Бабуся,— обратился он к старушке,— врача, стало быть, ты не сможешь разыскать?

— За фельдшером сейчас пойду. Он двух докторов стоит. Если потребуется операция, он и ее сделает. Так что за это не беспокойтесь. Да ты что же молоко-то не пьешь? Нехорошо так...

— Добре, бабуся. Не гневайся. Выпью.

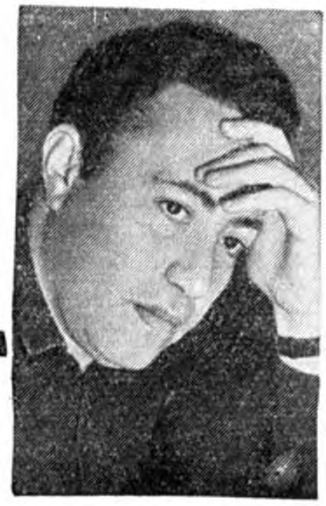
И Павел осушил стакан молока. Рукою вытер губы и, вставая, сказал:

— Словно какой-то целебный напиток выпил, бабуся.

Он повернулся к раненому.

— Ну, Петрович, будем надеяться, все будет хорошо. И фельдшер поможет. А нам ехать надо.

Павел пожал горячую руку Петровича и пошел к выходу.



Евг. РУБИН

ИГРОК №12

Рисунок С. Александрова.

«Скамья запасных». Этот термин вызывает у нас совершенно определенные ассоциации. Нам видится поле, где проходит соревнование. Где-то сбоку — узкая, длинная лавочка, и на ней, обхватив руками колени, примостилось с десяток ребят в спортивных костюмах. Это могут быть то и дело убегающие разминаться волейболисты или вооруженные клюшками хоккеисты, готовые в любую секунду перепрыгнуть через борт в самую гущу борьбы. Словом, это те, кто поджидает на скамейке своей очереди вступить в игру.

Поставьте себя на место этого запасного. Он любит свою команду и всем сердцем желает ей победы. Он мечтает сам атаковать или спасать своих от поражения. Он мысленно видит себя на площадке в самых трудных и опасных местах. Он сравнивает себя с каждым играющим, лучше всех видит их промахи и говорит себе: «А я бы здесь сыграл лучше!..» Тренер не смотрит в его сторону, но если бы посмотрел, прочел бы в его взгляде: «Ну, выпусти же наконец меня!..»

У каждого спортсмена — будь это мировой рекордсмен или игрок третьей команды мальчиков — есть свой, я бы сказал, «персональный» запасной. Он может быть не зарегистрирован ни в каком списке, о его существовании пока не знает даже тренер. Но придет время, и он выбежит на поле, преследуемый взглядами болельщиков, в которых будет сквозить недоверие и любопытство. Я помню, как тринадцать лет назад вот так же появился на поле во время матча «Спартак» — «Динамо» долговязый, чуть-чуть медлительный парень в красной футболке с номером «12» на спине, и стадион встретил неприветливым молчанием слова диктора, назвавшего фамилию Нетто. Прошло время, и это имя стало известно едва ли не во всех странах мира. Оно стало приманкой, привлекающей толпы болельщиков.

Я уверен, что и сегодня во время матчей на лавочках для запасных сидят пока никому не известные будущие Нетто или Яшины, Алачачяны или Чесноковы.

Скамья запасных стоит на дороге каждого в большой спорт. Ее не обходит никто. Но одни присаживаются на нее на несколько дней, другие — на месяцы, третьи — на годы. Некоторые, миновав скамью, возвращаются к своему исходному рубежу. Иные прямо отсюда, что

Взгляните на этих «разминающихся» спортсменок. Они готовы в любую минуту «рвануться» в бой... Но тренер и не смотрит в их сторону.
Снимок О. Неелова.

называется «без пересадки», переходят в ряды ветеранов.

Что ж, скажете вы, это вполне естественно: все зависит от таланта.

Верно. Но не совсем. От таланта зависит многое. Многое, но не все.

...Этот случай произошел во Дворце спорта в Москве лет пять назад. Шел баскетбольный матч двух сильнейших национальных сборных команд земного шара. Наши проигрывали американцам. И вот в какой-то момент игры наш тренер дал судьям сигнал: «Замена!» На площадку вышел новый игрок. Первый же мяч, попавший к нему, он отдал прямо в руки противнику. Затем попытался обвести американца — и снова неудача... Одним словом, на площадке он пробыл около двух минут и отправился снова на скамью запасных. Отправился надолго — на три года.

Этого запасного звали Арменак Алачачян. Сегодня вы знаете его столь же хорошо, как и я. Лучшего игрока не было в нашем баскетболе.

Нет, что ни говорите, талант многое, но не все.

Я был с нашими баскетболистами на последнем чемпионате Европы в Белграде. Там дирижер нашей команды, душа и мозг всех ее атак Арменак Алачачян, тоже порой ошибался, тоже терял мяч или отдавал его в руки соперников: нет на свете спортсмена, который бы никогда не ошибался на площадке. Но все — и тренеры и зрители — охотно прощали ошибки знаменитому баскетболисту, признанному мастеру. Впрочем, Алачачян, уверенный в себе, ошибался очень редко.

И был в нашей сборной другой игрок, Александр Канделъ. В прошлом году он был самым результативным игроком в чемпионате страны. Это и заставило тренеров включить его в сборную. Но в Белграде свердловский «премьер» перешел на роль запасного. И стал неузнаваем. Он выходил обычно на площадку в середине второго тайма и после нескольких неудачных бросков отправлялся на скамью запасных.

И, глядя на него — на его огорченное лицо и виноватые глаза,— я вспоминал пятилетней давности историю Алачачяна. В Белграде над Канделем висел тот же самый дамоклов меч, что и над Алачачяном тогда, в Москве: «Нельзя ошибиться, нельзя ни в коем случае, иначе — снова на скамью...» И эта мысль, неотступно преследовавшая Канделя на площадке, отнимала уверенность в своих силах, лишала легкости, делала руки непослушными.

Еще одна история... Вам, конечно, известно это имя — Владимир Сафронов. Вам известны время и место «рождения» этого талантливого советского боксера — 1956 год, Мельбурн. Но все ли знают, что перворазрядник Сафронов чисто случайно оказался среди участников Мельбурнской олимпиады?

Вот как это было. Наша команда была уже полностью составлена, все было готово к отъезду, когда заболел вдруг Александр Засухин — известный боксер полулегкого веса. Сначала думали и вовсе никого не выставлять в этой весовой категории. А в последний момент решили на всякий случай захватить молодого спаринг-партнера Засухина — Владимира Сафронова.

В Мельбурне никто не говорил Сафронову перед боем: «Ты должен победить во что бы то ни стало, мы на тебя надеемся». На него не надеялись и не особенно это скрывали. И еще Сафронов знал: в случае неточного удара его никто не посадит на скамью запасных. И он спокойно, шаг за шагом преодолел одну за другой все трудные ступени на пути к олимпийскому пьедесталу почета. Домой перворазрядник Владимир Сафронов вернулся заслуженным мастером спорта и чемпионом мира.

Не по своей воле садится спортсмен на скамью запасных. Не по своей инициативе покидает он ее, чтобы рвануться в гущу битвы или навсегда распрощаться со спортом. Тот или иной сигнал подает ему тренер.

Тренер должен быть и педагогом и психологом по отношению ко всякому спортсмену. А по отношению к «двенадцатому номеру» в особенности. Тренер лучше, чем кто-либо, должен всегда знать, что творится в душе запасного. Не угадает он, не поймет нужного мгновения — и перегорит спортсмен, и останется талантливый, но не сумевший раскрыть себя парень вечным «двенадцатым номером».

Это очень трудно: поймать нужное мгновение. Это под силу только человеку доброму, доверчивому и смелому. Да, не удивляйтесь, смелому! В спорте всегда идет борьба за очки, за баллы, за победы. Поражения, потерянные очки всегда чреваты неприятностями и попреками, и в первую очередь для тренера. И не дай бог, если еще вдобавок ко всему тренер рискнул поставить на злосчастную для него игру молодого спортсмена со скамьи запасных! Тогда главными виновниками поражения будут объявлены этот игрок и тренер. Сплошь да рядом бывает так, что после проигрыша тренер уже не рискнет

выпустить снова «двенадцатый номер» на поле. Ведь и воспитателю команды ничто человеческое не чуждо.

Но бывают и другие примеры.

Знаменитый капитан знаменитой футбольной команды плохо провел несколько игр. Тренер решил его заменить. На поле вышел «двенадцатый номер», еще ничем себя не проявивший. В ходе матча молодой спортсмен сумел показать свои возможности. Он забил три мяча в ворота противника.

Команда эта не выдуманная. Это — московское «Торпедо». А молодой игрок, заменивший Валентина Иванова,— сегодняшний любимец болельщиков Михаил Посуэло. Ему и его тренеру повезло. А могло и не повезти. Недаром ведь говорят: «Мяч круглый».

Во многих видах спорта сезон начинается с «Юрьева дня». Это время, когда разрешены переходы из команды в команду, когда на больших и малых спортивных дорогах встречаются футбольные и хоккейные, волейбольные и баскетбольные Счастливцевы и Несчастливцевы, как бы бредущие из Керчи в Вологду и из Вологды в Керчь. Болельщическая аудитория встречает всякую весть о переходе неодобрительным гулом и потоками злых писем в редакции газет и спортивные федерации.

Меня в этих переходах больше всего заботит будущая судьба Счастливцевых и Несчастливцевых. Куда они идут? Со скамьи запасных — на поле боя или наоборот? Естественно, каждый переходящий уверен, что на новом месте его ждет лучшая доля. Ему обещал это тренер. А вот сдержит ли тренер свое слово?

Иногда, конечно, возможны и ошибки: новобранец потерял спортивную форму или не влился в ансамбль — бывает ведь и такое. Но по большей части в пору «Юрьевых дней» проверяются человеческие качества тренера. Начинается чемпионат, и очень скоро становится ясно, о чем думал тренер,— о будущем своего нового питомца, о том, чтобы в новых условиях раскрылся его спортивный дар, или о том, чтобы где-то и когда-то, во время болезни основного игрока, выпустить новичка на поле, а потом, как говорится, по миновании надобности, отправить его обратно на скамейку запасных.

Вы, конечно, помните историю перехода очень интересного и своеобразного футболиста Валентина Бубукина из «Локомотива» в ЦСКА. В те годы он был уже зрелым мастером, членом сборной СССР. Его игровой почерк ясно определился, был тверд и четок. Опытному тренерскому глазу совсем нетрудно было определить, сумеет ли Бубукин занять свое место в игровом ансамбле армейской команды. Судьба Бубукина в ЦСКА известна. Большую часть времени он провел на скамье запасных. В его возрасте эта скамья перестает быть той партой, за которой приобретаются новые футбольные познания. В его возрасте каждый час, проведенный на скамье запасных, отнимает какую-то долю мастерства. И когда Бубукин все-таки появился на поле, это был уже не тот, прежний, грозный и решительный форвард, который возглавлял когда-то атаки «Локомотива». Он стал «двенадцатым номером», который готов, допустив ошибку, вновь надолго отправиться на скамью запасных.

К чести теперешнего тренера ЦСКА Константина Бескова, он постарался исправить ошибку своего предшественника: Бубукин опять играет в команде «Локомотив». Здесь он вновь обрел себя. Его былой почерк постепенно восстанавливается. Но прежним Бубукиным он все-таки еще не стал. Станет ли? Ведь какую-то часть своего мастерства он оставил на скамье запасных.

А вот другая история — история Юрия Фалина. Он играл в «Торпедо». И довольно часто появлялся на поле. Но чаще всего в футболке с цифрой «12» на спине. Он считался «крепким середнячком» и вряд ли мог рассчитывать на прочное место в основном составе. Фалина пригласили в «Спартак». Торпедовцы отпустили своего «двенадцатого номера» с миром.

Не нужно рассказывать вам, каков он теперь, спартаковец Юрий Фалин. Со скамьей запасных он расстался и, кажется, надолго.

Валентин Бубукин и Юрий Фалин. Две истории, две судьбы... Вот почему, я думаю, не всякую весть о переходе надо встречать свистом. Если человек в Керчи сумеет найти свое будущее, стоит идти за этим будущим даже из Вологды, даже пешком. И вот здесь-то рядом со спортсменом встает фигура тренера — доброго, доверчивого и смелого человека.

Как-то прошлым летом я шел домой с баскетбольного матча вместе с одним из игроков ЦСКА. В этот день его команда проиграла рижским армейцам. Поражение это могло стоить москвичам золотых медалей. Мой попутчик был очень огорчен. И даже не столько проигрышем, сколько поведением двух своих сотоварищей — Павла Сиротинского и Владимира Копылова.

— Понимаешь? — говорил он.— Мы чуть не плачем, а они хоть бы что. Уходят с площадки и о чем-то постороннем, по-моему, даже смешном, разговаривают...

Я вполне понимал гнев моего собеседника. Но где-то в глубине души я понимал причины поведения и Копылова и Сиротинского — двух вечных «двенадцатых номеров», постоянных обитателей скамьи запасных. Они выросли в ЦСКА, стали мастерами спорта. Они могли бы, наверное, занять свое место в основном составе большинства команд. Но у себя, в ЦСКА, надеяться им было не на что: ведь совсем недавно армейцы приняли в команду еще двух знаменитых игроков из других клубов — Юрия Корнеева и Яака Липсо. Значит, прописка на скамье запасных продлевалась еще надолго. И они потеряли интерес к радостям и огорчениям своих товарищей, потеряли его вместе с надеждой быть полезными команде. И никто не задумался, что в конце концов это может привести к потере веры в коллектив вообще, к утрате некоторых моральных устоев...

Нет, поистине целый мир невидимых людям переживаний бушует, спрятанный под майкой с «двенадцатым номером» на спине. И только смелое, честное и вдумчивое отношение к запасному игроку позволит открыть для нашего спорта сотни талантливых людей.

Я слышу вопрос читателя:

— Так что же, тренеры всех тех спортсменов, о которых шла здесь речь, не хотят или не умеют проникнуть в этот мир? Быть этого не может!..

Запасной сравнивает себя с каждым играющим, хорошо видит их промахи и обычно думает: «А я бы здесь сыграл лучше...»

Снимок Ю. Моргулиса.

Вы правы, читатель: хотят и умеют. Но попробуйте поставить себя на место тренера, попробуйте взглянуть на дело с его колокольни.

Итак, вы прекрасно понимаете: Н. — молодой, одаренный спортсмен, из которого через год или два, по всей вероятности, вырастет большой мастер. Вы понимаете и другое: это случится лишь при том условии, если он будет постоянно участвовать в ответственных состязаниях, заменяя игрока, возможно, более полезного сейчас на площадке. Вы понимаете, что такая замена может лишить команду очка, двух, быть может, даже призового места в турнирной таблице.

И вот все это вы — тренер команды и одновременно тренер «двенадцатого номера» — кладете на весы. Естественно, будь на то лишь ваша воля, вы пожертвовали бы и сегодняшними очками и сегодняшними медалями ради очков, медалей завтрашних и послезавтрашних.

Но вы ведь не какой-то абстрактный тренер, лишенный всех человеческих слабостей. Ничто человеческое вам не чуждо. И вот вы начинаете рассуждать приблизительно так: «Сегодняшние победы — это и мои победы. Победы завтрашние, очень может быть, окажутся не моими, а чьими-то еще. Ведь два, три, четыре поражения, и мне, вероятно, придется уступить место кому-то другому. Больше того, если моя команда проиграет из-за того, что плохо играл «сам» Валентин Иванов, мне никто слова не скажет: он-то человек известный. А замени я Иванова на «какого-то» Посуэло — и причину проигрыша припишут моей близорукости...»

Логично? Вполне. Но вы не только рассуждаете. Вы еще и перебираете в памяти разные случаи, которые произошли с вашими знакомыми тренерами. Вы вспоминаете, что тренер А, воспитавший несколько талантливых спортсменов, так и остался тренером А, а тренер Б, команда которого выиграла золотые медали, стал заслуженным тренером СССР.

Вороша в своей памяти события еще более давние, вы вспомните историю замечательной футбольной команды ЦСКА «образца 1952 года» и ее тренера Б. Аркадьева. Помните, после поражения нашей сборной на Олимпиаде в Хельсинки она была расформирована, а Аркадьев лишен всех своих титулов?

Правда, вы тут же говорите себе: это ведь случилось при недоброй памяти культе личности. Но вам приходится сказать себе и другое: последствия той эпохи достаточно живучи. За недобранные очки не так уж редко тренеры дорогой ценой расплачиваются и сейчас: история «изгнания» В. Маслова из футбольной команды «Торпедо» или А. Дадукина из баскетбольной команды «СИМ» — это ведь дела отнюдь не далеких дней.

И вот, обдумав все это, вы, тренер, снова возвращаетесь мыслью к своему «двенадцатому номеру». Уж так ли вы теперь уверены, что запасного игрока необходимо выпустить на поле?

Что ж, вместе с вами мы готовы склонить голову перед тренером, который поставил интересы будущего команды и ее игроков выше личных и, не побоимся этого слова, корыстных интересов.

Но не спешите бросить камень и в того, у кого перевесила другая чаша весов. Согласитесь: на нее тоже положено достаточно много.

Вместо того, чтобы осыпать камнями тренеров, давайте лучше вместе подумаем над очень трудной и вместе с тем чрезвычайно злободневной проблемой: как сделать, чтобы интересы «двенадцатого номера» были одновременно и интересами тренера?

Как оградить тренера от абсолютно неспортивных, но пользующихся большой властью людей, не знающих иных резолюций, кроме: «уволить», «снять с работы», «объявить строгий выговор с последним предупреждением»? Как добиться того, чтобы самым почетным и уважаемым среди тренеров человеком стал тот, кто выпустил в большой спорт больше «двенадцатых номеров»?

Проблемы эти, я уверен, не относятся к числу неразрешимых.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ, или НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Арк. АРКАНОВ, В. ДЕРАНКОВ

Рисунки В. Чижикова.

Троллейбус без кондуктора!..
Трамвай без кондуктора!..
Автобус без кондуктора!..

Это хорошо!.. Хорошо, когда верят людям!..

31 декабря, в 12 часов дня, я должен был приехать к Диме, чтобы помочь ему и Тане кое-что приготовить к Новому году. Я вышел из дому в половине двенадцатого дня и сел в троллейбус без кондуктора. Едва троллейбус тронулся, как я услышал чей-то женский голос:

— Не опускайте, пожалуйста!

— Я и не думаю опускать,— сказал я,— у меня у самого пятнадцать копеек...

— Наконец-то! — пробасил впереди меня какой-то мужчина.— Давайте сюда ваши пятнадцать копеек, берите мои двадцать, а одну копейку отдадите вот этой девушке... Я уже с нее получил... Вам все равно ехать дальше, а мне сейчас выходить...

Троллейбус остановился. Мужчина вышел.

— Не опускайте, гражданка! — закричал я вошедшей женщине.

— А у вас что?

— У меня двадцать копеек, но я должен взять два билета, сам получить одиннадцать копеек и одну копейку отдать вон той девушке...

— В чем дело? Что за пробка? Проходите вперед! — раздалось сзади...

— Вот вам шесть копеек,— сказала гражданка,— а две копейки будете мне должны...— И женщина села на освободившееся место.

— Нате вам десять, а мне отдайте шесть,— протянул мне кто-то гривенник.

— Кстати, молодой человек, я вижу, у вас много мелочи... Не разменяете ли вы мне гривенник на пять двухкопеечных для автомата? — спросил молодой человек.

Внезапно меня осенило.

— Послушайте, гражданка! — обратился я к женщине, которой был должен две копейки.— Дайте мне семнадцать копеек!

— Это с какой стати?!

— Очень просто: вы мне дали шесть, я вам должен две. Дайте мне еще семнадцать, семнадцать и шесть — двадцать три, а я вам верну двадцать пять!

— Зачем мне ваши двадцать пять копеек? Отдайте мне мои две!

— Да поймите: ваши шесть копеек я отдал этому мужчине...

— Кстати, вы мне их еще не отдали,— сказал мужчина.

— Сейчас отдам... Так вот, если вы теперь дадите мне семнадцать, то будет двадцать три...

Девушка, которой я должен был одну копейку, стала пробираться к выходу...

— Девушка! Куда же вы? Я вам должен копейку!

— Да ну, ерунда какая!.. — смутилась девушка.

— Нет, не ерунда! — строго сказала женщина, которой я должен был две копейки.— Отдайте ей копейку!.. Да заодно и мне мои две!

— Граждане! Дайте копеечку! — простонал я.

Кто-то протянул копейку.

— Спасибо... Я теперь копейку вам буду должен...

— Только не копейку, а семь: шесть вы мне уже должны...

— Отдайте-ка эту копейку мне! Хоть одну с вас получу!

— Обождите! Вам еще ехать, а девушка сходит!..

Троллейбус остановился. Люди вышли, вошли. Троллейбус снова тронулся. Кстати, это была моя остановка...

— Граждане! Кто рубль разменяет? — крикнул кто-то из вновь вошедших...

— Вон тот в шляпе... Он всем меняет!..

С передних мест для детей и инвалидов ехидно засмеялись.

— Вот наконец-то общественников назначили мелочь менять...

— Хорош общественник! — закричала женщина, которой я был должен две копейки. — Он с этого живет!.. Давайте мне две копейки! Я выхожу!

— У меня нет двух копеек! Дайте мне ваш адрес. Я вам домой занесу...

— Да!.. Уж вы принесете! Беговая, 23...

И женщина сошла...

К двум часам дня у меня скопилось три рубля тридцать одна копейка, два троллейбусных талона и три адреса... Мне стало жарко. Я снял шляпу. Кто-то из вновь вошедших посмотрел на меня, на кучу денег в руке и брезгливо бросил мне в шляпу две копейки:

— Прилично одет, а побирается!..

Но мне было уже все безразлично.

К пяти часам вечера у меня было шесть рублей тринадцать копеек, пять троллейбусных и почему-то два трамвайных талона, шесть адресов в Москве и один в Ленинграде, куда я должен был отправить перевод по почте... К восьми часам я уже знал наизусть все остановки, знал, что водителя троллейбуса зовут Андрюшей, что у него трое детей, бульдог, восемь голубей и что если бы не ущемление в поясничных позвонках, то он бы до сих пор занимался штангой...

Наконец в половине первого ночи я окончательно рассчитался с кассой и вышел из троллейбусного парка... Когда к трем часам ночи я разнес долги по всем адресам, у меня оставались мои пятнадцать копеек, с которыми я утром вошел в троллейбус... Значит, сам я, выходит, проездил бесплатно?.. «Он с этого живет!» — вспомнил я женщину в троллейбусе...

Когда я наконец добрался до Димы, Новому году исполнилось уже три с половиной часа. Но самым удивительным было то, что Вера, с которой мы должны были встречать Новый год, еще не приходила. Она явилась около пяти утра...

— Где ты была? — спросил я грозно...

— Понимаешь, — убито произнесла она, — меняла мелочь в троллейбусе... Никак не могла рассчитаться...

Никто ей не поверил, кроме меня...

Слышал звон...

(Совсем маленький фельетон)

Директор плавательного бассейна для начинающих, в котором я работаю инструктором, — парень молодой и горячий. На прошлой неделе он поймал меня в обеденный перерыв.

— Слыхал?.. Джазы аннулируют!.. В газетах написано!..

— Ничего этого в газетах не написано, — сказал я. — Ведь там речь идет не о джазовой музыке вообще, а о какофонии звуков, которая обрушивается иногда на слушателей и лишь по недоразумению именуется музыкой.

— Хороших джазов вообще не бывает!

— Кто это тебе сказал?

— Сам домыслил.

— Когда это ты «домыслил»?

— Сегодня утром... Просто как прозрел... Короче: надо менять репертуар, пока не попало!

— Какой репертуар?

— Под который плавает наша молодежь.

— Да она плавает у нас под легкую танцевальную музыку... Кстати, эта музыка тебе тоже нравилась...

— Нравилась-то нравилась... А только внутри будто кто подсказывал: «Ох, не то тебе нравится! Ох, не то!!» Короче: на классику переходить будем! Мне тут директор катка Баха посоветовал... Слыхал такого?

— А как же!..

— Он кто?

— Немец.

— Из ГДР?

— Видишь ли...

— А чего этот Бах сочинял?

— Разное. Например, фуги...

— Чего?!.

— Фуги.

— Чего-чего??!

— Фу-ги! Фу-ги!

— Опять фуги-буги?!. Не пойдет!

Я ему долго после этого все объяснял. Наконец он поверил мне на слово.

Теперь в нашем бассейне звучит торжественный орган. Посетители слушают с великим упоением. В воде... никого. Никто не решается плавать под фуги Баха...

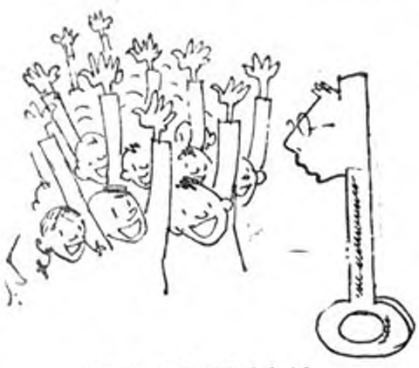
Вот поэтому у меня появилось свободное время, и я написал этот маленький фельетон.

А. ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Нередко молодежные свадьбы превращаются в коллективные пьянки.

«У нас в общежитии свадьба...»

Рисунок И. Оффенгендена.



КЛЮЧИК

На комитете комсомола слушались отчеты вожатых.

Секретарь сказал:

— Сейчас Виктор Дроздов расскажет нам, как он провел первый сбор в пятом классе «Г».

Витя встал и поправил пиджак. Он принципиально не носил школьной формы, и в коридорах на него оглядывались десятиклассницы.

— Мне попался самый трудный класс,— начал он,— но я с ним справился. Считаю, что каждый комсомолец может заставить малышей откликнуться. Надо только найти путь-дорогу к их душам.

— А о чем ты говорил с ними?

— Сначала я сказал: «Товарищи пятиклассники, скоро оканчивается большой этап нашей работы. Мы открываем еще одну славную страницу. Приближается новый год. Улучшим в новом году наше поведение по крайней мере вдвое!»

— А они?

— Они молчат. Тогда я сказал: «Товарищи пятиклассники, праздник 8 Марта издавна стал выражением богатырской силы советской женщины. Порадуем нашу женщину, нашу мать, сестру и бабушку новыми успехами! Поднимем к 8 Марта успеваемость на 30 процентов!»

— А ребята?

— Ребята молчат.

— Извини, что я тебя прерываю, Дроздов,— поднялся секретарь комитета.— Товарищи, хочу обратить ваше внимание на то, как верно Виктор ищет путь к сердцам пионеров пятого класса «Г». Продолжай, Дроздов.

— Говорю им дальше: «Товарищи пятиклассники, отличное поведение и удовлетворительная успеваемость нераздельно связаны с эстетическим воспитанием. Поэтому мы решили до 1 Мая дважды посетить кинотеатр «Аврора».

— А они что?

— Тут они повскакали со своих мест, начали жестикулировать, носиться по партам и кричать: «Не два, а пять раз! Семь раз! Восемь! В «Спартак»! В «Звезду»!» И я сразу понял, что это и есть пионерская активность! И страшно обрадовался: ведь мною, значит, найдена тропка к ребячьим сердцам, найден таинственный золотой ключик к их душам!..

Ю. КИРИК

Рисунок И. Бронникова.

В НОМЕРЕ:

В. АКСЕНОВ. Апельсины из Марокко. Повесть 3

Леонид ЗАВАЛЬНЮК. Песня о Дальнем Востоке. «Все на месте, все в порядке...», «Артисты учатся у музыки...», «Что может дева молодая...», «Когда грядет канун зари...». Стихи 48

В. САМОЙЛОВ. Пайка хлеба. Рассказ 50

Алла КИРЕЕВА. Отстает ли поэзия? 56

О. ТИШИНСКИЙ. В павильонах «Мосфильма» (Репортаж) . . 56

Евгений ВИНОКУРОВ. Жажда. «Так начинай же правду говорить!». «Я был старателен, а все ж учился плохо...». Удивление. Сумасбродка. Привычки. Обыденщина. Неудачи. Женский голос. Познай себя! Терпимость к слабости людской. Моими глазами. Стихи. . . . . 62—64

К нашей вкладке

Виталий ГОРЯЕВ. Цветам — цвести! 65

Александр ЯШИН. Босиком по земле. Лирическое беспокойство. Рябчики в снегу. Стихи 66

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Две итальянские мелодии: 1. Флорентийские факелы. 2. Итальянский гараж. Стихи. 67

Пропасть или эстафета! Митчел УИЛСОН. Разгневанные лица в зеркале. Виктор РОЗОВ. Дистанция пробега (Статьи написаны по просьбе «Юности») . . . . . 68—74

Владимир ПАВЛИНОВ. Следы. Ода спальному мешку. Домой. Стихи 75

Наталья КАСАТКИНА, Владимир ВАСИЛЕВ. Разговор о балете . 76

С осетинского

Нафи ДЖУСОЙТЫ. На безымянном перевале. «Смеяться когда-то умевших...». Стихи 82

«...Чтобы идти дальше» (К 100-летию со дня рождения К. С. Станиславского) 83

А. ЛОЖЕЧКО. О сердце врача и об одном открытии. Очерк 84

Разговор по душам

А. ЛЕСНОВ, Н. ШАШКИН. Чтобы людям жилось лучше . 89

Панорама «Юности»

✲ Исторический монумент будет восстановлен. ✲ В поход против гнуса. ✲ Герой-парашютист — читателям «Юности». ✲ Доброе дело студентов Казани . . . . . 92—93

Трибуна «Юности»

И. МЕТТЕР. Унылый авторитет 94

Александр БАЛИН. Баллада о головных уборах. Стихи 96

Наши интервью

Л. ХВАТ. Снова на материк тайн. (Беседа с начальником 8-й южнополярной экспедиции М. М. Сомовым) 97

На стендах «Юности»

Ю. ЦИШЕВСКИЙ. Выставка работ Игоря Обросова 101

Ник. НИКОЛЬСКИЙ. Татьяна Николаевна (Из записок об Отечественной войне) 103

Спорт

Евг. РУБИН. Игрок № 12 105

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора)

✲ Арк. АРКАНОВ, В. ДЕРАНКОВ. Вечное движение, или новогоднее приключение. ✲ А. ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Слышал звон... ✲ Ю. КИРИК. Ключик . . . . . 109—112

На обложке — репродукции картин Б. ПРОРОКОВА с Выставки произведений московских художников. На 1-й странице — «Да здравствует свобода»; на 4-й странице — «Нет! Нет! Нет!».

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон: Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00309. Подп. к печ. 15/I 1963 г. Тираж 600 000 экз. Изд. № 167. Заказ № 3149. Формат бумаги 84×108 1/16. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 40 коп

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

71950